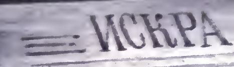

Разбег
ПР
вольф долгий


ИСКРА



Москва
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
1980



СЕРИЯ • ПЛАМЕННЫЕ ПР РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ •

Вольф
Долгий

РАЗБЕГ

ПОВЕСТЬ
ОБ ОСИПЕ ПЯТНИЦКОМ

Р2
Д64

Вольф Долгий не впервые обращается к историко-революционной теме. Читателям известны его повести «Книга о счастливом человеке» (о Николае Баумане) и «Порог» (о Софье Перовской), вышедшие ранее в серии «Пламенные революционеры», роман «Предназначение» (о лейтенанте Шмидте).

Перу писателя принадлежат также пьесы «После казни прошу», «Думая о нем», «Человек с улицы» и киносценарии художественных фильмов «Я купил папу», «Алешкина охота», «Первый рейс».

Повесть «Разбег» посвящена ученику и соратнику В. И. Ленина, видному деятелю КПСС и международного коммунистического движения Осипу Пятницкому. Книга охватывает почти двадцать лет жизни профессионального революционера. Немало страниц посвящено II съезду РСДРП, Пражской конференции, Кенигсбергскому процессу 1904 года.

Д $\frac{10203-064}{079(02)-80}$ 268—80 0902030000

Глава первая

1

Стражник Неманского поста Таурагенской пограничной бригады Котлов лежал в «секрете» и тихо матерился.

Распирало Котлова: собачья служба, собачья жизнь; в придачу и мороз эвон какой собачий завернул! Не ко времени холодина, ей бы, как то богом от века заведено, на крещенье ударить, так нет, акурат в крещенье и отпустило, оттеплело, зато ныне вот, считай дён на десять запоздалось! — отыгрывается па православных, в бога и в мать его. Хорошо хоть догадало Котлова ватные штаны поверх прочего исподнего натянуть да валяные, войлоком подшитые сапоги надеть, а то ведь и тулуп не поможет, где там, шутейное ли дело — на голом-то снегу, в свежий сугроб по уши влезши, злую ночку коротать... не с крутобокой своей Матреной, хо-хо, па жаркой перине париться!

Сугробик не ахти какой, за можжевеловым дохлым кустиком, но ничего, двоим-то можно схорониться: рядышком лежал еще Стась Сурвилло, сопливый полячок, из корчемной стражи Юрбургского поста; в паре с ним Котлов «секрет» нес у крайней хаты деревеньки вот этой — Смыкуцы называется; не деревенька даже, так, хутор, на пять домов, а поди ж ты, тоже, как чего стоящее, название имеет.

Не понравилось Котлову, как напарник лежит: мертвяк мертвяком, не шелохнется, как дышит и то не по-

чуять; толканул локтем Сурвиллу в бок: не околел, мол, еще, жив? Другой бы, кто понормальней, брыкнулся в ответ, а этот нет, только рожу свою вывернул: жив, мол, жив, не бойся. А чего бояться? Жив, ну и хрен с тобой, не об тебе, басурманин, коли хочешь знать, заботушка — об себе: совсем тошно одному было б.

«Секрет» они с Сурвиллой, ничего не скажешь, с умом выбрали: все поле от леска до хутора насквозь видно; к тому ж и вызвездило ноне, ясно, как завсегда в ядреный мороз выпадает. Сейчас «секретов» таких в округе штук десять, если сосчитать. Проморгали, видать, в таможне Юрбургской контрабанду с газетками какими-то, «Искра», что ли; чего бы путное, шнапс хоть прусский, а то газетки, есть об чем тужить,— так нет, аврал вторую неделю, ни сна, ни отдыха, только чтоб сыскать те газетки. А это все едино что иголку в стоге сена найти — поди-ка, попробуй, приказы приказывать-то легко!

Кому сказать — не поверят, а так вышло, что в стоге сена как раз и нашли газеты, три пачки, по ту сторону этой вот самой речушки, Митвы, в деревне Дойнава. Хозяйку, чей стог был, взяли, понятное дело, за жабры: чьи, мол, газетки да откуда? Стервь-баба попалась, сразу в крик, в слезы: а я, мол, почем знаю, не в горнице, мол, стог! И ведь не подкопаешься: стожок тот на вольном ветру, кто хошь попользоваться могёт...

Ну ладно, нашли три пачки и на том спасибо, можно б вроде успокоиться; не без добычи все ж, ан нет, ротмистр Демин, Петр, значит, Александрович, помощник Ковенского, самого наиглавнейшего жандармского начальника на Юрбургском пограничном пункте, еще пуще взъярился, уперся, как бык, свое гнет: за ради трех пачек рисковать — никакого, мол, расчета нет, тут, судя по бывалошным случаям, кру-у-упным грузом пахнет, на тюки должен быть счет — не на пачки... Начальник на то он и есть начальник, как захочет, так и будет: отправил

всю, почитай, наличность Таурагенской бригады, да еще с прибавкой Юрбургской корчемной стражи, в «секреты» эти окаянные... вот и торчишь тут, на холоде, как пес какой бездомный, самого б его сюда, борова откормленного! Словом не перемолвиться, молчком околевай тут на морозе! Только ль это? Курить еще страсть как хочется, дымком горячим затянуться!

Котлов покосился на Сурвиллу — лежит себе тихонько, будто так и надо. Новая злость проснулась тут в Котлове: ему, Сурвилле этому, что! Молодой еще, в охотку ему все, до смерти небось радехонек, что на государеву службу влетел, корчемная стража — это тебе не кот начихал, хоть и младшим объездчиком: какая-никакая, а все ж таки *власть*; теперь он землю копытами рыть согласный, лишь бы отличиться. Знаем мы эдаких, сам такой был! Но все, отбегал свое Котлов — ноги не те, поясницу, спаси и помилуй, ломит, старые кости, без малого полсотня годков... И вмиг прошла злость на Сурвиллу: себя жалко стало. Уж до того жалко — хоть волком вой! В особенности саднило душу не то даже, что рядовым стражником был, а что податься больше некуда; разве что волам хвосты крутить! Выходит, так и сдохнуть ему на собачьей этой службе. Может, и сегодня сдохнет — околеет на морозе, вон как продирает, зараза, до костей, до нутра добрался уже, ни штаны ватные, ни тулуп не помеха ему, селезенку и все прочие потроха отморозить — раз плюнуть, а без потрохов, дураку ясно, человека нет, не человек уже, падаль смердящая, хоть живьем в землю!

Зашевелился вдруг Сурвилло, морду в сторону лесочка вывернул. Котлов тоже глянул туда. И взаправду — вроде б что темное у того лесочка на белом снегу копошится. Зверье аль люди? Люди, точно! Двое, кажись. Наперерез поля идут, прямиком к крайней избе, у которой Котлов с Сурвиллой залег. Двое и есть. Мужики. У одного на горбу мешок какой-то, тяжелый, видать, аж пригнуло

мужика. Тот, что следом тащится, поменьше росточком, мальчонка вроде. Посреди поля этот другой забрал мешок у первого, взвалил на себя. Совсем не видно его стало — один куль над снегом колобком катится. Чуток сторонкой прошли, шагах в двадцати. Сурвилло дернулся было к ним — известное дело, молодой, кровь горячая, дурная, да еще выслужиться охота,— но Котлов схватил его за рукав, напарник и приутих.

Прошли злодеи мимо, только под сапогами ихними скрып да скрып, скрып да скрып. Потом, слышно, в окошко избяное постучали. Света там не запалили, но дверь взвизгнула, кто-то вышел во двор, и все вместе черной тенью двинулись к сараю.

Может, пять минут прошло, может, с десяток, но только опять зачернело во дворе. Потоптались там немного да разошлись: один кто-то в дом, остальные двое — со двора прочь; те ль, что явились давеча, другие ли — не распознать, потому как уже не к лесочку, не мимо «секрета» шли, а прямо к обсаженной редкими липами дороге двинулись...

Тут-то Котлов и призадумался: по всему выходило, упустили они с Сурвиллой злодеев, теперь хрен догонишь, ищи ветра в поле. Надо было брать этих двоих; двое на двое — вполне одолеть можно, к тому ж ружьишко у Котлова при себе имеется! Так ихнее благородие господин ротмистр и скажет: пошто, такие-разэтакие, не брали? И чем загородишься? Сурвилле, сукиному сыну, легко, не он старшо́й тут — Котлов...

Сурвилло сопеть стал под боком — сказать, значит, что-то собрался; так завсегда у него: посопит, посопит — потом голос свой подаст. Так и есть, просипел, ровно душит его кто:

— Чего нам теперь будет?

— А чего?

— Хватать их надо было...

— Чего ж не хватал? Герой!
— Так ты ж держал меня.
Вот же сморчок... По сопатке б его разок-другой! Но не стал Котлов яриться, по-доброму сказал:
— Не держал я тебя, понял? Не держал!
— Так я ж...— дернулся, поганец.
— Замолкни! — оборвал его Котлов.— Я говорю! Сейчас бёгом на пост беги. За подмогой. А я тут покараулю. И скажешь — пятеро их было, с мешком! Пятеро, понял, нет?
— А не много?
— Не, в самый раз! Пятеро, никак не менее, ты ж видел! — вбивал в его щенячью башку Котлов.— Может, скажешь, и шесть, но пять — это уж точно!
Хоша и дурень дурнем, а все ж углядел пользу свою:
— Ага, пять! — И глаз тот же миг живой стал, веселый.
Потом поднялся, похлопал себя по ногам — и припустил что есть мочи направо, самым ближним к пограничному посту Неман путем.
Скрылся из виду напарник, а на Котлова муть накатила: самому надо было на пост идти, видит бог, самому! А то как бы пентюх этот по дурости али, чего хуже, из шкурного интереса не ляпнул: мол, двое! С него станется Чего доброго ждать от человека, которого и зовут-то както не по-людски: Станислав; да и Стась — ровно б кто слюнью сквозь зубы свирснул... Такой отца родного продаст, не поперхнется! Маялся Котлов, душу свою на куски рвал: уж до чего вроде тертый да мятый, а тут промашку дал, на мякине сам себя провел. Да, самому топать надо было, не пришлось бы тогда дрожмя дрожать, судьбу свою спытывать!
Ветер тем временем наддавать стал, завьюжило, поземка по полю пошла — час от часу не легче! Но, уткнув нос в овчинный кислый ворот, Котлов расчухал вдруг, что

метель эта очень даже на руку ему сейчас: начнут доискиваться, сколько злодеев было, двое иль пятеро, кинутся следы высматривать, а где они, те следы? — начисто смело-замело... Взбодрился Котлов: шутишь, брат, на вороных Котлова не объедешь, вывернется, все едино сухим останется!

2

Приказав обложить «секретами» все почти населенные пункты вокруг деревни Дойнава, ротмистр Демин решил и сам заночевать на Неманском посту — чтоб быть поближе к возможным событиям. Заодно и напряжение соответствующее вовсе нелишне было внести: одно дело, когда он, Демин, у себя в Юрбурге отсиживается (хоть и недалеко, а все ж не здесь, не на глазах), и совсем другое — заставить всех, не только хозяина Неманского поста ротмистра Кольчевского, с оглядкой на своего начальника действовать; начальский кнут, пусть незримый, весьма способствует появлению должной ретивости, это ротмистр Демин великолепно знал по себе.

Любо-дорого глядеть было, как усердствует ротмистр Кольчевский, какого страха нагоняет на своих подчиненных: явно в расчете на Демина — и тон повыше, и слова покруче. Демин держал себя отнюдь не строго, специально следил за тем, чтобы на лице сохранялось снисходительно-рассеянное выражение (чем давал понять Кольчевскому, что единственно из великодушия не отменяет иных его, и вправду бестолковых, распоряжений),— такая метода похуже окрика язвит; излюбленная, к слову сказать, манера полковника Шлихтина, начальника Ковенского губернского жандармского управления, чьим помощником по Юрбургскому пограничному пункту ротмистр Демин имел честь пребывать.

Демин еще и потому мог снисходительность па себя

напускать, что ни на грош не верил в успех этой, им же самим затеянной операции; так какая разница — те распоряжения отдает Кольчевский или не те? Похоже, что дело дрянь, так сказать, попытка с негодными средствами. Что транспорт с нелегальными изданиями не ограничивается тремя пакетами с «Искрой», обнаруженными в деревне Дойнава, в том ни малейшего сомнения. Но легче ль оттого? Все кверху дном перевернули в доме и на подворье одиноко живущей вдовы Евы Микелюне (ей как раз принадлежал тот стожок сена, откуда выудили пакеты) — ни вот такой зацепки! Тогда-то и родился у Демина план с устройством «секретов». Расчет вполне здравый был: если контрабандный груз где-то здесь — у Евы ли Микелюне, еще ли где — припрятан, то преступники всенепременно должны извлечь его из прежних тайников, заново схоронить — в другом, более надежном месте; сразу увезти в Ковну или Вильну они едва ли рискнут: дороги и городские заставы накрепко перекрыты, преступникам, надо полагать, это тоже отлично известно; следовательно, у них один выход — где-нибудь поблизости укрыть свой «товар». Логично? А коли так — нипочем не миновать им частого сита «секретов»...

Но от себя ротмистр Демин не скрывал: в плане этом, по видимости таком безупречном, легко можно обнаружить и некоторые уязвимости. «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги»: тот именно случай. Перво-наперво (не дай бог, до этого и Шлихтин додумается!), где вы, ротмистр Демин, раньше-то были? Два дня ведь и две ночи прошло, а ну как злоумышленники *уже* перепрятали свою печатную крамолу? Теперь другое: где уверенность, что они вообще захотят перепрятывать тайники, а если и захотят, то почему обязательно сейчас, по горячему следу, когда вы тут с воинством своим лютуете? И наконец, третье: а не кажется ли вам, милостивый государь Петр Александрович (въедливо-снисходительным тенорком

Шлихтина допрашивал себя Демин), что никакого потаенного транспорта вовсе и не было, а злополучные эти три пакета имеют какое-либо иное происхождение?

Да, дело дрянь, бесспорно; но, с другой стороны, не бездействовать же? За чрезмерное усердие, испокон ведется, никто не взыщет, пусть хоть оно, усердие это, во вред делу. Так что с «секретами» удачно придумалось, тут лучше переборщить: будет, на худой конец, чем оправдаться...

А что Кольчевский, пришло вдруг на ум Демину, он-то хоть верит в нынешнюю затею? Суетливая рьяность его ни о чем не говорит: в присутствии начальства всяк горазд ретивость выказать; а вот что в душе у тебя, на донышке? Может, и верит, шут его знает; всего с полгода на жандармской службе, надеждами всякими полон.

Ждать вестей, кои ночью могут поступить с «секретов»,— нема, как говорят хохлы, дурных, пусть-ка уж Кольчевский покрутится, бессонным бдением хлеб свой отрабатывает. Сославшись на то, что не хотел бы даже и присутствием своим влиять на ход операции, ротмистр Демин отправился в отведенную ему — здесь же, в домике пограничного поста,— комнату. Прежде чем заснуть, обдумывал все Кольчевского; не понравился ему новоиспеченный жандармский ротмистр. Положительно, не так он прост, этот Кольчевский: «штучка»; по нынешним временам, такие как раз и делают карьеру, так что, гляди, как бы лет через пяток под началом у него не оказаться... Ну да ладно: как там ни будет, а покуда Кольчевский перед ним, ротмистром Деминым, на полусогнутых бегает. Набегаешься, родимый, ох как набегаешься еще и сколько ночей не доспишь, пока начальство — за стеночкой, как сейчас вот,— дрыхнуть изволит!

Разбудили Демина посреди ночи: гонец из деревни Смыкуцы. Младший объездчик Сурвилло по второму,

должно быть, разу доложил (но все равно бестолково, с массой не идущих к делу подробностей), что пятеро мужиков с мешком прошли полем к крайнему дому, потом постучались в окошко, потом ненадолго скрылись в сарае, а потом — без мешка уже — ушли к дороге, все пятеро. У Демина вертелся на языке вопрос: а чего ж не задержали, отчего даже не попытались задержать? — но, взглянув на затравленную физиономию молодого объездчика, на его заискивающие от страха глазки, Демин понял, что именно этого вопроса тот и страшится больше всего, значит, бессмысленно и спрашивать, только время терять. Спросил о другом — более в данную минуту существенном:

— А точно — пять?

— Может, и шесть, а уж пять — это точно!

Похоже, не врет, подумал Демин; а и врет, лишних людей прихватить с собой не мешает: побыстрей обыск произведем. Отряд на славу получился — хоть в штыковую веди на супостата; шесть человек, если себя и ротмистра Кольчевского не считать; когда к Смыкуцам подкатили, седьмой еще прибавился — стражник Котлов, дожидавшийся подмоги в «секрете».

На всякий случай Демин приказал окружить дом; приказал Кольчевскому, а тот нижними своими чинами сам уже командовал. Покуда дверь отворили, пришлось изрядно постучать. Отворил хозяин; из-под старенького полушубка выглядывали подштанники и нательная рубаха. Звали его Иван Тамошайтис, что-нибудь под сорок. Еще в доме была древняя старуха, лет за восемьдесят (ее пока не стали поднимать с койки), и некая девица, служанка-работница, назвавшаяся Анной Спаустинайте; на вид ей было лет двадцать пять, не меньше, но на вопрос о возрасте она, к немалому удивлению Демина, ответила, что ей шестнадцать. Наблюдая за ней со стороны и вслушиваясь в косноязычный, маловразумительный ее лепет, Демин

пришел к заключению, что она явно слаба умом, да и на лице ее, если попристальней вглядеться, легко уловить признаки врожденной придурковатости.

Тамошайтис разыгрывал святое неведение: спал как убитый, ничего не знаю. Довольно ловко вел свою игру, бестия; не будь Демину наверняка известно о недавних посетителях, пожалуй, и поверил бы. Что ж, пора сараем заняться; когда обнаружится мешок с таинственным грузом — по-другому заговоришь, голубчик!

В сарай отправились всем гуртом (Тамошайтиса тоже, понятно, прихватили с собой). Сарай содержался в завидном порядке: соха, бороны и прочая крестьянская утварь — все это стояло, лежало и висело на своих, явно раз и навсегда отведенных местах; любой сторонний предмет (тот же мешок хоть с литературой) сразу бросался бы в глаза. Нет, по совести, ничего *чужого* здесь не было. Но не полагаться же на первый, поневоле поверхностный огляд! Наитщательнейший осмотр надлежит произвести, во все уголки заглянуть, во всякую щелку влезть, до последней соринки перешерстить все. От четырех свечных фонарей (а и двух за глаза хватило б, сарай невелик) было светло как днем, точно уж любую соринку разглядишь — не то что мешок, битком набитый газетами. Правда, пачки с газетами могли уже извлечь из мешка, стало быть, не только мешок искать надобно...

Сам-то Демин, разумеется, ни к чему не прикасался, и без него народу переизбыток, друг дружке мешают только. Демин велел Кольчевскому двоих хотя бы в дом отправить — вовсе не потому, что полагал так уж необходимым наблюдать за матерью-старухой и полудурочной девицей, просто надоела эта толкотня в тесном сарае. Но Кольчевскому вольно было узреть в его словах команду не спускать глаз с женщин: так, по крайней мере, он напутствовал стражника Головина и урядника Пацюка, отряжая их в дом.

В сыщицком деле всегда так: не знаешь, где найдешь, а где потеряешь... Не прошло и трех минут (Демин едва успел закурить, разок-другой всего и затянулся), как прибегает стражник Головин, зовет. Случай и впрямь заслуживал того, чтоб срочно звать. Когда Головин с Пацюком входили в хату, они заметили, что из чулана тянет дымком. Оказалось, к чулану примыкает коптильня, оттуда и дым. Заглянули в коптильню, а там грудастая эта девица распалила небольшой костерок и жгет какие-то бумаги; не просто бумаги — газетки! Вырвали у нее из рук пачку, потом из огня выхватили еще несколько обгоревших кусков газетных.

Демин взял пачку. Кровь к лицу сразу прихлынула: так и есть — «Искра»! Тоненькая папиросная бумага, знакомый шрифт и поверх заголовка бисерными буковками: «Из искры возгорится пламя...» Пересчитал: девять экземпляров в пачке; обгоревшие куски, должно быть, от десятого. Все экземпляры одного выпуска — № 8. Этот же самый номерок был и в пакетах, найденных в деревне Дойнава...

Приказав произвести обыск теперь во всем уже доме, Демин самолично приступил к допросу (протокол велел, однако, Кольчевскому вести от своего имени). Тамошайтис (от роду 37 лет) вел себя вопреки элементарной логике, даже и спасенные от огня крамольные газеты, которые Демин совал ему под нос, не побудили его к откровенным показаниям. На лице — удивление и испуг, не поймешь, чего больше, и на любые вопросы впопад и невпопад бубнил одно: дескать, спал крепко и кто был у него в сарае, ему неизвестно; также он ничего не знает и про газеты. Просил еще пожалеть его, не губить; что-то и про мать-старуху — что за ней, как за малым дитем, ходить надо, а то помрет.

Отчаявшись выбить у него признание, Демин начал допрашивать девицу-работницу — скорее для порядка, по-

тому как, наблюдая за ней, окончательно понял, что у нее несомненный какой-то вывих в мозгах. Но тут ему, сверх ожидания, повезло: она вдруг сделала наиважнейшие признания... не исключено, что как раз по причине явного своего кретинизма. Блаженно улыбаясь, она — словно б радостью какой делилась — сразу же показала, что газеты, да, принадлежат ей. Как попали к ней? А очень просто, ей их дал брат, Юстас, когда уезжал в Америку. На хранение, что ли, оставил? Ага, тупо подтвердила она, подарил. А зачем сжигала, коли подарил? Красивый огонь, сказала она, очень красивый; и засмеялась, по-детски прихлопывая ладонями. Где же остальные газеты? Она долго не могла взять в толк, о чем ее спрашивают, потом принялась отрицательно качать головой, потом зарыдала, размазывая по лицу копоть, и, опять же по-детски причитая, просила отдать ее бумажки, а то брат Юстас, когда вернется, будет ее ругать. Безутешные рыдания сотрясали ее мощное, отнюдь не девчоночье тело (никак не укладывалось в голове, что ей всего шестнадцать), больше ничего добиться от нее не удавалось, а уж одно-то обстоятельство — есть ли у нее брат, действительно ли он уехал в Америку и, главное, когда — нуждалось в скорейшем выяснении. Иван Тамошайтис, вновь введенный в горницу, где велся допрос, сообщил существенные сведения о брате своей работницы. Анна, сказал он, из другой деревни, это далеко, под Вилькомиром, поэтому он, Тамошайтис, с братом ее не знаком, но знает, что его зовут Юстас и что не так давно, самое большее, месяца три назад, он уехал в Америку...

Если учесть, что восьмой номер «Искры» датирован 10 сентября 1901 года, а нынче 18 января 1902 года, то получается, что брат Анны Спаустинайте вполне мог (гипотетически рассуждая) отдать ей на хранение свою нелегальщину. Правда, такое допущение (стоит только сделать его) вносит изрядную путаницу в общую картину.

Выходит тогда, что и давешние три пакета, и эта вот чуть было не сгоревшая пачка имеют давнее происхождение. Но как уложить в такую схему сегодняшний ночной визит пятерых неизвестных с загадочным мешком? А что, подумал Демин, если предположить, что в мешке было что-нибудь иное, не обязательно газетки эти паршивые; мука, к примеру? Но опять задачка: какой резон тогда Тамошайтису отрекаться от визитеров своих и от мешка? Сказал бы, кто был и что принесли,— и вся недолга. Значит, одно из двух: либо правда ни о чем не знает, не ведает, либо — что вероятнее — у него есть основания даже и перед лицом неоспоримых улик скрывать истину.

Обыск закончили, когда уже рассвело. Форменный погром учинили, даже половые доски в поисках тайника выборочно повырывали — безрезультатно. Обоих — Ивана Тамошайтиса и Анну Спаустинайте — Демин распорядился препроводить в таурагенскую тюрьму. Дожидаться, пока арестованные соберутся в дорогу, не стал — вместе с Кольчевским вернулся на Неманский пост. Но и здесь не задержался; даже не отогревшись как следует, поспешил к себе, в Юрбург. Требовалось протелефонировать в Вильну, в тамошнее жандармское управление — ротмистру Модлю; в присутствии же Кольчевского такое обращение к Модлю за помощью таило в себе немалое унижение...

Да, формально Демин никак не обязан был адресоваться в соседнюю губернию, к этому чертову Модлю. Но существовала некая неписаная субординация, с ней-то и надлежало считаться. Хотя Вильна давным-давно уже не столица Литвы, а равнозначный с Ковной губернский город Российской империи, тем не менее первенство Вильны как бы признавалось негласно. Надо полагать, не случайно именно в Вильне резиденция генерал-губернатора, под началом коего целых три губернии — не только Виленская, но также Ковенская и Гродненская. Далее, едва ли слу-

чайность и то, что губернское жандармское управление в Вильне возглавляет генерал-майор Черкасов, а в Ковне на соответствующей должности держат Василия Антоновича Шлихтина, полковника; по говядине и вилка, не так ли?

Демин давно уже убежден был, что располосовывать Литву на две губернии решительно никаких резонов нет; неизвестно, как сие сказывается на деятельности иных ведомств, но для жандармов, тут сомневаться не приходилось, одна лишь помеха. Добро б, коли господа революционеры на территории одной губернии орудовали — либо этой, либо той,— так ведь нет, единая ниточка их следов тянется через всю Литву. Масса неудобств, масса! Только сядешь на хвост некоему господинчику с подпольной кличкой, а он, не будь дурак, уже увернулся, к соседям подался. Дело есть дело, ничего не попишешь — сообщаешь в Вильну необходимые сведения, там, бывает, его и хватают, им и заслуга вся... Но хуже другое: вечно чувствуешь свою зависимость от какого-нибудь Модля. А если взять сегодняшний случай, здесь зависимость уже сугубо фактическая, а не только, так сказать, моральная. Виленские коллеги, не грех тут отдать им должное, умно поступили: когда — примерно с год назад — из неведомого закордонья стала тайными путями поступать русская, весьма опасного направления газетка с несолидным названием «Искра», там, в Вильне, почти тотчас унюхали что к чему и выделили специального человека — этого самого Модля, Владимира Францевича, у которого в руках все начала и все концы новой ветви русских социалистов. Мудро и дальновидно, да; тем более что чрезвычайность возложенной на Модля миссии вынуждает и нас, ковенцев, работать на него... бывает, что и на помощь призывать его, как сейчас вот.

Что и говорить, Демин предпочел бы сам развязать последний узелок и лишь после этого уведомить, как бы в

порядке дружеской услуги, о происшедшем; потому-то, обнаружив в Дойнаве следы «Искры», не торопился зазывать Модля в игру — очень уж хотелось самому выйти в дамки. Но нет, не судьба, значит; еще одна пачка «Искры», обнаруженная только что в Смыкуцах, ничего не прояснила, пожалуй, даже запутала дело. Так что без Модля не обойтись. Пусть-ка он, если уж такой умник, попробует дознаться!

Недолюбливал Демин Модля: белая косточка, голубая кровь (так, во всяком случае, ставит себя). Вроде бы и за ровню держит тебя, ан нет, чем-нибудь да даст понять, что ты не чета ему: солдафон, плебей. Давая выход досаде, Демин чертыхнулся: до чего ж сладко живется немчуре на пышных российских хлебах!

Но вот уж и Юрбург...

3

Роскошная бумага — веленевая, гладчайшая, в руки приятно взять. И почерк дивный, буковка к буковке, нечасто встретишь теперь такую щегольскую писарскую умелость, все больше попадается — в *исходящих и входящих* — обезличенно-холодная машинопись. А сам документик этот, выписанный с такой любовью и тщанием,— редкостная мерзость... к доносам Владимир Францевич Модль, отдельного корпуса жандармов ротмистр, вообще относился с брезгливостью, хотя умом понимал их несомненную, в иных случаях, полезность.

На роскошной веленевой бумаге столь же роскошным почерком было начертано:

«Милостивый государь господин Полицмейстер.

Как честный и верный гражданин Отечества почитаю своим долгом предупредить Вас относительно одного молодого человека, подозреваемого мною в политической неблагонадежности. На чем основаны мои подозрения — это

для Вас вопрос лишний, ибо Вам самим в этом легко удостовериться, если примете надлежащие меры. Фамилия сего молодого человека — Таршис (возможно, Тарсис), имя — Иоселе (возможно, Осип). Не исключаю того, что в имеющемся у него виде на жительство значится какая-нибудь фиктивная фамилия. Несколько лет назад, если не ошибаюсь, он содержался в «нумере 14». Квартирует он в Поплавах, на Сиротской улице, дом Бобровича.

Остаюсь с совершенным почтением

Инкогнито.

1902 года, марта 5 дня».

Да, отменный негодяй. Из тех поганцев, что ручек марать не желают; в дерьме по уши, а ручки чтоб чистые... К полицмейстеру обращается, хотя при такой-то своей осведомленности сей «честный и верный гражданин» не может не знать, что *политически неблагонадежные* по жандармскому ведомству проходят; а все оттого, что и согрешивши страсть как охота невинность соблюсти. Или другое, тоже весьма выразительное место: там, где, намекнув на свои подозрения, за скобками их оставляет, никак не расшифровывает,— дескать, я вам не мелкий какой осведомитель, а человек бла-ародный, с *принци́пами*. Тоже по-своему хороша фразочка насчет «надлежащих мер», кои господин Инкогнито рекомендует принять к подозреваемому молодому человеку,— опять же фиптит, фирюльничает, а все равно белые нитки торчат, гнусную душонку выдают.

Впрочем, что таить, месяца полтора назад доброхотному этому доносу цены бы не было. А теперь, милейший, и без тебя все известно; даже поболе того, что ты знаешь. Ни в «нумере 14» (то бишь в виленской тюрьме), ни в ином каком-нибудь казенном месте помянутый молодой человек (и верно — Осип Таршис, двадцати лет от роду,

уроженец Вилькомира) за решеткой никогда не находился (хотя, по чести, давно заслуживал того). И на Сиротской, в доме Бобровича, уже недели две как не квартирует, вообще с некоторой поры постоянного местожительства не имеет, что весьма прискорбно, так как затрудняет наблюдение за означенным субъектом, получившим у филеров кличку Щуплый.

Самому себе Модль мог признаться (даже и покаяться в этом мог): с громадным опозданием было обращено внимание на Осипа Таршиса! В филерских рапортах время от времени мелькало, правда, упоминание о Щуплом, да — казалось — мало ли Щуплых, да Тучных, да Лысых, да Рыжих? Эдак всю Вильну со всеми подвластными ей пятью уездами перепотрошить пришлось бы: масса случайных, необязательных сведений попадает в те рапорты, сам черт голову сломит, ей-ей, легче в навозной куче жемчужное зерно сыскать, чем в малограмотных филерских писульках крупицу действительно ценного, нужного! В поле зрения находились птахи покрупнее — Ежов (он же Сергей Цедербаум), родной братец Юлия Мартова, высланный из Петербурга студент Сольц и другие лица, хорошо известные своими злонамеренными деяниями. Осип же Таршис, если говорить прямо, впервые попал на серьезную заценку лишь в январе сего года, да и то по чистой случайности.

Было так. Ротмистр Демин из Юрбурга телефонировал Модлю об изъятиях партии «Искры» в деревнях Дойнава и Смыкуцы (подал это, шельмец, как большой свой успех) и тут же, в порядке, так сказать, дружеского одолжения лично ему, Модлю, пригласил его («коли есть охота») подетальнее ознакомиться с делом. Встретились в Таурагах, где находились под стражей схваченные с поличным Тамошайтис и Спаустинайте. Перелистнув протоколы допроса, Модль тотчас понял, что дело вконец испорчено. Несчастье, да и только, когда за сыщицкое ремесло, требую-

щее, если угодно, тонкости и изворотливости, принимаются безмозглые солдафоны. Нарочно и то невозможно так навредить, как навредил своей очевидной беспомощностью Демин... уж он-то, Модль, не упустил бы своего во время первого, самого, как показывает опыт, решающего допроса! Вся добыча Демина, которой он так гордится (три пакета и еще пачка «Искры»), гроша ломаного не стоит. Дураку понятно, что это — жалкие огрызки крупной партии. А где остальной груз? Кто были те люди, что доставили мешок в Смыкуцы? Нет, Демина, сдается, все это нимало не интересует. Одно лишь несколько смущает его: неужто Анне Спаустинайте и в самом деле шестнадцать? Такая ведь на вид зрелая девица! Смущает — так выясни поскорей, леший тебя бери!..

Модлю всего полдня понадобилось, чтоб уличить девицу: из Вилькомира была спешно доставлена церковная книга, а в этой книге — запись, удостоверяющая, что Анна Спаустинайте, дочь Игнотаса Спаустинайтиса и Ядвиги Спаустене, родилась 17 февраля 1878 года; следовательно, ей от роду двадцать четыре года, а отнюдь не шестнадцать,— вот так-то, дорогой коллега! Попутно Модлем была обнаружена еще одна ошибка: из справки, затребованной у вилькомирского уездного исправника Стефановича-Донцова, явствовало, что брат Анны, Юстас, эмигрировал в Америку в апреле 1901 года, из чего опять-таки с непреложностью следует, что он не имел возможности передать сестре на хранение пачку с восьмым номером «Искры», который выпущен спустя полгода после его отъезда, 10 сентября,— что вы на это скажете, милейший коллега?

Хуже нет чужие огрехи исправлять... Тамошайтис — крепкий мужичок, ни на шаг от первоначальных показаний не отступает: я не я, и хата не моя. С девицей и вовсе разговор бесполезный: хихикает да рыдает; может, и прав Демин, что она немного не в своем уме, но не стран-

но ль, что тупость ее как-то очень уж в одну сторону направлена — к явной выгоде для себя?

Модль занялся тогда Котловым и Сурвиллой, теми, что были в «секрете» у Смыкуц. Разговаривал с ними порознь; и что больше всего насторожило его — до смешного одно и то же, ну просто слово в слово одно и то же, показывали они. Так не бывает; противоестественно, чтобы два разных человека столь согласно говорили, ни в одной мелочи не разошлись. Не иначе — сговорились, стервецы, назубок затвердили свои показания. Но почему, какая цель? В особенности оба они напирали на то, что злодеев было много, пятеро,— уж не здесь ли разгадка? Дескать, если пятеро, так и спроса с нас никакого, что упустили. Модль сразу ж засомневался: виданное ли дело, чтоб с одним мешком (допустим, что и тяжелым) пять человек хороводилось? Двое, ну пусть трое, но не целая орава!

Модль оставил для дальнейшего разговора Сурвиллу — этот, кажется, послабее, пожиже. Спокойным, даже и сочувственным голосом объяснил ему, что пятеро «злодеев» было или хоть сотня, все равно их с Котловым следует отдать под суд за преступное бездействие. Но есть и спасение: сказать правду; тогда он, Модль, простит его; Котлова не прощу, а тебя, Станислав, прощу, у тебя вся жизнь впереди... Младший объездчик дрогнул: а верно ль простите, ваше благородие? Верно, сказал Модль; мне толку мало в тюрьме тебя гноить, мне правда нужна. Сурвилло и признался после этого, что мужиков той ночью было двое, они по очереди тащили на спине мешок, сперва большой мужик нес, потом — маленький; еще Сурвилло каялся, что хотел же броситься к «злодеям», да бес попутал, Котлова послушал, остался на месте лежать... Добившись своего, Модль, однако, не испытывал особой радости: пусть признание само по себе и важное, но от него, как говорится, ни жарко ни холодно — пятеро или двое, какая разница? Сколько б их ни было, а следов не

оставили, исчезли безвозвратно. Разве что эта лишь зацепка: один большой, другой — маленький... Невелика пожива, что и говорить. К тому же Модль допускал, что Сурвилло мог все и наврать от страха — только бы не гневить приезжего начальника.

Выпроводив Сурвиллу, Модль взялся за Котлова. Попросил стражника поподробней рассказать, как он помешал своему напарнику задержать преступников. Котлов посопел с минуту (а лицо пятнами пошло, пятнами!), потом, собравшись с духом, выпалил, мразь такая, что не было ничего такого, по злобе на него Стаська наговаривает. Модлю недосуг было шаг за шагом припирать его к стенке, напрямик сказал, что Сурвилло признался, сколько в действительности людей было с мешком, но нужно проверить, не врет ли (сразу же посулил, что в ответ на чистосердечность освободит его от безусловно заслуженного им сурового наказания). И тогда Котлов тоже, как и Сурвилло (но независимо от него!), признался, что с мешком было два человека, только двое: один — мужчина крупный, плечи вó, вроде как я, а второй — тот небольшого росточка, замухрышка, на мальчонку смахивает. *Щуплый*? — ухватился Модль. Ага, тощий, на свой лад подтвердил Котлов. Модлю понравилось, что стражник не подыгрывает ему: верный признак, что хоть сейчас правду говорит; а *щуплый* или *тощий* — не одно ль это и то же?

Модль не мог бы поручиться, что интуиция, которой обычно привык верить, на сей раз не подводит его. Слишком зыбкая зто примета — рост, комплекция, чтобы с уверенностью вывести тождество субъекта, которого филеры нарекли Щуплым, и одного из тех двоих, что причастны к акции в Смыкуцах. Однако здесь хоть какая-то реальная ниточка, а на безрыбье, не зря сказано, и рак рыба...

Модль оставил Демина одного расхлебывать не доваренную им кашу — сам же без промедления отбыл в Вильну. Филерам с этого дня было строжайше наказано взять

Щуплого в персональную «проследку». Филерская братия, прямо сказать, неплохо развернулась: спустя неделю Модль располагал довольно обширными сведениями об интересующем его субъекте. Как Модль и ожидал, подлинное имя Щуплого — Осип Таршис — было *свежее*, ранее не фигурировавшее в агентурных сводках. Но отчего не фигурировало? Оттого ль, что не имело касательства к подпольным делам, или оттого, напротив, что Таршис слишком глубоко ушел в это самое подполье? Последнее было наиболее вероятным, недаром же филеры в один голос скулят: ловок, увертлив, ужом ускользает!

Сейчас, когда Таршис попал на сугубую замету, Модль, вороша старые дела, чуть не на каждом шагу натыкался на упоминание о Щуплом. Так было в минувшем декабре, когда в Вилькомире были схвачены с четырьмя тюками искровской литературы возчик Шабас и литейщик Рогут, недавно повесившийся в Ковенской тюрьме. Так было и во время «ликвидации» Ежова и Сольца. Легко допустить (несмотря на отсутствие прямых улик), что Таршис имеет отношение и к партии «Искры», часть которой захвачена в Смыкуцах: едва ли простое совпадение то, что Анна Спаустинайте и Таршис родом из Вилькомира. Были и еще занятные «совпадения»: до ареста Ежова Таршис, пусть с перерывами, но все же нанимался дамским портняжкой то в одну, то в другую мастерскую, после ж изъятия Ежова нигде уже больше не работал. Это наводило на мысль: а не заместил ли Таршис Ежова? Модль все яснее осознавал обидное для себя: то, что Таршис столь долгое время находился вне поля зрения,— серьезнейшее его, Модля, упущение. Что ж, решил он, тем паче надобно теперь сделать все, чтобы в дальнейшем не допускать больше досадных промахов. Главное — действовать осмотрительно, без дурацкой спешки; тут, если взглянуть па дело с другой стороны, есть еще случай и отличиться.

Даже отличиться, да... Обычно всеми мало-мальски значительными «изъятиями» социалистов руководят из Питера, тот же взять арест Ежова и Сольца (наиболее за последнее время заметное дело) — и он ведь произведен по прямому предписанию Ратаева, начальника особого отдела департамента полиции. Теперь же появляется возможность — поскольку Таршис ни в одном из списков по розыску особо опасных государственных преступников не значится — самим довести дело до конца и только после дотошного установления всех явок и связей выложить перед Ратаевым *готовенькое:* как видите, глубокоуважаемый Леонид Александрович, мы тоже не лыком шиты. Тут вопрос не только самолюбия и престижа — есть шанс быть *замеченным,* глядишь, в Питер призовут; не так ли, к слову, взлетел из Одессы полковник Пирамидов, притом сразу на должность начальника столичной охранки?

Все бы хорошо, да генерал Черкасов, которому Модль изложил свои соображения, чуть было не поломал весь план. Меня удивляет, Владимир Францевич, ваша нерешительность, тоном выговора заметил он; если, как вы утверждаете, к этому Таршису сходятся сейчас все концы по доставке и распределению «Искры», тем скорее, стало быть, следует его обезвредить, тогда хоть на какое-то время мы избавимся от искровской пагубы. Трудно сказать, чего больше было в словах начальника управления — наивности или прямолинейности. Рискуя усугубить недовольство собою, Модль тем не менее твердо стоял на своем. Партией запретной литературы больше, убеждал он своего шефа, партией меньше — в данном случае не столь важно. Опаснее другое: заберем Таршиса — останутся на свободе другие Таршисы, к сожалению не известные нам. Это все равно что у сорняка обрывать листья,— с корнем, с корнем надо! Всех на крючок, все окружение Таршиса! Если б в свое время (еще одно доказательство

привел Модль) мы, прежде чем арестовывать Ежова, имели возможность основательно проследить его связи, то и Таршис давно был бы нами обнаружен... То ли в самом деле удалось убедить Черкасова, то ли ему попросту надоел затянувшийся разговор, но он санкционировал действия Модля, действия, которые — если отвлечься от частностей — сводились к выявлению лиц, связанных с Таршисом.

Модль и сам не подозревал, какой тяжкий груз взвалил на себя. Этого Щуплого впору было переименовать в Юркого. Ртуть, истинно ртуть! Ни одному из филеров еще не удалось выявить начальную и конечную точку бесчисленных передвижений Таршиса по городу. Стоит только обнаружить его, как он словно бы растворяется в воздухе. Потом опять вдруг выныривает, уже в противоположном конце города. Где ночует, тоже никому не ведомо. Единственное, что удалось установить за несколько недель изнурительной слежки,— это районы Вильны, обычно окраинные, которые он посещает чаще всего: Снипишки, Зверинец, Заречье, Поплавы. Но толку от этого было чуть... Модля прежде всего интересовали люди, с которыми Таршис встречается, а как раз эти сведения отсутствовали в филерских отчетах. Черт знает что, проклятье какое-то! Не просто же так, без всякой цели этот Щуплый шастает целыми днями по городу; можно биться об заклад, что и не житейские свои какие делишки обделывает,— слишком ясно, что человек *делом* занимается. Но — каким, с кем? Ведь не в безвоздушном же пространстве он обретается!

Да, столь трудного случая Модль не мог припомнить в своей практике. Вдвойне скверно, что за нос водил не матерый преступник, все огни и воды прошедший, а, в сущности, мальчишка, сосунок,— можно было только диву даваться, откуда такая сноровка, такое дьявольское умение заметать следы. А тут еще дополнительная пытка:

Черкасов требовал ежедневного доклада о добытых за сутки сведениях; докладывать же, понятно, было почти не о чем, и Модль испытывал жгучее унижение — оттого, что приходилось выкручиваться, делать вид, будто все идет как надо. Однако старого генерала трудно было провести: выслушав очередной доклад, он недвусмысленно ухмылялся, и это было похуже любых словесных комментариев. Больнее всего Модль переносил то, что была задета его профессиональная, если угодно, честь, но одновременно он чувствовал, как в нем просыпается давно уже не появлявшийся у него азарт охотника,— это удесятеряло силы. Модль не допускал и мысли, что Щуплый может ускользнуть, слишком велика была ставка. Искренно верил, что полное разоблачение Таршиса — вопрос времени.

...Одного лишь он не знал — что как раз времени, потребного для достойного завершения столь многотрудного этого дела, практически у него уже не было...

4

Беспокойство, охватившее Осипа, было странного, немного даже загадочного свойства. Как часто уже бывало в последнее время, оно настигло внезапно, вдруг, без видимой, казалось, причины. Но это было спасительное беспокойство, оно никогда не появлялось зря.

Впрочем, «беспокойство», понимал он, может быть, не совсем точное в данном случае слово. Скорее — некое новое, до недавних пор неведомое ему обостренное чувство опасности. По этому беспокойству (пусть все же так!) он почти безошибочно определял, что попал в проследку. И это чувство неспокоя, что удивительно, не отпускало лишь до той минуты, пока не находил в толпе очередного приставленного к нему филера,— после этого все сразу становилось на свои места, и тотчас появлялись

хладнокровие, решительность. Поначалу Осип немало удивлялся такой явной несообразности: вроде бы логичнее, если волнуешься при появлении реальной опасности. Но нет, все правильно: когда видишь филера, когда точно знаешь, как выглядит твой сегодняшний «хвост», тут ты хозяин положения, и только от твоей умелости и ловкости зависит, кто кого одолеет. Куда хуже, если о присутствии шпика даже не подозреваешь...

Чтобы сократить путь к вокзалу, Осип решил пройти через Боса́ки — виленский рынок, получивший свое причудливое название от некогда располагавшегося здесь монастыря кармелиток, до самого снега ходивших босиком. Расчет был (когда свернул на Босаки) еще и на то, что здесь легче будет затеряться, раствориться в толпе; это на всякий случай, потому что не чуял еще опасности. Как вдруг (и надо же так случиться было — именно на Босаках, среди многолюдья!) ощутил это свое *особое* беспокойство. Немного замедлил шаг; подойдя к торговцу медом, словно невзначай оглянулся. Выделил сухощавого господина в чиновничьей фуражке и еще одного — с бегающими глазками, по виду мастерового. Кто-то из этих двоих, решил, не иначе. Что ж, надо проверить. Испытанный прием: вывести «хвост» на малолюдную улицу, где каждый прохожий на счету.

Осип двинулся с Босаков в противоположную от вокзала сторону; умышленно — чтоб выманить за собою шпика — не торопился, еще и стакан тыквенных семечек по пути купил.

К Босакам примыкает Дворянский переулок — короткий, легко просматривается из конца в конец. Осип дошел до середины — тогда лишь обернулся. Что такое! Ни «чиновника», ни «мастерового»... Неужто обмануло чутье? Огорчаться, понятно, не приходится: в таких делах лучше обмануться. Тем более сейчас. Очень важно сесть в поезд *чистым*. Впрочем (усмехнулся в душе), это и всегда важ-

но. Но нет, особенно все-таки сейчас: ни в коем случае нельзя допустить, чтобы «Маркс» был заподозрен в связи с ним, Осипом.

У них уже была одна встреча на явочной квартире, вчера. Формально вчера же состоялась и передача дел по группе содействия «Искре»: Осип рассказал обо всех перевалочных пунктах на границе, о явках, паролях. «Маркс» старательно запомнил все. Но Осип понимал: от такой — словесной — передачи дел мало проку. Лучше всего самому познакомить «Маркса» с нужными людьми, это ускорит процесс вживания нового человека в незнакомую для него обстановку. Решили утром вместе поехать в Ковну, затем, покончив с тамошними делами,— на границу. Договорились сесть в один вагон, но, разумеется, на разные скамейки. До отхода поезда было полтора часа; вполне достаточно времени, чтобы отделаться от любого «хвоста». Тем более, похоже, что и «хвоста»-то нынче нет, так, померещилось.

Осип остановился — будто бы завязать шнурок на ботинке. Незаметно глянул назад. Две почтенные дамы судачат у соседней подворотни; эти не в счет. Ребятишки носятся как угорелые: в пятнашки играют. Стоп: а что это за парень появился на другой стороне улицы? Широкое лицо, мещанский картуз, у горла синяя косоворотка выглядывает из-под грубошерстного зипуна, высокие смазные сапоги. Ведь где-то уже видел его! На Босаках, точно. В тот момент, когда покупал тыквенные семечки. Уж не по мою ль душу идет следом? Ладно, посмотрим, что дальше будет. Пока же есть смысл перейти на его сторону: если шпик — вернее всего, что он тоже перейдет улицу, с противоположной стороны куда проще вести скрытое наблюдение.

Ох уж эта слежка! С каждым днем она делается все неотступнее, все назойливей. Как хорошо, что «Маркс» уже в Вильне. Осип и не чаял дождаться его: главный

страх был — поставить под удар организацию. Так получилось, что после арестов в декабре дело пришлось возглавить Осипу. Он держал связь с границей, он устраивал маршруты и перевалочные пункты, он определял способы доставки литературы, во многих случаях сам и перевозил очередной транспорт. Удалось добиться того, что литовско-прусский путь уже включал в себя четыре надежных маршрута: через Тильзит, через Шталлупенен и Эйдкунай, через Юрбург и Мемель, через Мариамполь. На каждом из этих маршрутов свои перевалочные пункты. Уже не два-три контрабандиста, как было вначале,— десятки, даже многие десятки людей принимают теперь участие в доставке «Искры»; и, что особенно дорого, в большинстве своем они вполне бескорыстны, действуют исключительно по убеждению: литовские крестьяне, германские социал-демократы, рядовые члены партии. Нити же всех связей сходились к Осипу.

В этом были свои несомненные плюсы (когда одним делом занимается несколько человек, тут, можно быть уверенным, непременно что-нибудь да сорвется), но и минус был ощутимый: попадись Осип в расставленные силки — разом порвутся многие связи. А что силков понаставлено вокруг него бессчетное множество, сомневаться, увы, не приходилось. При этом Осип замечал, что масштабы слежки находятся в непосредственной зависимости от объема выполняемой им работы; этим жандармским ищейкам нельзя отказать в отменном нюхе. Прежде, когда он был на вторых, третьих, а то и на десятых ролях, едва ли специально к нему был хоть раз приставлен филер. Риск быть задержанным существовал, конечно, и тогда: могли схватить «с поличным», могла оказаться проваленной явка... да мало ли случайностей подстерегает на каждом шагу подпольщика! Но с некоторых пор все вдруг переменилось — следить стали уже явно за ним, персонально, так сказать.

При желании можно даже вычислить, когда это началось. Пожалуй, с середины января, когда юрбургская пограничная стража напала на след крупного транспорта в Дойнаве и Смыкуцах. Ту партию «Искры», как ни трудно было, удалось спасти, жандармы захватили лишь незначительную часть груза. Буквально за час до обыска, с которым нагрянули к Тамошайтису, Осип и Миша Запольский, ковенский помощник его, сумели забрать хранившиеся в сарае пачки с газетой. Одна беда — Анна не успела уничтожить несколько оказавшихся у нее номеров, в результате попала в тюрьму и она сама, и Тамошайтис. В голове не укладывается: зачем ей понадобились эти номера, почему она взяла их себе? Обидная оплошность, нелепый промах, и как же дорого приходится расплачиваться за него! Лишний урок: в нелегальной работе нет мелочей, как раз какие-нибудь мелочи больше всего и подводят...

Так вышло, что именно после успешного вызволения искровского транспорта в Смыкуцах и ощутил Осип особо пристальное внимание жандармов к своей персоне. Просто чудо, да, чудо из чудес, что вот уже два месяца удается водить своих преследователей за нос.

...Осип решил устроить еще одну проверку парню в синей косоворотке. Нырнул под арку трехэтажного дома, здесь, как помнилось, был проходной двор, выводивший прямиком на Госпитальную улицу. Буде парень окажется шпиком — обязательно последует за ним и сразу устремится, конечно, на Госпитальную. Ну и пусть себе бежит туда — Осип же, миновав арку, затаился за одной из бесчисленных дверей черного хода, прильнул к щелке меж двумя рассохшимися досками.

Да, сомнений уже не оставалось: «синяя косоворотка» был приставленным к нему филером. Вбежав во двор, он быстро осмотрелся и, ничего подозрительного, должно быть, не обнаружив, сломя голову помчался к Госпиталь-

ной. Осип знал: через минуту-другую шпик, поняв, что его провели, опять вернется сюда. Значит, нельзя мешкать. Едва шпик скрылся из виду, Осип оставил свое укрытие, вновь вышел в Дворянский переулок, затем, перейдя дорогу, тотчас свернул в первый же двор, через который был выход к Полицейскому переулку. Ну-с, ищи-свищи меня теперь!..

Но нет, не было (уже в который раз замечал в себе это Осип) обычного в таких случаях торжества: вон, мол, какой я ловкий! Просто наступило облегчение, словно освободился вдруг от тяжкой, непосильной ноши. Перемена, происшедшая в нем за последнее время, была столь разительна — даже сам отчетливо ощущал ее. Раньше к своей подпольной работе он нередко относился как к увлекательной, захватывающей игре — пусть трудной, пусть опасной; с почти ребяческим азартом отдавался хитроумным затеям конспирации: паролям, кличкам, явкам, условным сигналам, и не было для него большей радости, чем натянуть нос незадачливому какому-нибудь филеру. Привораживало еще и это вот чувство опасности, заставлявшее постоянно быть начеку. (При всем том здесь не было легкомыслия, легковесности, нет, в этом даже и сейчас Осип не мог упрекнуть себя; тут другое, определенно другое, может быть, стремление проверить себя — на смелость, на прочность, на взрослость.) Ныне же многое переменилось. Осип как бы взошел на иную ступень, и с этой высоты по-новому виделись ему и жизнь его и работа. Спал романтический флер, обнажив главное — суть его существования. Этой сутью, самой сердцевиной ее была перевозка искровской литературы. Все остальное отступило, отошло. Уже не до «игры» стало. И Осип многое дал бы теперь, чтобы не было в его жизни ни филеров, ни слежки, ни необходимости поминутно испытывать свою *ловкость*...

Билет был куплен вчера; нет ничего хуже — толкать-

ся в кассе перед отходом поезда: железнодорожных жандармов, да и шпиков, в такой час преизбыток. Изрядно покружив по узким привокзальным улочкам, на перроне Осип появился минут за сорок до отправления. Как раз вовремя. Пассажиры густо обступили вагонные ступеньки, но Осип сумел всунуться в середку, и его тотчас внесли в тамбур.

Место на скамье занял крайнее, у прохода: отсюда хорошо просматривается входная дверь, так что, стоит явиться «Марксу», Осип сразу увидит его. Хоть бы уж с ним ничего не стряслось! Нет, не должно бы: человек он в Вильно новый, неизвестный, едва ли успел попасть на крючок. И все-таки Осип был как на иголках.

«Маркс» пришел примерно за четверть часа до отправления. Осипу понравилось, как он держит себя: без суетливости, степенно; встретившись глазами с Осипом, даже и на дольку секунды не задержал взгляда... «Маркс», разумеется, партийная кличка. Но не слишком ли прозрачная? Ведь и в самом деле очень похож на Карла Маркса — не только этой своей особой бородой, но и всем обликом. Осип предпочитал клички нейтральные, так безопасней. Впрочем, многие ль видели фотографический портрет Карла Маркса?..

Тем временем раздался первый удар станционного колокола. Отлично, теперь недолго ждать! И только подумал так — нехорошо, болезненно ворохнулось сердце... В вагон вбежал, нараспах оставив за собою дверь, тот самый филер в синей косоворотке. За ним, за этим шпиком, показался жандарм. Надеяться на то, что их появление здесь случайно, увы, не приходилось.

«Синяя косоворотка» дышал тяжело, загнанно, по многим, видно, вагонам успел сделать пробежку. Судя по тому, как последовательно, от самой двери, не пропуская ни одного лица, оглядывал всех пассажиров, он не знал, в каком вагоне находится Осип. От этого, положим, не

легче, все равно некуда деваться. Не встанешь ведь, черт побери, не побежишь: скорее только обратишь на себя внимание! И как раз в эту минуту, бросив беглый взгляд вдоль прохода, филер и наткнулся взглядом на Осипа. И тотчас, как хорошо натасканная гончая, *скакнул* к Осипу... и жандарм следом...

Жандарм тяжело положил Осипу руку на плечо, как бы притиснул его к скамье, сказал:

— Дозвольте билет ваш! И паспорт!

Осип достал портмоне, извлек из него билет, паспорт, протянул жандарму с улыбкой:

— Пожалуйста.

Жандарм, однако, не стал рассматривать ни билет, ни паспорт; все не снимая пудовой своей ручищи с плеча, спросил у Осипа, сурово сдвинув брови:

— Которые тут ваши вещи?

— Я без вещей.

— Совсем без вещей?

— Совсем.

— Извольте в таком случае следовать за мной! — приказал жандарм.

Главное сейчас — поскорей выбраться из вагона, в котором находится «Маркс», да, как можно скорей. Осип поднялся не прекословя и пошел за жандармом к выходу; сзади, даже на шаг не отступив, следовал филер, жарко дыша Осипу в затылок. На перроне, едва Осип спрыгнул с последней ступеньки вагона, жандарм крепко стиснул ему руку чуть повыше локтя, так и повел на вокзал, в левое крыло, где помещалась железнодорожная жандармерия. «Синяя косоворотка» тоже шел рядом, вывернув в сторону Осипа свою предовольную, прямо-таки сиявшую от счастья поганую рожу.

Все они подходили уже к высоким дверям вокзала, когда кляцнули железом буфера вагонов, и Осип, оглянувшись, увидел, как сдвинулся с места и медленно по-

плыл вдоль платформы поезд, увозивший «Маркса» в Ковну. Жаль, подумал Осип, очень, очень жаль, что мне не удалось передать ему, с рук на руки, все связи; но это не так страшно: у «Маркса» на руках все явки и все пароли, так что, как ни трудно будет ему на первых порах, но он сможет продолжить начатое; и ниточка не порвется, и дело наше не остановится...

Осип полагал, что его сразу же за решетку посадят, поэтому слегка удивился, когда жандарм привел его в какой-то огромный кабинет, где — словно б специально поджидали Осипа! — уже находились два жандармских чина — полковник и ротмистр (филер же в приемной остался).

Забрав у жандарма паспорт, полковник велел Осипу сесть на стоявший подле двери стул. Изучив паспорт, спросил:

— Ваша фамилия?

— Хигрин,— ответил Осип в соответствии со своим подложным паспортом.

Полковник хитренько сощурил глаза:

— Вы в этом уверены?

— Да, конечно.

— Простите, Вильгельм Вильгельмович,— вмешался ротмистр,— но с этим господином не такой разговор надобен.

Вильгельмов Вильгельмовичей среди начальства в Вильне, так уж ей повезло, было два — фон Валь, виленский губернатор, генерал-лейтенант, и полковник Вильдеман-Клопман, начальник жандармского управления при железной дороге. Осип, таким образом, удостоился чести быть допрашиваемым Вильдеманом-Клопманом...

Полковнику возмутиться бы бесцеремонностью своего подчиненного, но нет, напротив, с интересом даже спросил:

— Какой же, Николай Александрович, разговор с ним, вы полагаете, нужен?

О Николае Александровиче из вокзальной жандармерии Осип тоже наслышан был: Афонасов фамилия этого ротмистра (не от Афанасия, а от Афони, что ли?).

— К участковому приставу — вот куда отправить его! У околоточных крепкие кулаки, вмиг его образумят...

— Ошибаетесь, Николай Александрович, из таких, как он, побоями ничего не выжмешь. Он ведь, как вы знаете, принадлежит к искровской организации...

Это-то зачем? — недоумевал Осип. Зачем это — при мне обсуждать, что со мною делать: околоточным отдать на расправу или еще чего? Запугать хотят? Но тотчас сообразил: все же главное тут — не страху на него нагнать (хотя и не без того, вероятно); главное, пожалуй,— довести до его сведения, что им известно о его причастности к делам «Искры», и тем склонить его к признанию.

— Итак, любезнейший,— теперь уже к Осипу обратился полковник,— каково ваше подлинное имя? Оно нам, разумеется, известно, но хотелось бы услышать из ваших уст. Поверьте, так будет лучше...

Ну уж нет. Осип не из тех простаков, которые в надежде на снисхождение спешат открыться. Не зря он в свое время штудировал изданную за границей брошюрку «Как держать себя на допросах»: отрицать, по возможности все и вся отрицать!

— Вы меня путаете с кем-то,— сказал Осип.

Полковник собирался что-то возразить, но не успел: раздался резкий телефонный звонок. Полковник снял трубку с аппарата.

— Да, Владимир Францевич,— заворковал он бархатно.— Вы, как всегда, отменно осведомлены...

Владимир Францевич — это, вне всякого сомнения, ротмистр Модль из губернского жандармского управления, еще один *заглазный* знакомец Осипа.

— Помилуйте,— продолжал меж тем говорить в трубку полковник,— какие могут быть счеты, на одном суку сидим... Вот именно — вам и карты в руки... Напрасно обеспокоились: я уже распорядился отправить к вам...

Положил трубку и, многозначительно посмотрев на ротмистра, вызвал стоявшего за дверью жандарма:

— Федотов, доставь-ка сего господина в губернское управление, к ротмистру Модлю.— Пошутил: — Смотри не упусти!

В ответ на это и жандарм позволил себе осклабиться:

— Никак нет, ваше превосходительство! Все в акурате будет!

5

Ротмистр Модль подошел к окну, принялся, сам того не замечая, барабанить пальцами по стеклу. Внизу, под окнами, бурлила Большая Погулянка, улица праздная, с ювелирными и иными дорогими магазинами; но и разглядыванье этого неубывающего людского муравейника, обыкновенно рассеивавшее Модля в дурную минуту, не унимало сегодняшней его досады. Положительно, все вокруг точно сговорились действовать наперекор ему! И не в том беда, что *ему* наперекор, во вред делу — вот что худо!

Этот скоропалительный арест Щуплого — что проку в нем? Пустое дело, совсем пустое... Как и прежде, Модль держался той точки зрения, что «изъятие» Щуплого не принесет пользы, пока не выявлены хоть некоторые из его подпольных связей. И что обиднее всего: еще вчера, да, не далее как вчера утром, он, Модль,— в который уж раз! — сумел убедить генерала Черкасова в правильности своей линии в этом деле (как на грех, старый ворчун, будто других забот у него нет, что ни день, все настойчи-

вее напоминал о затянувшейся, по его мнению, «ликвидации» Щуплого). Это было утром, а после обеда пришла шифровка из департамента полиции, за подписью начальника особого отдела Ратаева, шифровка, предписывающая незамедлительно арестовать Осипа Таршиса (тождество этого субъекта со Щуплым, как нарекли его виленские филеры, не вызывало сомнений), и вот получалось, что прав Черкасов, а не он, Модль. Видит бог, такой затрещины Модль не заслужил, никак не заслужил.

С департаментом полиции, однако ж, не поспоришь; приказ есть приказ: надо исполнять... Следует, правда, отдать должное Черкасову — мог попенять ротмистру, позлорадствовать, но нет, повел себя по-мужски, без мелочных попреков; напротив того, даже и великодушие выказал: «А и хорошо, Владимир Францевич, право слово, хорошо. Какой-никакой, а все ж конец. Малость и жаль, конечно: помешал, крепко помешал нам Ратаев развязать этот узелок...»

А Модля, помимо интересов дела, которое Ратаев и впрямь губил своим вмешательством, другое еще точило: опереди он хоть на денек Ратаева, арестуй Щуплого раньше злополучной департаментской шифровки — глядишь, без промедления в фавор попал бы. Ну да ладно, утешал он себя, риск оттого и риск, что втемную игра идет.

О, дорого дал бы Модль, чтоб узнать, из какого источника черпают в департаменте полиции все эти сведения: прямо-таки поразительная осведомленность! Не зря свой хлеб едят, право, не зря. Знают то даже, чего он, Модль, сидючи здесь, в Вильне, не знает. То, к примеру, что Осип Таршис известен в заграничных партийных кругах под кличкой «Виленец». Или то, что на руках у него, скорей всего, паспорт на имя Моисея Хигрина. Даже и адресок, по коему проживает Виленец, известен им... Адрес, положим, старый (Сиротская, дом Бобровича),

Виленец ваш давно уже не показывается там, но ошибку эту легко можно простить: ведь и Модль по сей день не знает, где обретается этот чрезмерно шустрый господин.

Ратаеву, с высоты его положения, разумеется, все кажется простым и легким: вот вам адрес, вот паспорт на такое-то имя — берите Виленца тепленьким, прямо из постельки! И неведомо досточтимому Леониду Александровичу, что вполне мог и конфуз выйти, только счастливый случай выручил, а то отбыл бы Виленец в Ковну — ищи потом ветра в поле. Так что бог еще милостив, теперь можно хоть исполнительностью щегольнуть перед Питером...

Была в полученной вчера шифровке одна странность: ничего не говорилось о том, как дальше поступить с арестованным. Посадить в каталажку — и все? Нет, на такое Модль не согласен. Коли уж попалась птичка в его клетку, он все сделает, чтоб выпотрошить ее. Это, если угодно, вопрос самолюбия. Только б не напортили болваны из железнодорожной жандармерии, Клопман и вся его компания; их топорными методами не то что политического — не всякого карманника или поездного шулера выведешь на чистую воду. Тем не менее можно пари держать: не позвони вовремя Модль — пожалуй, сами б попытались сорвать чужой банк, с них станется. И уж точно — все угробили бы. Но нет, Модль, кажется, упредил их...

Стук в дверь.

— Заходите!

Жандарм Федотов, а с ним — черненький мальчик с черной гривой волос, налезающих на светлые, не то серые, не то голубые, глаза.

Федотов журнальчик сует Модлю:

— Распишитесь в получении, ваше благородие!

Модль расписался.

— А это — паспорт,— еще сказал Федотов.— И билет. Я могу быть свободным, ваше благородие?

— Да, Федотов, ступай!

Модль сел в свое кресло, велел и Щуплому сесть на стул по другую сторону стола.

Некоторое время Модль листал паспортную книжку. Да, Ратаев прав: на имя Моисея Хигрина. Фальшивка, само собой, но исполнено недурно. Почти без боязни можно сдавать на прописку в полицейский участок, но отчего-то страничка, где должна быть отметка о прописке, чиста, девственно чиста... Ах, да не для того перелистывал сейчас Модль паспорт, что имел к нему какой-то интерес чрезвычайный,— время выгадывал! Все дело в том, что, едва бросив первый взгляд на появившегося в дверях вместе с жандармом Щуплого, испытал Модль чувство острого разочарования. Будто это и действительно могло иметь хоть какое-то значение, так выглядит новый его подопечный или эдак, но, похоже, ему было бы приятнее, если бы Щуплый был все-таки повзрослей, посолидней. А то ведь не просто щуплый — тощий; и росточком не вышел; и в свои двадцать с хвостиком мальчик и мальчик, неловко даже. И никак не укладывалось в голове, что этот *мальчик* столько времени мог водить за нос чуть не все сыскное воинство виленской жандармерии. Уж настолько одно не вязалось с другим, что невольно думалось — не подмена ль тут, не подвох? Противников Модль уважал серьезных; пусть с ними и возни побольше, но тем выше и тебе, жандармскому ротмистру, цена, когда удается одолеть их, сломить, наизнанку со всеми потрохами вывернуть.

Как бы ненароком Модль взглянул на Щуплого: тот застыл в позе терпеливого и почтительного ожидания, а глаза — тихие, кроткие, пожалуй, и скорбные; и беззащитные. Ну ничего, милый мой мальчик, тем лучше: я тебя живенько *обротаю*! Модль небрежным жестом

откинул паспортную книжку на зеленое сукно стола, улыбнулся одной из самых располагающих своих улыбок. Сказал:

— Меня зовут Владимир Францевич. Ротмистр Модль.

— Очень приятно, пан ротмистр, очень! — с бесподобной местечковой учтивостью отозвался Щуплый. И простодушно добавил: — Рад познакомиться.

— Приятно, нет ли,— все с той же улыбкой сказал Модль,— но раз уж судьба свела нас, должен сразу уведомить, что решительно все, касательное вас, мне известно.

— Очень приятно,— вновь сказал Щуплый.— Для меня, о, для меня такая честь, что пан ротмистр все знает обо мне...

Модль помолчал, примеривая — прикидывается дурачком или дурак и есть? Нет, решил, лучше все-таки предположить в нем человека умного, изворотливого...

— Прошу простить, я неловко выразился,— повинился, посерьезнев на минутку, Модль.— *Все* знать про вас я, конечно, не могу. Я и себя-то, если честно, не знаю до конца. Вернее будет сказать — я многое о вас знаю. Для начала, чтоб не томить вас излишне, сообщу, что имя, значащееся в этом паспорте, Моисей Хигрин,— это отнюдь не то имя, которое было дано вам при рождении.— Выждав паузу, продолжил: — Не стану неволить вас, сам назову ваше подлинное имя. Иосиф Таршис, двадцати лет от роду, уроженец Вилькомира Ковенской губернии. Состояли на службе в портновских мастерских в Поневеже, Ковне, Вильне. Где и когда служили и с какой поры нигде не служите — это тоже нам известно... как и то,— расчетливо ввинтил он,— как и то, что ваша подпольная кличка — *Виленец*... Разве не так? Впрочем, я не тороплю вас с ответом. Я пока займусь своими делами, а вы поду-

майте.— С этими словами он извлек из ящика стола папку, погрузился в чтение совершенно ненужных ему сейчас бумаг.

Осип охотно воспользовался столь милостиво предоставленной ему паузой. И впрямь есть о чем подумать. Ну хоть об этом — откуда у ротмистра такие обширные сведения о нем? Не так заботило даже, что, судя по всему, досконально прослежен и выяснен Осип Таршис, как то, что жандармам известен также и Виленец. Имя это фигурировало только в переписке с редакцией «Искры», здесь же, в России, в ходу было другое имя — *Цыган.* Но вот загадка — про Цыгана ротмистр не упомянул, хотя, столько-то зная о Таршисе, напасть на след Цыгана не так сложно было... зато до Виленца докопался... Непонятно!

В социал-демократической брошюре «Как держать себя на допросах» рекомендуется все отрицать, даже очевидное. Так вначале Осип и собирался поступить: не Таршис я, не Таршис, хоть на плаху ведите! Но сейчас он все больше склонялся к тому, чтобы признать свое подлинное имя; одно только это, ничего больше. Тут вот в чем возможен выигрыш. Стремясь продвинуться в своем расследовании дальше, ротмистр поневоле вынужден будет тогда открыть, что еще ему известно. Ведь не все же он знает! Знай он, к примеру, о существовании «Маркса» — да разве ехал бы тот спокойно сейчас в Ковну? В этом Осипу было важнее всего удостовериться: что никакими сведениями о «Марксе» ротмистр не располагает. Собственная участь мало занимала Осипа: и к отсидке в тюрьме, и к возможной ссылке он давно приготовил себя...

— Я хочу посильным советом помочь вам в ваших размышлениях,— подал в эту минуту свой голос ротмистр.— Если вы будете настаивать, что ваша фамилия Хигрин, мы отвезем вас в Вилькомир, где живут ваши

родители и прочая многочисленная ваша родня. Очная ставка, смею заверить, мигом раскроет вас...

Едва ли ротмистр догадывался, какую услугу оказал сейчас Осипу. Как раз этого дополнительного нажима и не хватало ему, чтобы признание не слишком походило на игру в поддавки...

— Да, да, пан ротмистр, все это так ужасно! — горестно воскликнул Осип.

— Что именно?

— Я действительно Таршис. Иоселе Таршис...

— А как же паспорт?

— Какой паспорт?

— Ну вот этот — на имя Хигрина!

— Это ужасно, пан ротмистр, это так ужасно! Свой я потерял...

— Когда?

— Я знаю?! Прошлым летом...

— Ну? — торопил Модль.

— Так скажите мне, пан ротмистр: может ли человек жить без паспорта? Я знаю, вы скажете — нет, не может. И я тоже так считаю. Словом, что долго рассказывать! Я таки купил себе новый...

— Где?

— А что, вы тоже хотите купить? Хорошо, я скажу вам где. В Ковне, на Алексотском мосту,— вот где! О, пан ротмистр не поверит: на том мосту не только паспорт — родную маму купить можно...

Модлю было нелегко сдерживать себя.

— Много отдали? — спокойно спросил он.

— Зелененькую.

— Трешка, стало быть? Дешево...

— Нет, это большие деньги, пан ротмистр. Очень большие. Что я вам скажу, пан ротмистр? Когда я служил у пана Штильмана в Поневеже — вы его должны знать, кто не знает пана Штильмана! — так он платил

мне три рубля в неделю. Вот какие это деньги — три рубля! Я торговался, как сумасшедший. Как трое сумасшедших!

Модль все же не совладал с собой, прервал Осипа:

— Отчего же тогда паспорт не был предъявлен в полицию для прописки?

— Как можно, пан ротмистр! — уже откровенно разыгрывал простодушие Осип.— Ведь не мой же паспорт, разве я не понимаю?

— Господин Таршис,— сурово произнес ротмистр,— вы отлично знаете, что паспорт фальшивый, оттого и остерегались предъявлять его в участок!

— О, горе на мою голову! — запричитал Осип.— Что за люди, нет, вы скажите мне, пан ротмистр, что за люди! Взять такие деньги, целых три рубля, и подсунуть бедному человеку гнилой товар!

Модль помолчал несколько. Как ни удивительно, теперь он даже и доволен был, что в действительности Щуплый совсем не тот, каким показался в первую минуту. «Мальчик»-то отнюдь, выходит, не прост; и неглуп, пожалуй... Нет, поразмыслив, заключил он, скорее всетаки хитер, увертлив...

— Таршис,— насмешливо проговорил Модль,— да по́лно вам ягненка-то из себя строить! Давайте рассуждать здраво. Признав, что вы Осип Таршис, тем самым вы очень многое признали. Вполне достаточно, чтобы упечь вас в крепость.

— Пан ротмистр, я, конечно, очень перед вами извиняюсь, но я скажу вам честно, как отцу родному: мне почему-то не хочется попасть в «нумер четырпадцатый»...

Модль невольно рассмеялся — с такой искренностью в голосе произнес это Щуплый.

— Вот уж чего никак не могу вам обещать, так это того, что вы туда не попадете!

— Но за что, за что, пан ротмистр? Моя бедная мама не переживет этого!

— Раньше надо было думать о маме,— веско заметил Модль.— Раньше!

— А что раньше? Разве ж я виноват, что потерял паспорт?

— Если б только паспорт! А забастовки, в которых так активно участвовал некий Осип Таршис, секретарь профсоюза дамских портных?

— Прошу прощения, пан ротмистр, я вижу, у вас есть время для приятной беседы. Ну что же. Болтать — не работать, как говорил мой хозяин в Ковне Юстас Алдонис. Вы должны знать его, пан ротмистр. Юстас Алдонис — владелец самого лучшего в Ковне дамского салона. Что зря наговаривать, салон хорош, но сам Алдонис... о, это такой — я только вам скажу, пан ротмистр! — такой скупердяй, второго такого свет еще не видел...

— К черту вашего Алдониса! Я задал вопрос о вашем участии в забастовках.

— Вот и я говорю, пан ротмистр, к черту этого пройдоху! Но не подумайте, пан ротмистр, что это только мы с вами сказали так. Все портные так сказали. А что оставалось делать, по-вашему? Вот вы умный человек, пан ротмистр, я думаю, что даже очень умный... так скажите мне: сколько можно было терпеть этого жима? И в один прекрасный день мы бросили работу. Если у вас это называется забастовка, пан ротмистр, хорошо, пусть будет забастовка, я не против. Но мы таки добились прибавки к жалованью! А-а, вы меня разыгрываете, пан ротмистр! Когда это было? — два года назад, три года! Кому нужно это помнить!

— Да, вы правы, это пустяки. По сравнению с тем, что вы делали позже. Я имею в виду последние полгода.

— А что я делал? Ничего я не делал. Даже не работал! Горе хлебал, не про вас будь сказано.

— А Виленец?

— Почему виленец? Тут ошибка, пан ротмистр. Вы же хорошо знаете — я из Вилькомира... Значит, кто я? Вилькомирец, вот кто я!

Модль зубами готов был скрежетать от досады. Нет, здесь не просто хитрость — тут и ум: явно *выманивает*, фактов уличающих ждет. А что делать, если с фактами как раз не очень-то густо? Ведь ничего прямого, ровно ничего — лишь *косвенность* одна! Скорее подозрения, нежели факты. Положим, как Модлю кажется, основательные подозрения, но где доказательства — неоспоримые, припирающие к стенке? Можно, разумеется, блефануть, назвать и Рогута, и Тамошайтиса из Смыкуц — в надежде, что Щуплый дрогнет под грузом такого всеведения о его потаенной жизни. А ну как не дрогнет? Или, того не лучше, факты эти, пусть один из них, окажутся натянутыми, не соответствующими истине? Тут ведь не просто опасение, в случае неудачи, впросак попасть — это бы еще ладно, это как-нибудь можно перенести; много хуже другое — все следствие под откос пойдет. Подловив тебя на вранье, хотя бы разок, клиент твой (если не совсем болван) уже и все остальное с легкостью отринет... Нет, он, Модль, решительно против покерных методов расследования: дороговато это может обойтись. Ах, Ратаев, ах, негодник: к чему было так торопиться с арестом? Ну побегал бы еще этот Щуплый недельку-другую на свободе, взяли б его с поличным — другой, вовсе другой разговор был бы у нас теперь!

Модль решил не рисковать. Дудки. Он измором возьмет Щуплого. Под дурачка работает? Ну да ничего, быстро дурь с тебя собьем. В одиночку; пострадать малость — и в одиночку, пусть-ка там подумает хорошенько! У матерых революционистов и то от ожидания и неизвестности — нетерпение да страх, тянет исповедо-

ваться, чтоб хоть какая-никакая, но определенность настала. Метода испытанная, редко осечки случаются...

— Мне жаль вас, господин Таршис,— сказал Модль.— Вы молоды, вся жизнь у вас впереди. Сейчас мы расстанемся... на какое-то время. Один лишь совет могу вам дать: подумайте. Но не скрою — чистосердечное признание существенно облегчит ваше положение. Итак, до встречи, господин Таршис!

Глава вторая

1

О, каким ррреволюционером чувствовал он себя в свои пятнадцать лет! Именно так — через три «р», не меньше...

Он сидит, затаившись в уголке, и молча слушает, о чем говорят и спорят собравшиеся на квартире у старшего брата рабочие, народ всё взрослый, степенный, многие — отцы семейств. Прежде его прогоняли: нечего, дескать, тут молокососу делать; а теперь ничего, попривыкли, видно, не гонят, сиди себе и помалкивай только, слушай, о чем почтенные люди говорят.

А говорили они о вещах таких близких и понятных! О том, что хозяева норовят три шкуры с рабочего человека содрать, и о том, что за каторжный этот труд платят ничтожные гроши, даже на еду не всегда хватает, а надо ведь еще одеться-обуться и за жилье плату в срок внести, а не то в два счета на улице вместе с детишками окажешься.

И его, Осипа, тоже подмывает рассказать про своего первого хозяина — владельца портновской мастерской в Поневеже: платил Осипу два рубля в неделю, а работать заставлял по пятнадцать — восемнадцать часов в сутки; про то, что спать приходилось прямо в мастерской, на

раскройном столе, да и то частенько стол этот оказывался занят: хозяин, случалось, лишь после полуночи начинал кроить. Многое мог порассказать Осип о своем житье-бытье и здесь, в Ковне; хотя тут чуточку и полегче было: как-никак у брата в семье жил и три рубля в неделю уже получал, но за эти свои три рубля пан Алдонис, владелец дамского салона, все жилы вытягивал, и кто бы знал, какая у него, пана Алдониса, тяжелая рука!.. Но Осип молчит, только слушает. И правда, негоже сопливому мальчишке в разговоры взрослых соваться.

Рабочие, те, что собирались у брата, не просто жаловались на свою судьбу — они говорили еще о борьбе за свои права, о том, что нужно объединяться в профсоюзы, о забастовках и стачках, которые вынудят хозяев пойти на уступки... От таких разговоров пьяняще кружилась голова, волна восторга захватывала дух, хотелось тут же вскочить с места и с красным знаменем в руках выбежать на улицу и повести за собою страждущий народ на битву за лучшую жизнь! Но, боясь, что его прогонят, Осип сидит смирно в уголке и слушает, слушает, невероятно гордый своей причастностью к великому революционному таинству. Опасность, которой подвергали себя участники ночных собраний у брата, стало быть, и он, Осип, тоже,— а к тому времени аресты наиболее активных рабочих уже не были в диковину,— это ощущение реальной опасности, без сомнения, таило в себе добавочную притягательность...

Вскоре Осип уже настолько сделался *своим*, что его стали допускать даже на маевки, которые проводились в окружающих Ковну лесах. Приходили туда поодиночке, каждый своей тропкой. По пути часто попадались сигнальщики, обычно они выныривали из-за кустов, и при встрече с ними следовало сказать пароль, что-нибудь непременно замысловатое, чего просто так, случайно, не придумаешь — вроде: «Запорожская сеча»; если это дей-

ствительно сигнальщик, то в ответ он произнесет: «Письмо казаков турецкому султану» — и укажет, куда идти дальше. На таких маевках собиралось порядочно народу, человек по двести. Умные люди, взобравшись на пень, произносили умные речи; иногда читались вслух листовки и прокламации. Осип мало что понимал в этих речах, звучали новые для уха слова: «узурпаторы», «эксплуатация», «пролетариат», «экспроприация», «социал-демократия», «резолюция», но главный смысл того, о чем говорили, он все-таки улавливал: больше нельзя терпеть притеснение хозяев, надо объединяться для борьбы! Особенно запало в душу, торжественно, как клятва, произнесенное однажды кем-то: *пролетариям* нечего терять, кроме своих цепей, приобретут же они весь мир (лишь много позже Осип узнал, что это слова из «Коммунистического манифеста» вождей рабочих Маркса и Энгельса)... Обратно из лесу выходили уже все вместе и так до самого города шли, распевая революционные песни и, лишь достигнув городской окраины, опять расходились поодиночке.

А Осипа тянуло уже к чему-то большему. Маевки маевками, хорошее, конечно, дело, опасное, но это ведь еще не борьба, только разговоры о борьбе! Брат, вот у него, догадывался Осип, есть еще какие-то тайные дела, не только собрания да маевки; недаром же Голда, жена брата, так часто выходила из себя, кричала брату, что «все это» к добру не приведет — и сам в тюрьме подохнет, и всю семью свою по миру пустит... о, язык у Голды, как бритва, не дай бог под горячую ей руку попасть! Голду Осип не одобрял, нет. Но и брата, хотя и был всецело на его стороне, ему трудно было понять: почему сам рискует, а его, Осипа, даже близко ни к чему серьезному не подпускает? Брат не поддерживал таких разговоров, все больше отмалчивался.

Но вот однажды — о, этот день Осип навсегда



запомнит! — Сема, брат, сказал Осипу, как-то по-особенному сказал:

— Тебя, Иоселе, хочет видеть Зундель. Ты его найдешь на Алексотском мосту, на бирже.

Зундель всего лет на пять был старше Осипа, но к его голосу прислушивались и седобородые старики. Он умел хорошо и красиво говорить. И не только это: Осип знал, что Зундель — главный человек в нелегальном профсоюзе. И вот Зундель, *сам* Зундель хочет видеть Осипа. Это неспроста, нет! Мчался к Алексотскому мосту как на крыльях...

Зундель отвел его в сторонку — подальше, понял Осип, от чужих ушей.

— Слушай, Осип,— сказал он негромко,— мы давно приглядываемся к тебе. Мне кажется, ты стоящий парень!

«Стоящий парень» не стал возражать против такой оценки...

Потом, совсем уже шепотом, Зундель сказал, что решено испытать Осипа в настоящем деле; ему будет дано очень важное поручение — кон-спи-ра-тив-ное и потому вдвойне опасное: он разнесет по нескольким адресам пакеты с листовками. Дело это очень опасное, повторил Зундель, глядя Осипу прямо в глаза, поэтому ты можешь отказаться, еще не поздно. Имей в виду, что тебя могут задержать, даже арестовать — знаешь ли ты, как надо вести себя в участке? Тут все очень просто, сразу же объяснил он, главное — держать язык за зубами; будут пугать, будут бить — все равно надо молчать. Подумай, Осип, вечером дашь ответ... Зачем же тянуть до вечера? Я согласен; конечно, я согласен! Нет, сказал Зундель, ответ дашь вечером...

Как же долго не наступал этот вечер! В голове будто тысяча иголок, и каждая жалит, колется: а ну как Зундель передумает? Вдруг скажет: нет, что ты, я пошутил,

как можно такому шалопаю доверять такие важные дела? Или: ты, конечно, стоящий парень, не спорю, но я тебя пожалел, раздумал, уж больно ты молод, пусть-ка лучше займутся этим старики! И если так случится, если вечером Зундель и правда даст ему от ворот поворот — что тогда? Как после этого жить? Осип сам не знает, что тогда сделает!.. Нет, знает; он тогда раздобудет красный флаг, пойдет с ним к дому губернатора Роговича, один пойдет, и начнет кричать так, чтобы все слышали его, в том числе и сам господин губернатор. «Да здравствует социализм!» — вот что он будет кричать! И все тогда узнают, и Зундель узнает, что он не просто Осип Таршис, портняжка из мастерской Алдониса, а борец за свободу, социалист, самый что ни есть настоящий революционер, который ничего и никого не боится — ни губернатора, ни полицию, ни самого хоть царя! И пусть его арестуют, пусть пытают — он крепко будет держать язык за зубами, ни одного имени не назовет, ни одной явки, будет нем как рыба! Вот когда Зундель пожалеет, что побоялся доверить ему пакеты с листовками... Правда, помнится, немного омрачало торжество то обстоятельство, что, собственно, ему и скрывать-то особо нечего; даже, предположим, и захоти он что-нибудь выдать — так ведь нечего, совсем нечего...

Но не понадобилось приводить в исполнение «страшную» месть. Зундель должен был прийти за ответом вечером к брату; так договорились. Но не было никакого терпения ждать, когда он надумает прийти — Осип сам отправился к нему. И первое, что сказал, переступив порог: я подумал, я согласен! Верно, чересчур громко сказал это, потому что Зундель, кивнув на дверь, приложил палец к губам. Дальше все было очень просто, даже слишком просто и буднично. Как если бы речь шла о чем-то обыденном, Зундель дал Осипу адрес явочной квартиры, где следовало взять пакеты, велел запомнить пароль; еще

сказал, что адреса, по которым нужно разнести пакеты, Осип получит на явке, где его ждут между девятью и десятью вечера... Осип был слегка разочарован даже (и до сих пор затаилась в памяти эта горчинка); так в ту минуту все звенело в нем, каждый нервик, казалось, ликовал — чем-нибудь да мог же Зундель отметить столь важное для юного его товарища событие! Не обязательно громкие речи произносить, достаточно было руку крепко пожать, улыбнуться напутственно — разве трудно?

...Ну да ладно. Так ли, иначе ли — началась у тебя в шестнадцать лет новая жизнь, сейчас это важно...

Новая жизнь, да. Осип уже не только разносил пакеты с брошюрами и листовками по городу, выпадали задания и посложнее. Нередко приходилось отвозить тюки с литературой и чемоданы с типографским шрифтом в Вильну. А однажды все тот же Зундель поручил ему перейти границу в Кибартах и в одном из приграничных селений — уже на территории Пруссии — забрать застрявший там транспорт с литературой и как можно скорее доставить его в Ковну.

«Транспорт» (оказавшийся попросту рогожным мешком с какими-то книгами) хранился на чердаке у Войцеха; этот контрабандист служил на железной дороге в Эйдкунае. Осип отдал ему деньги, пятнадцать рублей; тот взял их, не пересчитав даже. Наверное, он не чаял поскорее избавиться от опасного груза. Сразу же приволок мешок и, не дав промокшему насквозь Осипу (в тот день лил сумасшедший дождь) хоть немного передохнуть, сказал, мешая польские, немецкие, литовские и русские слова: пошли, парень, нужно торопиться! Осип, люто злясь на него, взялся было за мешок, но Войцех грубовато оттеснил его и, казалось, без малейшего усилия взвалил тяжеленный этот мешок себе на загривок. И, вывернув из-под мешка голову в сторону Осипа, ворчливо бросил: еще натаскаешься, парень! Так и пер мешок до

ближнего лесочка, версты две; приходилось чуть не бежать, чтобы поспеть за ним,— здоровенный мужик был, этот Войцех!

За лесочком, как понял Осип, начиналась граница. Скинув мешок на землю, Войцех достал из кармана веревку и, ловко управляясь, привязал ее к двум нижним углам и горловине мешка. Объяснил: так *способней* будет. И подержал мешок на весу, пока Осип просовывал руки в лямки.

Осип и сейчас мог поклясться, что ничем не обнаружил, сколь непомерна для него эта тяжесть, но Войцех, должно быть, что-то заметил все же или догадался, посочувствовал вполголоса: уж больно ты хилый! Осип отмахнулся: э, чепуха, жилистый зато... Войцех вывел его к лощине, а дальше велел уже ползти. Долго ль? Да нет, не очень, успокоил Войцех: как увидишь три дуба по правую руку — там уж Россия...

Возможно, те три дуба и правда не так уж далеко были, Осипу же эта лощинка (ползком ведь! и по раскисшей, цепкой глине, от которой не оторваться! да дождь садит непрестанно! да сердце вдобавок холодеет — как бы на стражу не наткнуться!) показалась бесконечной. Но ничего, дополз. И потом, когда в целости и сохранности доставил в Ковну этот первый свой транспорт, не было на свете человека счастливее, чем он...

Тем временем очередной его хозяин, на этот раз пан Микульский, отказал Осипу в месте. Заявил при расчете, что не намерен держать работника, который позволяет себе самовольные отлучки, когда ему вздумается. Но Осип понимал: это только повод, зацепка; портных нехватка, загуляй кто другой — нипочем не уволил бы его. Просто хозяину совсем ни к чему держать в работниках человека, пользующегося репутацией «смутьяна», это все равно как на пороховой бочке сидеть...

Сколь помнится, он, Осип, не очень-то переживал по

этому поводу. Не беда, решил он; была бы шея — хомут всегда найдется. Но, вопреки ожиданиям, «хомут» не находился. Куда ни обращался — отказ. Видно, не только у пролетариев — у хозяев тоже своя солидарность...

Сколько можно жить нахлебником у брата? И так он концы с концами едва сводит: трое детей, жена, теща-старуха. Решил попытать счастья в Вильне. Ковну покидать было боязно. Бессонными ночами бередил себя: кому я нужен там, в чужой Вильне? Кто мне доверит что-нибудь путное? И ведь что любопытно: не столько волновало его тогда, найдет ли в Вильне работу, сколько то, примут ли его в свои ряды тамошние социалисты; да, одно лишь это заботило.

Но страхи были напрасны. Все в Вильне сложилось как нельзя лучше. Работа сыскалась почти тотчас по приезде (особенно не выбирал, впрочем: в первой же мастерской, где предложили сносные условия, пять рублей в неделю, и остался). Но прежде установил связи с виленскими социалистами — спасибо Зунделю, снабдил нужными адресами. Жизнь вновь обретала смысл и весомость.

Вступил в нелегальный профсоюз дамских портных, неожиданно для себя вскоре оказался выбранным сразу на две должности — секретаря и кассира этого профсоюза. Не иначе, за прыть свою великую отмечен был. Это уж точно: невероятно деятелен был и активен, до чрезмерности даже! Сто дел — и все разом. День ли, ночь — готов бежать по первому зову. И нет дела, которое показалось бы непосильным, непомерным. Теперь-то ясно, что подчас суеты было больше, чем дела. Но все ж — если быть справедливым — и полезного сделано было немало.

Однажды — было это в апреле 1899 года — Осипу сказали, что его ждут на одной квартире, где-то на окраине города. Там было собрание представителей союзов, обсуждался вопрос о праздновании 1 Мая. Решали, где собраться в этот день — как всегда в лесу, скрытно от поли-

ции, или же на какой-нибудь улице города, на виду у властей? После долгих прений договорились провести демонстрацию в центре города. Предварительно каждый союз должен был собрать всех своих членов и убедить их в желательности такой вот — открытой — демонстрации.

В назначенный день и час Осип созвал собрание, ждали оратора-интеллигента, который сделает соответствующий доклад, а оратора этого, как на грех, все нет и нет. Пришлось самому выступить перед товарищами: не срывать же собрание! То была первая его речь, и как же он волновался!.. Не оттого даже, что в свои семнадцать был намного моложе всех остальных, и не оттого, что понятия не имел, как произносятся такие речи. Больше всего он боялся, что не сумеет толком объяснить, почему нынешнюю маевку решено провести по-новому, и убедить согласиться с этим решением. Сложность тут была немалая: до той поры рабочие знали лишь одно — экономическую борьбу с хозяевами; теперь же предстояло обосновать необходимость перехода к борьбе политической. Судя по результату, все же ему удалось растолковать главное. Подробности той речи, конечно, стерлись, только основная мотивировка запомнилась. Поскольку, говорил он, стачки, особенно за последнее время, фактически ничего нам, рабочим, не дали, ибо с таким трудом вырванные копеечные уступки, как правило, сменяются новыми притеснениями, нам остается последнее — показать, и не отдельному хозяину, а *властям*, в первую очередь высшему правительственному чину в городе, губернатору фон Валю, что рабочие недовольны своим положением и активно протестуют.

Осип ожидал возражений, споров, но все прошло на редкость гладко. Дамские портные были единодушны в своем мнении: что ж, другого выхода, как видно, нет — даешь демонстрацию! Осип ни на минуту не обольщался: отнюдь не «красноречие» его так подействовало на них,

просто — накипело, наболело, назрело... Тут же были назначены «десятники», каждый из них должен был 1 Мая явиться вечером, после работы, в Замковый переулок, примыкающий к Большой улице, вместе с девятью товарищами.

В назначенный срок Осип привел свою девятку, не подвели и остальные. Народу набилось в переулке — не протолкнуться; не только ведь портные пришли, а и представители всех остальных профсоюзов. Что особенно запомнилось — праздничный подъем, оживление, непринужденность. Незнакомые люди легко заговаривали друг с другом; улыбки, шутки, веселье. Все это было необычно, но воспринималось как нечто естественное, самоочевидное. Возможно, Осип уже тогда понимал (или хотя бы догадывался), что дело, ради которого люди со всех концов города собрались здесь, и роднит их всех, делает по-братски близкими друг другу...

Вечер был теплый, почти летний. По Большой, как обычно, фланировала богатая публика. Почтенные буржуа прохаживались парами, с нарочитой замедленностью шага; что-то ненатуральное, манекенное было в этих словно бы механических фигурках: Осип наблюдал за ними издали, из переулка.

Но вот раздалась команда, и колонна рабочих выплеснулась на Большую улицу; где-то впереди взметнулся красный флаг; и — тысячеустая «Варшавянка»!

Дальше все происходило так... Исчезли, прямо-таки улетучились, праздные гуляки; потом захлопали ставни и двери спешно закрывавшихся магазинов; и лишь потом возникли в конце улицы и двинулись навстречу демонстрации конные казаки и полиция... До сих пор загадка: как это полиции удалось так скоро прибыть к «месту происшествия»? Ведь и пяти минут не прошло. Неужели полиция кем-то заранее была оповещена о предстоящей демонстрации? Рабочие и казаки меж тем неотвратимо сбли-

жались. Сошлись. Засвистели нагайки, казаки хлестали ими направо и налево. Лошади теснили людей, сбивали с ног. Камни мостовой темнели пятнами крови.

Демонстрация рабочих, первая массовая демонстрация на улицах Вильны, была разогнана. Немало оказалось избитых, раненых. Некоторые попали за решетку, но ненадолго — на день, на два, самое большее, на неделю.

Отчего-то Осипу сейчас вспомнилось, как он ожидал, что кое-кто начнет роптать: дескать, зачем было и затевать демонстрацию, если нас все равно разогнали? Но нет, недовольных, к немалой его радости, ни единого не было, по крайней мере среди дамских портных. Это оттого, верно, что никто не питал чрезмерных иллюзий. Уже то одно, что они во всеуслышание заявили губернатору (свет клином почему-то сошелся тогда на губернаторе!) о своих насущных нуждах, значило очень много. Пусть сегодня не наша взяла, но мы и в другой раз выйдем все вместе на улицу; сегодня полиция нас одолела, может быть, еще не раз одолеет, но рано или поздно все равно наступит день, когда никаким казакам, пусть хоть целая армия, не справиться с нами... Да, несомненно: большинство именно так и думало. Чем иным в противном случае объяснить, что и на следующий год, и еще через год, и еще уже не было нужды как-то особо агитировать в пользу демонстрации и что раз от разу участников таких манифестаций становилось все больше?..

2

Лязгнуло чем-то железным, проскрежетал ключ в замке, и в дверях возник надзиратель. Осип посмотрел на него недобро: до чего некстати! Только-только разогнался о жизни своей подумать — нате вам, припожаловал, страж неусыпный!

— Чего надо? — не поднявшись с топчана, лишь голову в сторону двери повернув, рявкнул Осип.

Надзиратель, должно быть, опешил от такой беспримерной наглости. Поморгал в растерянности, потом засуетился, оправдываться начал:

— Так ведь я чего — ужин... Покушать, говорю, надо...

И тотчас, будто ждал этих его слов, нырнул в камеру находившийся дотоле в коридоре заключенный (по виду — уголовник), поставил на столик оловянную миску с каким-то варевом, кружку с чаем; рядом здоровенный кусок ситного положил. Сделав свое дело, уголовник сразу же и вымелся из камеры, а надзиратель — тот немного еще подзадержался на пороге.

— Кушайте на здоровье,— виновато, пожалуй даже и заискивающе, проговорил он.— Так что извиняйте...

Оставшись один, Осип усмехнулся: вот как обращаться, значит, с вами надо, вот как...

Не мешкая принялся за еду. С самого утра ведь ни крошки во рту не было! Баланда (чего-чего только в ней не намешано: и пшено, и горох, и сладковатая подмороженная картошка, но и кусок жилистого мяса попался), может, оттого, что очень уж голоден был, показалась необыкновенно вкусной. А впрочем, бывали в его жизни моменты, и нередко, когда и такая вот немудрящая еда не каждый день перепадала ему...

Камера, куда законопатил его ротмистр Модль, была одиночной. От товарищей, уже отведавших тюрьмы, Осип слышал — самое страшное, мол, это одиночка. Возможно, они и правы, кто их знает, но пока что Осип ничего худого в своем положении не видел; скорее даже доволен был, что оставили его наконец в покое и не нужно разговоры ни с кем разговаривать (в общей-то камере без этого как обойдешься?). Так что промахнулся ротмистр Модль, крепко промахнулся, отправив Осипа в одиночку — лишь на руку ему сыграл!

И правда, давно уже Осип не испытывал такого блаженного покоя. Последние недели, когда слежка стала особенно назойливой, совсем вымотали его. Кому сказать, за ненормального примут, но Осип мог поклясться, что теперь ему куда легче, чем было на свободе. Ни этого препаскудного ощущения, что кто-то следит за тобой, ходит по пятам, ни вечного осторожничанья, когда не можешь себе позволить хотя бы две ночи кряду поспать в одном месте, ни беспрерывной, по неотложным делам, беготни из конца в конец города. Сиди себе в тюрьме, ешь дармовую баланду да на цербера тюремного в свое удовольствие покрикивай. И делай что хочешь, а не хочешь — ничего не делай. И думай о том, что в голову придет; а нет охоты — так ни о чем и не думай. Спасибо, господин Модль, душевное вам спасибо!

Осип и сам не знал, отчего вдруг ударился в эти свои воспоминания. Когда везли его из жандармерии в «нумер четырнадцатый» и даже потом, когда привели в эту его камеру, он и в мыслях не имел копаться в своем прошлом. Первым делом обследовал свое тюремное пристанище. Решил, что жилье сносное, главное — тепло; в эту зиму он столько намерзся — на всю жизнь хватит. Хотел прикорнуть па часок-другой, уже и башмаки скинул, расположился по-королевски на топчане, но, к удивлению своему, обнаружил, что нет, пожалуй, не удастся ему сейчас заснуть. Всплыл перед глазами ротмистр Модль, сперва мертво, неподвижно, как портрет, с тоже неподвижной, будто приклеенной, улыбкой на губах, но тотчас и ожил, заговорил... А через минуту и весь допрос, от первой фразы до последней, как наяву, повторился сызнова.

Упрекнуть себя Осипу было, пожалуй, не в чем. Он держался на допросе соответственно обстоятельствам. Ротмистру угодно было видеть в нем недалекого, перепуганного насмерть малого — что ж, он охотно принял эту заранее определенную ему роль. Так и всегда ведь: мы раз-

ные с разными людьми; за кого нас принимают — такими мы и стараемся выглядеть, с поправкой на это и ведем себя и говорим... причем «игра» эта (впрочем, игра ли?) происходит, как правило, бессознательно, не требует особых усилий... Правда, под конец ротмистра заметно стала тяготить та личина, какую надел на себя Осип, разок он сорвался даже, прикрикнул на Осипа: «К черту Алдониса! Отвечайте на вопрос!», но Осип, само собой, и не подумал менять свою линию, она вполне его устраивала, так до конца уж и валял ваньку. И нисколько не раскаивался в этом.

Осип вспомнил, что перед отправкой в крепость ротмистр посоветовал ему *подумать*. Но постеснялся расшифровать даже, что подразумевает под этим не что иное, как сделать чистосердечное признание. Ну уж нет, не выйдет, господин ротмистр. Зря уповаете на это. Открыл свое настоящее имя (мог, конечно, и не открыть, но не было уже смысла дальше таиться) — будьте хоть этим довольны. Что же до остального, то ничего больше от меня вы не услышите! Не о чем мне думать, не о чем, все и так ясно...

И вот странность: твердо решив ни о чем не думать (в пику Модлю хотя бы!), тут же Осип и начал копаться в себе; нашло вдруг на него, накатило. С чего бы это, скажите на милость?

Но, пожалуй, еще больше другое удивляло его. Он так привык к тому, что вся жизнь его протекает в настоящем времени, только в настоящем,— и вот оказывается, у него тоже есть *прошлое*! Да, жил, как жилось; наставал новый день и приносил новые заботы, и эти вседневные заботы поглощали его целиком, без остатка; так — день за днем — проходили недели, месяцы, годы. Не было и минуты, свободной от дела. Теперь выходило так, что этот его арест как бы подводил черту в его жизни. Оно и правда так: черта, и, верно, это-то ощущение некоего *рубежа*

и вызывало в нем потребность не просто даже вспомнить, что и как было, а, скорее, уловить, осмыслить, постигнуть прожитое и сделанное. Как ни удивительно, но похоже на то, что с сегодняшней его точки многое становилось куда яснее и понятнее, нежели было прежде, в те давным-давно минувшие времена...

Устроившись поудобней на топчане, Осип вновь погрузился в воспоминания.

3

«Биржа» на Завальной улице. Ей принадлежала особая роль в жизни рабочих Вильны. Многие сотни людей ежевечерне устремлялись сюда, на Завальную; здесь решались не только общие дела, но и все личные — от перехода на службу к новому хозяину до найма более сносного жилья.

Можно даже сказать, подумал Осип, что если бы не «биржа», картина рабочего движения в Вильне была бы совсем иной. Вряд ли в каком российском городе было столько партий, именующих себя социалистическими: тут и Бунд, и русские социал-демократы, и Рабочий союз Литвы, и польские социалисты из ППС,— и каждая из партий тянула в свою сторону. Но это, как ни странно, не имело решающего значения. И только по одной причине: потому что в Вильне была эта «биржа» под открытым небом — единая для всего рабочего люда. «Биржа» была как бы над партиями: никого не интересовало, кто и к какому клану принадлежит. «Биржа» была и вне партийных распрей: стихийная сила рабочей солидарности ощутимо брала над ними верх. По-видимому, и власти догадывались об этом — полиция не раз пыталась разогнать «биржу», но успеха так и не добилась.

Осипу вспомнилось все это в связи с одним случаем, происшедшим почти два года назад, летом 1900 года.

Кто-то принес на «биржу» весть, что в Новом Городе (это неподалеку от Завальной), по доносу арестованы три товарища — две женщины и мужчина; взяты они были с поличным: несколько пачек прокламаций, а это уже серьезно, это означало, что их ждет суровое наказание. Наказание? Нет, не допустим этого! И, не ожидая ничьего призыва, рабочие прямо с «биржи» устремились к полицейскому участку. Тут вот что показательно: те три товарища, которых «биржа» бросилась отбить у полиции, были бундовцы. Тем не менее в толпе, решившей штурмом взять участок, были не только евреи, но и русские, и поляки, и литовцы; литовцев больше всего. Нет, самое существенное даже и не это — сколько кого было. Много важнее другое — что никого не занимало, к какой партии принадлежат арестованные. Схвачены наши товарищи, тоже, как и мы, рабочие люди,— о чем же тут еще думать, надо немедля идти и спасать их!

Осип также участвовал в том нападении на участок.

Толпа окружила участок. Крики: мы требуем немедленно освободить арестованных! Отказ. Сам пристав вышел на крыльцо, объявил об этом. Ах, так? Нет, шутишь, все равно будет по-нашему!

Форменное сражение началось. Вмиг были перерезаны телефонные провода. Толпа ринулась к крыльцу и, смяв сопротивление двух или трех полицейских, включая и пристава, захватила нижний этаж, где помещались канцелярия и служебные кабинеты. Несколько человек, правда, оказались ранены, но, помилуйте, кто тогда обращал на это внимание!

Вскоре, однако, стало понятно, отчего полицейские сравнительно легко уступили первый этаж. Арестованные находились на втором этаже, туда вела лестница, а наверху, на площадке, уже заняли оборону остальные полицейские. Удобно расположившись там, они рубили направо и налево шашками. Не нужно было быть великими

стратегами, чтобы догадаться: идти лоб в лоб — много людей поляжет. Секундное замешательство. Вдруг кто-то подал счастливую мысль: взобраться на крышу, оттуда через слуховое окно проникнуть на чердак и, открыв чердачный люк, забросать полицейских камнями. Тотчас же сыскался пяток ловких парней (был среди них и Осип), а в булыжниках, понятно, недостатка не было, вся дорога вымощена ими,— через несколько минут полицейских как ветром сдуло с площадки. Толпа снизу, теперь уже без препятствий, ворвалась на верхний этаж и, выломав двери в камеры, освободила товарищей.

Победа, полная победа! Но теперь, спустя время, Осип отчетливо видел: в упоении от этой своей такой наглядной победы все же они наворотили и много лишнего, ненужного. Уже мало показалось отбить арестованных, понадобилось еще хорошенько проучить полицию — чтоб знали! чтоб помнили! чтоб впредь неповадно было! И принялись громить участок — крушить столы и шкафы, бить стекла, коверкать все, что попадало под руку. Надо ль удивляться, что наутро все дороги из Нового Города были перекрыты верховыми казаками; хватали всех, на кого указывали полицейские и шпики; жертв, в сущности, было куда больше, чем освобожденных (человек двадцать, верно, схватили в тот раз), но вот что интересно: что-то не припоминается, чтобы хоть кто-нибудь из рабочих высказал сожаление о случившемся. Напротив, совсем напротив, настроение на «бирже» царило самое приподнятое. О себе, во всяком случае, Осип мог точно сказать: он несказанно горд был тем, что участвовал в этом деле.

Однако жажда действия, прямо-таки обуревавшая его, искала себе все новые выходы; и находила их. Когда после нападения на участок, недели две спустя, возникла необходимость переправить освобожденных товарищей через границу, он охотно взялся сопровождать их. Не всех сразу, конечно,— поодиночке.

Вспоминая сейчас подробности, Осип с изумлением (по вместе и одобрительно) отметил, что, несмотря на свой вполне зеленый возраст и как бы вопреки чрезмерно горячему своему характеру, действовал он в тот раз на редкость разумно и осмотрительно.

Сперва сам отправился на границу, один. Цель была — сговориться с каким-нибудь корчмарем (редко кто из них не занимался контрабандой). Не всякому, понятно, доверишься, надо приглядеться. Изъездил немало селений, пока решился поговорить с одним — тезками оказались, тоже Осип был, но раза в три старше: дядя Осип. Слово за слово — Осип поделился своей «бедой»: у сестры жених там, в неметчине, о выезде хлопотать — много времени уйдет, а она, сестра, значит, в положении, уже и заметно даже... так нельзя ль как-нибудь *иначе* отправить ее туда?

Дядя Осип для чего-то спросил, как зовут сестру. Осип назвал первое же имя, какое пришло в голову: Бася. Дядю Осипа такой ответ вполне удовлетворил. Хорошо, Иоселе, сказал он, считай, что твоя любимая сестра Бася уже *там*. Но тут же прибавил, что это будет стоить денег... нет, не мне, о чем разговор, поспешил он оправдаться, мне от тебя, Иоселе, ничего не нужно, так я тебя полюбил... У-у, матерый *контрабандир* был этот дядя Осип! Шельма каких мало, пробы ставить негде, сумму назначил грабительскую, да еще задаток содрал, но зато уж и дело знает: Басю, когда Осип привез ее к нему, в наилучшем виде доставил за кордон — посадил в свою таратайку, хлестанул широкозадого битюга и, ни от кого не таясь, помчал по дороге, ведущей прямо к границе. А вернувшись часа через полтора, вручил Осипу записку от Баси с заранее оговоренным условным текстом. Осип сполна расплатился с ним; прощаясь, дядя Осип чуть не прослезился: чтоб я так жил, я тебя люблю, как сына, нет, больше, мой сын байстрюк, и холера его не берет, лодырь

на мою голову... если тебе, Иоселе, что нужно будет, знай, есть на белом свете дядя Осип, он тебе, как отец родной, последнюю рубаху с себя снимет и тебе отдаст...

Прошло несколько дней — Осип снова явился к нему. Само собой, не один — со следующим товарищем, тоже молодой женщиной. Звали ее Соней, но, мня себя великим конспиратором, Осип представил ее как Шейлу. Корчмарь отвел его в сторону и — вот уж бестия, даже и подобия улыбки не возникло на его лице! — спросил: что, Иоселе, еще одна сестра в «положении» и ищет жениха? Да, это тоже моя сестра, вторая, напустив на себя серьезность, ответил Осип, но только никакого жениха у нее нет, тут дела похуже: Бася — та, первая — тяжело заболела, а ухаживать за ней некому, жениха она пока не нашла, вот и нужно, чтобы рядом с ней была Шейла, хоть один родной человек... Ты хороший брат, с чувством сказал дядя Осип; чтоб враги мои горели на медленном огне, как я хотел бы иметь такого сына, как ты... Тут же перешел на деловую ногу: при себе ли у Осипа деньги? Попытку хоть немного сбить цену он пресек, что называется, на корню. Бедная Бася, сказал он со вздохом, ей придется болеть одной и некому будет хотя бы стакан воды подать... Тут уж не поторгуешься...

Третий товарищ был мужчина лет под тридцать. Фамилия — не то Райцуг, не то Райчук, что-то вроде этого. Увидев нового своего клиента, корчмарь ничуть, похоже, не удивился, сказал даже: твой брат, Иоселе, как две капли воды, похож на тебя, просто одно лицо! Но Осип не воспользовался его подсказкой, стал говорить то, что напридумал загодя: нет, это не брат, что вы; это — жених, да, тот самый, Басин; он приехал за Басей, не зная, что она уже уехала к нему, такое вот несчастье... Дядя Осип сочувственно поцокал языком, головой покачал. Осип же не дожидался вопроса насчет денег — сам протянул их контрабандисту. Тот одобрительно крякнул, мусоля палец,

пересчитал помятые бумажки, потом, пока запрягал битюга, начал, по обыкновению, клясться в своих отцовских чувствах к Осипу,— это уже стало походить на некий не подлежащий изменению ритуал.

Нет, положительно, этот контрабандир славный был старик. Впоследствии Осип не раз и не два прибегал к его услугам, особенно часто в пору, когда стал агентом «Искры», и не было случая, чтобы произошла хоть малейшая осечка; в других местах, чего скрывать, бывали срывы и провалы, здесь же — никогда...

...Так, шаг за шагом, Осип подошел наконец к самому, может быть, важному, что только было в его жизни. Итак, «Искра», сказал себе Осип. Самое время: именно в этом, девятисотом году, судьба свела его с Файвчиком, а потом, через Файвчика уже, с Сергеем Ежовым. Собственно, «Искры» тогда еще не было, она лишь затевалась, первый номер этой газеты вышел спустя месяцы, в конце того года, а первые, сколько-нибудь регулярные транспорты стали приходить по прусско-литовскому пути и того позже, в середине следующего, 1901 года, но искровская организация (а точнее сказать, группа лиц, взявших на себя труд издавать где-то за границей общерусскую газету и распространять ее среди рабочих России) уже существовала, и в ее задачи — покуда не начат выпуск газеты — входило обеспечить надежные перевалочные пункты на границе.

Была, считал Осип, чистая случайность в том, что Файвчик обратился именно к нему... невозможно теперь и подумать даже, что могло случиться иначе! Верно, оттого обратился, что знал безотказность Осипа, его всегдашнюю готовность принять участие в любом революционном деле. Да, в любом; это не обмолвка, отнюдь. Понадобился для чего-либо бундовцам — пожалуйста, с великой охотой! Нужна его помощь пепэсовцам — отчего же не помочь! Возникла в нем нужда у литовских социалистов — хоро-

шо, я как раз ничем не занят!.. Нынче, подумал Осип, можно, конечно, посмеяться над такой своей всеядностью и неразборчивостью, нынче, когда (и кстати, именно благодаря «Искре») произошло четкое размежевание партийных сил. А тогда, два года назад, другие времена были, совсем другие: все тогда было как бы в зародыше — и само рабочее движение, и, соответственно, порожденные им партии. И все партии — от Бунда до ППС — объявляют себя социалистическими, пролетарскими, попробуй разберись тут.

Думая так, Осип вовсе не хотел задним числом оправдать себя — того, прежнего; какой был, такой уж был, что тут сделаешь! Но если разобраться, так и оправдывать-то не в чем. Где-то вычитал: новорожденный сколько-то дней или недель, оказывается, ничего не видит (или видит перевернуто, вверх ногами); но вот приходит пора, и все становится на свое место, надо только, набравшись терпения, дождаться срока... Так и здесь: *наша* пора еще не настала. Но не было и терпения тихонько дожидаться урочного часа, и кто осмелится сегодня сказать, чтó лучше — сидеть сложа руки и ждать, пока не принесут на блюде готовенькое, или же раздираться в кровь, биться насмерть, но непременно самим выбираться из чащобы?..

Что до Осипа, то он всегда — и прежде, и теперь — предпочитал действовать. Вот почему он с таким самозабвением и отдавался делу, любому делу, лишь бы оно почиталось им за революционное. И тут появился слесарь Файвчик, недавно приехавший из Парижа, но уже занявший видное место в виленском подполье. Прежде всего он объяснил Осипу, что новая газета (кажется, тогда еще и названия этого, «Искра», не было) ставит перед собой задачу собрать все наличные партийные силы в один кулак, покончить с местничеством; да, да, сказал Осип, это давно надо бы, а то каждый в свою дуду дудит, что хоро-

шего? После этого Файвчик и предложил Осипу «оседлать», как он выразился, границу; Осип, не раздумывая, дал свое согласие. Вскоре Файвчик устроил Осипу встречу с Ежовым.

Сергей Ежов был года на три старше Осипа. Держался он запросто, без церемоний. При первом же знакомстве он признался, что все его попытки завязать отношения с контрабандистами закончились полнейшим фиаско. Тут же в лицах, потешаясь над собой и при этом нимало не боясь упасть в глазах Осипа (чем особенно подкупал его), изобразил свои разговоры с корчмарями и балагулами. Слушая его, Осип буквально покатывался от хохота. Одет с иголочки, даже и в котелке, к тому же говорит не на местном *воляпюке*, причудливо вобравшем в себя три-четыре языка, а на чистейшем русском,— мог ли он всем своим поведением не вызвать настороженность? Его явно принимали за агента полиции: о чем бы он ни заговорил, пусть даже на нейтральную тему, собеседники прикидывались непонимающими. Когда же заводил речь о контрабандистах, от него и вовсе шарахались, как от чумного. Естественно, пришлось убираться восвояси, тем более были уже и признаки того, что его собираются поколотить; то в одной корчме, то в другой он вдруг сталкивался с подвыпившими мужичками, всякий раз с новыми, но действовавшими с поразительной одинаковостью: они всячески задирали его, не иначе — вызывая на драку... Да, посмеявшись вместе с Ежовым, сказал Осип, вполне могли избить, даже странно, что не подкараулили где-нибудь в укромном месте да не устроили темную, народ отчаянный...

Вот уж когда пригодились связи Осипа с «контрабандирами» — с дядей Осипом, с Войцехом! Вскоре (раз возникла в том нужда) появились и новые знакомцы на границе — в Кибартах, Вержболове, Юрбурге. Ежов поражался: как это тебе, Осип, удается с такой легкостью

находить с этой публикой общий язык? Но ничего удивительного здесь не было. Просто-напросто Осип отменно знал их нравы и повадки, говорил на их жаргоне — одним словом, не был для них чужаком, которого следует остерегаться.

Первый транспорт искровской литературы поступил в конце лета 1901 года. Помогли товарищи из профсоюза щетинщиков; жили они в Кибартах, но работали в «неметчине», в Эйдкунае, и потому имели специальные пропуска для беспрепятственного перехода границы. И вот в назначенный день Осипа уже ждала объемистая корзина, доверху набитая брошюрами и пачками газет; пуда на три, никак не меньше. Хорошо, что Осип догадался приехать в Кибарты вместе с Казимежем, своим помощником по профсоюзу дамских портных: одному нипочем не управиться бы с такой тяжестью.

Первый транспорт — о, должно быть, навек запомнится он Осипу...

Проще всего было сесть в поезд (через Вержболово, это рядом с Кибартами, проходит железная дорога) и спокойно доехать до Вильны: часа четыре езды. Но с таким грузом нечего и помышлять о железной дороге; известно, что на пограничных станциях жандармы особенно усердно осматривают багаж. Осип решил воспользоваться наемной каретой — хотя бы до Ковны. Рейс дальний, выгодный — первый же возница тотчас согласился ехать. Правда, потребовал плату вперед (видимо, пассажиры не внушали ему доверия). Ничего не поделаешь, пришлось заплатить. В конце концов, рассудил Осип, какая разница, когда рассчитаться — сейчас или потом?

Разница, оказывается, была. Проехали несколько верст — возница стал вдруг проявлять повышенный интерес к содержимому корзины.

— Уж не золото ли? — пошутил он.— Эвон какая тяжесть!

— Золото, точно! — шуткой отозвался и Осип.— Да не простое золото — в слитках.

— Нет,— еще через несколько верст вполне серьезно заметил возница,— нет, не золото.— Тут же и обосновал свою мысль: — Будь там золото — и вчетвером не поднять бы. Мануфактуру, хлопцы, везете, верно?

Осип счел за благо согласиться с ним. Пусть мануфактура, пусть хоть черт-дьявол, лишь бы не литература!

— Поди, краденая? — последовал новый вопрос.— Мануфактура-то!

— Да вы что! — вскинулся Осип.

— Вот я и говорю — краденая,— с удовлетворением заметил возница.— У меня глаз вострый, скрозь землю на три аршина вижу...— И внезапно остановил лошадь.— А ну, вылезай! Приехали... Кому сказано — вылезай!

Осип возмутился:

— И не подумаем! Деньги уплачены — вези!

— А ты на меня не ори,— посоветовал возница (рожа красная, наглая, откровенно ухмыляется).— Я ведь знаешь куда увезти тебя могу — прямиком в околоток! А не хочешь в околоток — гони добавку! Целковый, подумаешь...

Осип отдал рубль.

Сколько-то времени ехали молча. Но потом опять все началось сызнова. На этот раз возница подступался с другого боку:

— А что, мануфактура — стоящая ли?

— Тебе-то что?

— Ишь,— чему-то удивился возница.— А может, я купить желаю.

— Не продажная.

— Сукно, что ли?

— Да хоть и сукно!

— Дай глянуть.

— Еще чего!

— Вон ты как со мной...— с обидой и печалью в голосе воскликнул возница.— Я вас, шантрапу эдакую, как людей везу, а ты... Тпру! — осадил он свою лошадку.— Вылезай! А не то...

Деваться некуда — Осип протянул ему очередной рубль. Но возница совсем, видно, потерял стыд и совесть.

— Нет,— помотал он головой.— Два целковых гони...— И для наглядности выставил два пальца.

Раза три еще пришлось доплачивать, пока добрались до Ковны... Но приключения на том не кончились. На мосту, перед въездом в город, карету остановил таможенный какой-то чин. Тьма кромешная, ночь, добрые люди спят давным-давно — откуда взялся на их голову чертов этот чиновник!

— Что везете, господа? Дозвольте осмотреть поклажу!

С Казимежем заранее было договорено, что в случае задержания он должен вести себя так, будто незнаком с Осипом и отношения к корзине ни малейшего не имеет. Но сейчас все карты путал возница: уж он-то знал, что они едут вместе!

— Чья корзина? — спросил тем временем таможенник.

— Моя,— ответил Осип.

— Предъявите для досмотра.

Казимеж — молодец, не растерялся.

— Я не имею времени ждать,— сказал он.— Пусть господин с корзиной остается, а я поеду дальше.

— Да, конечно,— согласился с ним таможенник.— Не смею задерживать.

Возница, даром что выжига, каких мало, тоже молодцом оказался: помог снять корзину и, ни слова не сказав таможеннику, помчал с Казимежем в Ковну.

— Так что у вас? — спросил таможенник у Осипа, когда они остались одни на пустынном мосту.— Мануфактура? Чай? Кофе? Корица?

— Никак нет,— ответил Осип.— Так, пустяки, пан чиновник. Не извольте беспокоиться.

— А это, сударь, я уж сам решу — беспокоиться мне или нет! — поставил тот Осипа на свое место.

С этими словами он принялся сам развязывать корзину, сдернул мешковину, прикрывавшую груз, и извлек кипу газет (то была «Искра») и какую-то брошюру.

— Газеты, книги?

В голосе его сквозило неприкрытое разочарование: уж больно товар непривычный, совершенно неизвестно, удастся ль сорвать за него хоть какую-нибудь мзду; это же было написано у него и на лице — не только разочарованном, но как бы даже и обиженном... Стал чиркать спичками, они поминутно гасли на ветру, наконец прочел заголовок брошюры: «Классовая борьба во Франции с 1848 по 1850 г.» Карла Маркса.

— А что под книгами, под газетами? — спросил он.

— Ничего.

Таможенник не поверил, начал все же рыться в корзине. Очень огорчился, действительно ничего, кроме книг и пачек с газетами, не обнаружив. Теперь на лице его была прямо-таки написана растерянность. Тогда Осип перешел в наступление — недовольным тоном заявил: видите, никакой контрабанды, а вы отпустили карету, теперь придется вот на своем горбу тащить корзину... и попытался взвалить эту корзину себе на плечи, а когда самому это сделать не удалось, попросил таможенника помочь. Нет, номер этот не прошел.

— Не торопитесь,— сказал таможенник.— Вам придется задержаться до утра.

— Это еще почему?

— А потому,— невозмутимо ответил таможенник,— что газетки ваши не по моей части. Пусть-ка ими займется полиция...

Этого еще не хватало!

— Я буду жаловаться,— сказал Осип.— Я считаю задержку незаконной.

— А это мы утречком разберемся — законно или незаконно,— возразил таможенник.

— Хорошо,— изменил тогда свою тактику Осип.— Хорошо, задерживайте! Но только прошу учесть: за причиненный мне убыток отвечать придется вам. Все эти газеты рано утром должны поступить в Ковну для продажи. Тут товара на целых двести рублей...

— Неужели на двести? — удивился таможенник.

— Представьте себе!

Была у Осипа заветная золотая пятирублевка, больше ни копейки, остальное выцыганил нахрапистый возница. Осип понял, что наступил тот самый момент, ради которого, собственно, и приберегалась золотая монета: откупиться от кого-нибудь.

— Дело даже не в убытке,— сказал он.— Хуже другое: из-за этой задержки я растеряю клиентуру...— И, протянув таможеннику маленькую, но тяжелую монетку, добавил: — Не будем ссориться!

Таможенник проворно опустил монету в карман.

— Что ж, будь по-вашему,— сказал он.— Но один номерок я попрошу все же оставить мне.

Ну никак нельзя было этого допустить, ни в коем случае! Не то станет известно, каким путем получается «Искра»...

— Нет, пан чиновник,— решительно ответил Осип.— Не могу. Каждая на счету! — И кивнул на корзину: — Если вас не затруднит — пособите...

Таможенник, пробурчав себе что-то под нос, однако ж помог Осипу взгромоздить корзину на плечи.

Сил у Осипа только на то и хватило, чтобы пройти по мосту; шел пошатываясь, но все-таки шел. Но едва миновал мост — тотчас и рухнул вместе с корзиной на землю.

Отдышавшись немного, взялся за плетеные ручки корзины. Где там: не то что взвалить ее на спину — даже и просто поднять не смог. Кажется, велика ль тяжесть — три пуда? А если в тебе самом едва ли столько будет?!. Другого выхода не было — потуже перевязав корзину, стал перекатывать ее с боку на бок.

Светало уже. Осип сидел у дороги па своей корзине с драгоценным грузом, горькую думу думал. Даже перекатывать корзину мочи теперь не было. Вот-вот, правда, появятся первые извозчики — чего проще, возьми любого, вмиг домчит до нужного места! Но извозчику платить надобно, а где денег взять? Вчистую ограбили его возница с таможенником, по-разбойничьи. Пиковое положение, что и говорить... Он сунул руку в карман, наперед зная, что ничего там нет, пусто, ни гроша; сунул руку и, наткнувшись пальцами на металлический кругляк, сам себе не поверил,— вытащил монету и, боясь обмануться, несколько мгновений разглядывал ее то с «орла», то с «решки». Пятиалтынный! Как раз хватит расплатиться с извозчиком. А еще говорят — чудес на свете не бывает!..

Так уж ведется: удача, как и беда, в одиночку не ходит. Тотчас, будто по заказу, подкатил извозчик, спросил, не угодно ль молодому пану проехать куда. О, угодно, очень даже угодно! Вторая удача: Казимеж, как и уговаривались, ждал Осипа у ограды какой-то окраинной кирхи.

Здесь Осип отпустил извозчика. Но куда идти? К брату? Нет, это далеко, противоположный, считай, конец города, за Петровским парком; к тому ж квартира брата давно на подозрении у полиции. Казимеж предложил отправиться к жившему поблизости земляку из Мариамполя — человек зажиточный, мясную лавку на рынке держит, авось не откажет в пристанище. Ну, попытка не пытка, двинулись к мяснику; за одну ручку ухватился Осип, за другую Казимеж, полегче стало.

Мясник принял их как нельзя лучше: накормил, чаем напоил, отвел в светелку под самой крышей, где стояли две кровати. Только улеглись — оглушительный вдруг стук во входную дверь. Осип замер: неужели выследили? Не должно бы! Извозчика специально у кирхи отпустил, чтоб никто не знал, куда они с Казимежем отправятся. И когда к мяснику пришли — ни живой души на улице не было... А в дверь все стучат да стучат; так нахально может себя вести разве что полиция,— вот же негодяйство!

Тревога, к счастью, ложная была: стучали в дверь поденщики, пришедшие убирать квартиру...

Задерживаться в Ковне не с руки было. Транспорт ждут в Вильне, туда и нужно его доставить поскорее. Но как ехать, если денег ни копейки? Пусть не в Вильну даже, сперва хоть в Вилькомир; родной как-никак город, отец, мать, друзья-приятели. Стало быть, первый шаг — добраться до Вилькомира.

Осип решил воспользоваться тем, что конкурирующие между собой владельцы многоместных карет, дабы заполучить пассажиров, по их требованию выдавали даже денежный залог, который гарантировал определенное место на тот или иной рейс. Залог был небольшой, что-то рубля полтора, но на завтрак им вдвоем хватило, еще и в дорогу прихватили немного еды. Таким вот образом и добрались до Вилькомира, благо плату за проезд (вместе с залогом) потребовали лишь по прибытии в Вилькомир. Оставив Казимежа с корзиной в карете, Осип здесь же, на площади, раздобыл нужную сумму.

Наутро выехали в Вильну; уже не пришлось исхитряться: деньги теперь имелись. Доехали без приключений. Корзину Осип передал Ежову. Ознакомившись с содержимым транспорта, Ежов сказал, что это — клад, нет, дороже любого клада: шутка ли, в каждой пачке все вышедшие номера «Искры», от первого до последнего, седьмого...

4

— Надеюсь, вы хорошо выспались, отдохнули?

— Да, пан ротмистр. Спасибо, пан ротмистр.

— А как насчет моего совета — подумать хорошенько?

— Да, я подумал, пан ротмистр.

— Я чрезвычайно рад этому. Рад за вас.

— Как можно за меня радоваться, пан ротмистр? Плохи мои дела, очень плохи... Пану ротмистру захотелось посадить меня в тюрьму, и я сижу... День сижу, ночь сижу и сегодня все утро опять сижу... Но, боже ж мой, я хочу знать, за что? Неужели пан ротмистр думает, что я сделал что-нибудь нехорошее? Я вас очень прошу, пан ротмистр, отпустите меня...

— Вот как?

— Да, пан ротмистр. И поверьте мне, мой папа и моя бедная мама не такие люди, чтобы остаться в долгу перед паном ротмистром...

Модль в упор смотрел на Щуплого. Крепкий орешек, кто б мог подумать? Какая искренность в голосе, какая натуральная мольба во взоре! Похоже, и одиночка не пошла ему впрок. Правда, трудно судить: маловато провел этот Щуплый в одиночке, всего сутки, интересно б на него посмотреть через недельку... Но нет, чего не будет, того не будет: он, Модль, не сможет взглянуть на Щуплого не то что через неделю, а даже и завтра. Потому что не далее как нынче вечером Щуплого увезут из Вильны; таков очередной телеграфный приказ Ратаева: без промедления доставить Таршиса в распоряжение начальника Киевского губернского жандармского управления генерала Новицкого Василия Дементьевича. Отчего такая уж срочность — «без промедления»? Почему в распоряжение непременно Киева? Что, наконец, вменяется в вину Таршису конкретно? Обо всем этом в телеграмме Ратаева ни слова. Сугу-

бая эта таинственность была непонятна, если угодно, оскорбительна даже.

Получив департаментскую шифровку, поначалу Модль решил не тратить больше времени на Таршиса. В конце концов, к чему это ему? Не нуждаетесь в наших услугах — что ж, поступайте как знаете, господа! Но затем, поостынув, подумал: а что если попытаться все же? Всяко ведь бывает: вдруг Таршиса потянет, после одиночки-то, на признания? Право, грех не использовать этот, пусть единственный, шанс. Уже не о том даже думал он, что — если повезет — удастся доказать этим выскочкам из департамента полиции, пренебрегающим услугами лучших своих сотрудников, что и он, Модль, тоже не лыком шит; да, определенно не о том. Куда больше его заботили интересы сыска здесь, в Вильне. В руках Таршиса, в этом Модль не сомневался, концы нитей искровской организации, бесспорно наиболее злокозненной части виленского подполья. Обидно отправлять его в Киев, ни о чем существенном не дознавшись; да нет, не в обиде дело — какое-то время опять придется блуждать в потемках, вот что худо! С ума сойти, столько времени, целых два месяца, идти по следу — и все впустую! Да ведает ли господин Ратаев, что одним бездумным росчерком своего пера свел на нет такой огромный труд?

Модль в упор разглядывал Щуплого. Итак, первая попытка — добром получить нужные сведения — ни к чему не привела. Что ж, решил Модль, не вышло лаской — попробуем *таской*; в фигуральном, понятно, смысле: побои претили Модлю, он крайне редко прибегал к ним.

— Вот что, Таршис,— с жесткими интонациями в голосе сказал он, прервав затянувшуюся паузу.— Мне надоело с вами в прятки играть. Или вы сейчас же выложите все как есть, или... Надеюсь, вы меня понимаете?

— О пан ротмистр! Я ничего так не хочу, клянусь жизнью, как понять вас...

— Нет, вы отлично все понимаете!

— Нет, пан ротмистр. Клянусь жизнью, я не знаю, что вы от меня хотите.

Модль понял: так можно препираться до второго пришествия. Придется идти напропалую, что называется, ва-банк. Боязнь тоже, впрочем, была, и немалая: а ну как выложенные тобою козыри не слишком сильными окажутся? Но и выхода иного ведь нет...

— Очень немногого я хочу,— сказал он.— Вы должны лишь подтвердить то, что мне и без вас известно. Рогут, Соломон Рогут — что вы знаете об этом человеке?

— Ничего, пан ротмистр. Я впервые слышу это имя.

— Неправда, Таршис! Вы потому хотя бы не можете не знать Рогута, что он живет в Вилькомире, на вашей родине. Есть еще одно обстоятельство, изобличающее вас во лжи: Рогут повесился в ковенской тюрьме, Вилькомир по сей день бурлит — могли ли вы ничего не слышать о случившемся?

— Нет, пан ротмистр, я очень сожалею, но я правда ничего не знаю.

— Хорошо, пойдем дальше. Сергей Ежов, он же Цедербаум, он же Ступель — этот-то человек, надеюсь, вам известен?

— Пан ротмистр может мне поверить: я и этого человека не знаю.

— Не торопитесь с ответом. Интересно, что вы станете говорить, когда я устрою вам встречу с ним!

— Я буду только рад этому, пан ротмистр. Вы тогда сами увидите, что мы незнакомы.

— Едва ли вас порадует эта встреча. Особенно если учесть, что она произойдет в Петропавловской крепости, где в настоящее время содержится ваш Ежов.

— Пану ротмистру, я вижу, очень нравится мучить меня!

Продолжать допрос не имело уже ни малейшего смыс-

ла. Щуплый явно не дозрел еще до признаний. Сегодня, во всяком случае, из него ничего не выжмешь. И все-таки Модль задал еще один вопрос — скорей всего по инерции:

— Вы бывали в деревне Смыкуцы? Это недалеко от Юрбурга...

— Нет, не бывал.

— Я подозреваю, что если я спрошу — бывали ли вы в Ковне или Вильне, то также получу отрицательный ответ.

— Отчего же, пан ротмистр? В Ковне я не только бывал, но и жил. Как и в Вильне.

— Ну что ж, не хотите по-доброму отвечать — как знаете. Там, куда вас сегодня повезут, с вами иначе будут разговаривать. *Иначе*, вы меня понимаете, Таршис? Но моя совесть чиста: я вас предупреждал. Так что пеняйте на себя...

5

Приставили двух жандармов, посадили в поезд, повезли куда-то — не просто «пужал», значит, ротмистр!

Везли в первом классе, как сиятельную какую особу. Сиденья в купе обиты вишневым бархатом; высокие, податливые пружины — что тебе пух. Осип едва не улыбнулся: по своей воле никогда не доводилось ехать в первом классе, не по карману, и только теперь вот, при двух стражниках, сподобился! Ну, понятно, не ради него расстарались жандармы, для собственного вящего спокойствия: только в первом классе и можно отгородиться от всего мира дверью.

Стражники достались угрюмые, молчаливые. По-особенному, непонятно как, на Осипа посматривают; сперва Осипу показалось, что с недовольством, со злостью, но спустя время разобрался — нет, с опаской, по-охотничьи настороженно. Смешно, право: уж им ли его опасаться!

Попробовал заговорить с ними: куда, мол, братцы, коли не секрет, везете? Промолчали, хмуро переглянулись только. Потом один из них поднялся, сдвинул занавески на окне — для того, надо полагать, чтобы Осип не мог по названию станций определить направление их маршрута. Ну и шут с вами, в сердцах подумал Осип, не больно и нужно. Запала ротмистрова угроза насчет Петропавловской крепости: ни на минуту не сомневался, что везут в Петербург, куда ж еще?

Примерно через час, откушав принесенного кондуктором чаю (Осипа тоже покормили: ломоть хлеба с салом), один из жандармов завалился спать на верхнюю полку; другой жандарм как сидел, так и остался сидеть каменно у двери, сверляще поглядывая на Осипа. Взгляд этот был неприятен, мешал сосредоточиться, Осип прикрыл глаза, сделал вид, будто подремывает.

Не выходил из головы ротмистр Модль. Не так уж, теперь это ясно, мало знает он об Осипе; вернее сказать — очень многое знает! Ни одного пустого, неправдоподобного вопроса — все без промаха, в яблочко. И если связь Осипа с Ежовым еще можно (даже и не располагая точными сведениями) как-то расчислить, коль скоро известно, что оба они принадлежат к искровской организации, то каким, скажите на милость, путем узнано о Рогуте и в особенности о деревне Смыкуцы, где Осипу всего разок, да притом темной вьюжной ночью, и пришлось быть? И если это уже *тогда* было известно жандармам, то отчего ж сразу, по свежему следу, не брали? Тут была явная какая-то несообразность, и это-то больше всего не давало покоя.

Нужно вспомнить, сказал себе Осип, хорошенько все вспомнить. Не исключено, что какая-нибудь мелочь, пустячная какая-нибудь подробность, упущенная раньше, как раз и наведет на верную мысль.

Что ж...

Ожидался крупный транспорт. Уже не три пуда, которые можно упрятать в корзину либо заплечный мешок, а целых десять пудов искровской литературы предстояло Осипу получить на границе, в Юрбурге: четыре объемистых тюка. Наученный горьким опытом, Осип не хотел больше прибегать к услугам случайных извозчиков; лучше, решил, нанять крестьянские сани — с таким расчетом, чтобы от места до места, к границе, стало быть, и обратно, доехать на них. Выйдет ненамного дороже, зато быстрее, а главное, безопасней. Ежов согласился с ним.

Для приема столь большого транспорта прежде всего нужно было приготовить надежную квартиру. Вместе с Ежовым Осип выехал в Ковну — местные товарищи предлагали на выбор несколько конспиративных явок. Одна из таких квартир как нельзя лучше удовлетворяла всем требованиям: располагалась она в угловом доме, из окон видны все подходы, да к тому ж еще черный ход имеется в квартире. Ежов, который должен был дожидаться Осипа в Ковне, тоже вполне мог устроиться здесь, но решили не рисковать, пусть квартира останется «чистой»: Ежов поселился пока в скромной гостиничке на окраине. Осип же, не медля ни дня, отправился с крестьянином в Юрбург на широких, устланных по дну соломой розвальнях.

Начало декабря было, мороз с каждым часом набирал силу. Вечером, немного не доехав до Юрбурга, заночевали в какой-то большой и грязной избе: скамейки вдоль стен; здесь же, в горнице, скотина всякая, овцы, свиньи, как помнится, теленок даже, а люди, включая и приезжих, умостились на печи; теснота, духота, смрад, клопы. Всякое видывал в своей жизни Осип, неженкой никогда не был, но, как ни намерзся, как ни вымотался за день, а до самого утра не сомкнул глаз.

Утром забрали груз у контрабандиста, пустились в обратный путь. Осип мог поручиться, что слежки здесь не было; в эдакую холодину, видно, и шпиков на улицу



не выгонишь. Да, уж стужа была так стужа: от нее не спрячешься, не укроешься в открытых всем ветрам крестьянских санях; попона, в которую завернулся Осип, и то жестью позванивала от мороза. Когда совсем невмоготу становилось, соскакивал с саней и бежал рядом, похлопывая себя руками по бокам. Казалось, конца-краю не будет этой завьюженной дороге; казалось, заледенеет кровь в жилах или сердце остановится, не в силах одолеть мертвящую муку холода; а еще, отчетливо помнит, казалось, нет ничего желаннее, как заснуть мертвым сном, именно мертвым, чтоб навсегда, навек...

Когда добрались наконец до Ковны, Осип, обжигаясь и не замечая жара, глотал в трактире крутой самоварный чай, чашку за чашкой, ничего не ел, только чай, и уже испарина на лбу, а все не было силы оторваться от живительного кипятка. Но все-таки отогрелся. Поехали сразу на конспиративную квартиру, перенесли туда с возницей тюки. Затем Осип отправился в гостиницу к Ежову: нужно было взять у него денег — расплатиться с владельцем розвальней (крестьянин этот остался ждать на постоялом дворе).

Осип не шел к Ежову — летел. Как на крыльях, истинно! Он уже изрядно сведущ был в делах искровской организации, хорошо представлял себе, как позарез нужен этот только что доставленный, так давно жданный транспорт с литературой. Чтоб поскорей известить Ежова о благополучном прибытии груза, сел в конку — роскошь, которую редко разрешал себе.

Гостиничка, где остановился Ежов, была далеко не из лучших: маленький деревянный домик, всего с пяток скудно меблированных номеров; ни броской вывески, ни важного швейцара в роскошной ливрее, ни льстиво-предупредительного портье с телефоном на конторке. Вся обслуга — сам хозяин, жена его да, в качестве коридорного, какой-то дальний их родственник; все тихо-мирно, вполне

по-домашнему. Оттого и облюбовали эту гостиничку, что — незаметная, неказистая, доброго слова не стоит... казалось, что так безопасней.

Приблизившись к гостинице, первым делом Осип бросил взгляд на третье справа окно: если все в порядке — обе занавески должны быть раздернуты; если какая беда — только одна раздернута. Условный знак говорил о безопасности, и Осип быстрым шагом направился к входной двери.

Лишь случайность спасла его от ареста... Как раз в эту минуту в дверях появился коридорный, помои выносил; с испугом посмотрев на Осипа, сдавленно крикнул ему: «Сейчас же уходите!» Оказалось — Ежов схвачен и уже увезен куда-то, а в его номере полиция устроила засаду...

Осипа будто жаром окатило. Как так? Ведь обе занавески раздернуты! Но то было секундное сомнение; тотчас понял: такими вещами не шутят. И опрометью побежал прочь от гостиницы. Только свернув за угол, а затем через проходной двор выйдя на соседнюю улицу, перевел дух. Осип растерялся; да и то сказать: положение отчаянное, невозможное. Как быть, что делать? Первая мысль была о неотложном: где теперь достать денег для извозчика, который ждет его на постоялом дворе? И рядом другая мысль — в сущности, о том же: а вдруг и его, Осипа, арестовали бы сейчас? Да, так оно и было, точно: не сам даже факт возможного ареста страшил, а — что подумал бы тот крестьянин, не дождавшись обещанных денег? Обмануть, пусть невольно, этого мужика, безропотного и очень доверчивого, было бы равно предательству...

Только совсем уж крайняя нужда могла заставить Осипа пойти к старшему брату. Как и ожидал, Голда, жена брата, едва речь зашла о деньгах, стала кричать, что она не Ротшильд и если в доме имеются какие-то копейки, то она не намерена отдавать их первому встреч-

ному «байстрюку». Брат молчал, молчал, глядя па жепу, но, когда она обозвала Осипа байстрюком (что означало невесть от кого прижитого гулящей девкой ребепка, но одновремеппо и отпетого негодяя), брат Сема грохпул кулаком по столу и, на удивление негромко, сказал: «Ша!» И Голда сразу умолкла: зпала хорошо, что, если уж Сема сказал «ша!» — а он редко прерывал жену,— значит, и правда лучше помолчать. Сема спросил лишь: «Что, Ося, очень нужно?» — «Очень!» — «Голда,— сказал тогда брат Сема,— где там у тебя твои миллионы? Дай ему эту несчастпую пятерку!» Словом, выручил его тогда брат, крепко выручил. Осип помчался на постоялый двор, к своему возпице.

Когда же эта забота отпала (а мужик-возница, кстати, и впрямь золотой попался: Осип сверх положенной суммы, четыре целковых, решил накинуть ему полтинник — за старание, за беспрекословность, а тот уперся: нет, ни копейки больше пе возьму и так хорошие деньги «уплочены»), когда, рассчитавшись с чудеснейшим этим мужиком, Осип пришел на конспиративную квартиру, где остались тюки с литературой, тут только он осознал до конца, что арест Ежова равносилен катастрофе. Разом рвались все нити. Не предвидя беды, Ежов не посвятил Осипа в свои планы, и было совершенно неизвестно теперь, кому дальше передать транспорт. Вероятпо, виленским «военным» — полковому врачу Гусарову, штабс-капитану Клопову; во всяком случае, предыдущий транспорт (Осип точно знал это) был передан именно им для переотправки, по неведомым Осипу каналам, в другие города.

У Осипа были явки, по которым, при удаче, можно выйти на Гусарова. Но ведь сначала надобно отыскать Гусарова (кто знает, может, и он арестован?), потом лишь везти в Вильну тюки с литературой, а то как раз прямехонько угодишь вместе с грузом в лапы жандармов. Од-

нако и оставлять тюки эти в Ковне (покуда свяжется с Гусаровым) — тоже риск великий. Арест Ежова яснее ясного говорил о том, что жандармские ищейки идут по верному следу. Нельзя поручиться, что они — если уж пронюхали, где сцапать Ежова,— не дознаются и про квартиру, где хранится сейчас транспорт...

Прежде Осипу приходилось лишь выполнять чьи-либо поручения. Теперь предстояло — впервые — принять решение самому. Он вполне сознавал: от того, что и как он решит, зависит судьба дела,— это требовало особой осмотрительности. Две задачи представлялись ему самыми важными: найти Гусарова (а если он арестован, то других искровцев) и одновременно сохранить в неприкосновенности транспорт. Если говорить о тюках с литературой, то надежней места, чем дом родителей в Вилькомире, вряд ли найдешь. Но самому ехать сейчас в Вилькомир — значит потерять несколько дней. Те как раз дни, когда нужно — и тоже безотлагательно — связаться с виленскими товарищами. Не разорваться же?

Неизвестно, как повернулось бы дело, но тут Осипу повезло: он повстречал на базарной площади земляков — литейщика Рогута, щетинщика Каценеленбогена и балагулу-возчика Шабаса; закончив свои дела в Ковне, они возвращались домой, в Вилькомир. На них можно было положиться. Осип давно и хорошо знал их — по «бирже», по нелегальным собраниям. Они тоже хорошо знали Осипа, поэтому, когда он попросил их отвезти несколько тюков его родителям, согласились без лишних слов и расспросов. Осип все же предупредил их, что нужно соблюдать предельную осторожность: в тюках запрещенные газеты. Да, да, кивали они, мы понимаем...

Земляки с тюками двинулись в Вилькомир, Осип же, не мешкая, отправился в Вильну. Он оказался прав в своих предположениях: именно «военные» должны были принять от Ежова транспорт; к счастью, Гусаров был еще

на свободе. Как выяснилось, многих схватили в тот же день, что и Ежова: Клопова, Сольца; из тех, кого знал Осип, только вот Гусарова бог пока что миловал... Гусаров с одобрением отозвался о мерах, которые принял Осип для спасения груза.

Но нет, не за что было хвалить Осипа. Не за что: погиб транспорт! Может быть, как раз оттого, что переосторожничал...

Но что проку казнить себя? Всего ведь не предусмотришь. Особенно если в дело вмешается случай, нелепейшее, безумное, дикое стечение обстоятельств! Надо же было так совпасть, чтобы в тот самый момент (воскресный день был), когда подвода с тюками прибыла в Вилькомир, из церкви после заутрени выходил местный исправник с остальными тузами города... Вряд ли уездный исправник — личность известная, отставной штабс-капитан Стефанович-Донцов, пьянчуга и охальник — обратил бы внимание на какую-то там подводу (мало ль их было в тот час на центральной площади!), но возчик Шабас, на беду, забыл подвязать колокольчик, висевший под дугой. А подвязать непременно надо было: исправник, известно всем, только себе и пожарникам дозволял ездить с колокольчиком; такая вот самодурская прихоть была у него. А тут, изволите ли видеть, средь бела дня мужицкая какая-то лошадь раззвенелась веселым колокольчиком на всю округу! Да еще, глянь-ка, мужики эти нерусских кровей явно, нехристи — поди, в насмешку над Спасителем жидовский тарарам свой устроили близ православного-то храма!..

Потом Осипу рассказали — звериным криком зашелся исправник: «Па-ачему? По какому праву? Что за поклажа?» И тут же распорядился препроводить подводу с ездоками к становому приставу. Урядник взял лошадку под уздцы (так, верно, ему надежней показалось) и повлек ее за собой через проулок, наикратчайшим путем, в стан.

Каценеленбоген, воспользовавшись тем, что урядник шагал впереди, схватил один из четырех тюков, тот, что сверху лежал, и был таков: нырнул в какой-то лаз в заборе. Урядник кинулся было за ним, но, видно, побоялся, что так и этих упустишь, не стал догонять. Тогда Рогут предпринял попытку откупиться: предложил уряднику пять рублей. Возможно, в другой раз урядник этот и соблазнился бы шальной пятеркой, но тут сам ведь господин исправник в дело ввязался... Словом, урядник взятки не принял, еще и доложил об этом приставу и исправнику. Когда вскрыли тюки и обнаружили в них пакеты с «Искрой» и нелегальными книгами, исправник всю местную полицию поднял на ноги, чтоб найти сбежавшего. А пока что самолично взялся за Рогута и Шабаса: где разжились крамолой, у кого, куда везли, кому собирались передать?

Возчик Шабас сказал — знать не знает, что везет; его наняли в местечке Янове, два рубля посулили, а ему все равно, что везти... и начал просить исправника, чтобы тот заставил Рогута заплатить за провоз. Напористость эта, по всей видимости, и спасла его. Исправник, должно быть, рассудил, что, если человек, схваченный с поличным, требует денег, значит, он невиновен. Рогут, разумеется, подтвердил все сказанное возчиком, даже два рубля отдал, и Шабаса отпустили подобру-поздорову.

Зато уж Рогуту досталось... Бедняга, его били, жестоко били, до потери сознания, босым и, как рассказывали Осипу очевидцы, чуть не голым выводили на мороз, не давали спать. Но он молчал. Ни Каценеленбогена не выдал, ни Осипа. Остального же (из того, что выпытывали у него) он попросту не знал: не знал маршрута, по которому доставлялась «Искра», не знал людей, причастных к транспортировке литературы. Так ничего и не добившись от него, Рогута отправили в Ковну, засадили там в тюремный карцер.

Осип места себе не находил, узнав об аресте Рогута. Человек пострадал по его, Осипа, вине, притом (что двойной тяжестью ложилось) человек случайный, непосредственного отношения к искровской организации не имевший. Временами накатывало: явиться в полицию, немедленно, сейчас же и заявить — Рогут невиновен, это я, Осип Таршис, хозяин тюков, меня и берите! Право, оно и легче бы самому нести ответ за дело, на которое шел сознательно. Но разум подсказывал: и тебя арестуют, и Рогута не выпустят; бессмысленная затея. Был и еще резон: ты нужен делу, теперь, после ареста Ежова, ты единственный, кто связан с границей,— имеешь ли ты право при таких-то обстоятельствах поддаваться чувству? Но уже тогда, пусть смутно, понимал то, что ныне осознавалось как непреложность: если бы хоть какие-нибудь шансы были, что Рогута отпустят — взамен, баш на баш, вот вам, господа жандармы, я, сажайте в свою тюрьму, а Соломон Рогут ни в чем не повинен, просто-напросто оказал мне, по доверчивости, дружескую услугу,— да, если бы такой «обмен» был возможен, никакие резоны не удержали бы Осипа от этого шага.

Рогут, Рогут, вечная боль моя... Не выдержав мучительства, Рогут покончил с собой, повесился в одиночной камере ковенской тюрьмы...

Жандарм, тот, что сидел каменным изваянием у двери, поднялся вдруг и принялся тормошить своего спящего собрата:

— Давай-ка я полежу...

Тот с видимой неохотой уступил место на верхней полке; тоже сев у закрытой двери, враждебно поглядывал на Осипа.

Осип не шевельнулся: все делал вид, будто дремлет; еще крепче смежил веки, вновь погрузился в свои думы.

...Узнав о смерти Рогута, Осип помчался в Вилькомир. Может быть, этого не следовало делать. Вполне воз-

можно, что именно там, в Вилькомире, полиция впервые и взяла его на зацепку: хотя Осип ни разу не ночевал дома у родителей, скрывался у приятелей, но не случайно же околоточные выспрашивали у соседей, где он, Осип, сейчас находится — не в Вилькомире ли? Да, определенно ему не стоило появляться в родном городе, где слишком многие знали его в лицо.

Но он поехал. Не из прихоти, нет. Попросту не мог иначе. Нужно было выяснить подробности ареста, нужно было забрать у Каценеленбогена уцелевший тюк с «Искрой». Но больше всего нужно было (это Осип считал совершенно необходимым) выпустить листовку — не только разоблачить зверства жандармов, но и объяснить людям сущность самодержавия, обрекающего народ на нищету и полнейшее бесправие. Это была первая листовка Осипа. Опыта никакого, нет ни гектографа, ни нужной для печатания мастики. Спасибо, помогла знакомая пепеэсовка Блюма, вместе сочинили текст, вместе размножили листовку. В ночь на субботу Осип и несколько отчаянных его друзей, которым безусловно можно было доверять, расклеили листовку на стенах домов, на воротах синагоги и костелов и даже у входа в полицейский участок. В городе только и разговоров было что об этой листовке. Вот тогда-то полицейские чины, видимо, и напали на его след,— чем еще объяснить усиленные расспросы о его пребывании в Вилькомире? Теперь, во всяком случае, Осип уже почти не сомневался, что скорей всего этот эпизод с листовками и дал ротмистру Модлю основание задать свой вопрос о связи Осипа с Рогутом...

Ну а Смыкуцы? Эти-то сведения откуда у Модля? Ведь ни Тамошайтис, ни Аня Спаустинайте, землячка, ни словом не обмолвились об Осипе; это известно совершенно точно, иначе бы их не выпустили из таурагенской тюрьмы после всего-то двухнедельной отсидки, уж постарались бы — располагай жандармы хоть сколько-нибудь опре-

деленными данными о связи смыкучан с искровцами — довести дело до суда. Тем не менее факт остается фактом: именно после вызволения транспорта с газетами из Смыкуц Осип ощутил неотступную за собой слежку. Совпадение?

Этого тоже, конечно, не следует сбрасывать со счетов. Особенно если учесть, что к тому времени вся цепь искровских транспортов на литовско-прусской границе замкнулась как раз на Осипе. Раньше, позже ли, но жандармы не могли не выйти на него. И так удивительно, что месяца два после ареста Ежова и других товарищей Осип работал все же в относительном спокойствии, находился вне жандармского поля зрения. Однако чудес не бывает: дознались вот и до его роли в перевозке литературы. А коли так, то Модлю не так уж трудно было предположить, что Осип и к Смыкуцам имеет отношение...

Да, предположение, не больше того; никакими особыми, достоверными сведениями Модль почти наверняка не располагает. Вся надежда его теперь, верно, на очную ставку с Ежовым. Неужто и впрямь рассчитывает, что это ему хоть что-то даст? Ежов содержится в Петропавловской крепости, так сказал Модль, но это не была новость, Модль лишь подтвердил то, что и раньше было известно. Осип слышал — не всякий выдерживает ужас одиночных камер этой крепости, ее Трубецкого бастиона, иные и с ума сходят. Но, странное дело, Осип не испытывал ни малейшего страха. Даже неловко перед самим собой было: как же так, милый, Петропавловка ведь, шутка ли? И все-таки страха не было, что тут поделаешь!

Мчится в ночь поезд, жандарм похрапывает на верхней полке, другой жандарм не сводит осоловелых глаз своих с Осипа — по всему видно, отчаянно борется со сном, бедолага.

Осипу не спится. Скорей бы уж этот Питер, надоело!

6

Нет, не в Петербург, как оказалось, привезли его — в Киев. Что за странность, при чем здесь Киев? Отродясь не бывал в этом городе, никаких связей с местными товарищами не имеет.

Покидали Вильну — было серо, сумрачно, не везде снег стаял. В Киеве же вовсю бушевала весна: солнечно, теплынь, свежая зелень могучих каштанов. Осип снял шапку, расстегнул пальтецо, вдохнул поглубже сладкий дурманящий воздух — до чего хорошо!.. Виленские стражники явно решили сэкономить, не стали брать извозчика — Осип несказанно был рад этому, все подольше на волюшке вольной побудет. Справляясь на каждом перекрестке, куда и как идти дальше, жандармы с добрый час вели его в губернское управление.

Осип ожидал, что ему сразу же и учинят здесь допрос; коли у киевлян такая надобность в нем, что срочно повезли его в эдакую даль, то так вроде бы и должно быть: чтоб сразу, иначе какой смысл? Тем не менее — был в том смысл, нет ли — допрашивать его не стали, а тотчас по лестнице черного хода отвели в подвал, сунули там в полутемную, вонючую каморку. День прошел, и два, и пять — об Осипе словно забыли. И тут он впервые ощутил... нет, не страх, определенно нет; то была скорее неприкаянность, опустошенность, чувство беспомощности. Все было не так, совсем не так, как, по его разумению, должно было быть. Он готовил себя к схватке с хитрым, ловким противником, схватке, итог которой — выигрыш твой или проигрыш — всецело зависит от тебя самого. Оказалось, ничего от тебя не зависит. Какая тут схватка, какая борьба, если о тебе попросту забыли — настолько ты никому не нужен!

Мысли эти, новые и такие нежданные, все больше втягивали его в свой приманчивый водоворот, и попадо-

билось немалое усилие, чтобы осознать, что это — опасная приманчивость: эдак, чего доброго, и до отчаяния дойти можно! С этой минуты Осип как бы протрезвел, обрел способность реально оценивать свое положение. Не вызывают на допрос, сунули в подвал и забыли о твоем существовании? Чудак, нашел о чем печалиться! Это ведь прекрасно, если и впрямь могли забыть о тебе. Значит, мелкая ты в их глазах сошка, мельче некуда. Глядишь, подержат-подержат в этом подвале, а потом надоест скармливать тебе казенный харч — выгонят на улицу за ненадобностью. Вот бы!

Не выгнали. На восьмые сутки его извлекли из подвальной тьмы, посадили в тюремную карету и через весь город повезли куда-то. Сопровождал Осипа добродушного вида толстячок с вислыми хохлацкими усами (само собой, жандармская форма на нем). Не особенно рассчитывая на удачу, Осип поинтересовался, куда его везут.

— Та в Лукьяновку, в замок, куда ж!

Осип не знал, что такое «Лукьяновка», спросил.

— Лукьяновки не знаешь? — от души удивился жандарм, но лицо его еще больше подобрело, а в голосе появились нотки нескрываемого сочувствия.— Тюрьма там, понял? Тю-рьма!

Лукьяновка помещалась на окраине города.

Открылись тяжелые ворота, карета въехала во двор и остановилась у тюремной конторы — приземистого здания. Неподалеку от конторы высились трехэтажные, из темно-красного кирпича, корпуса с зарешеченными окнами. Попав в контору, где его обыскали, а затем занесли имя его и фамилию в толстую амбарную книгу, Осип услышал вдруг громкие крики, доносившиеся снаружи, и даже пение революционных песен, а через минуту (это уж и вовсе непонятно было) в приоткрытое окно влетел увесистый ком грязи. Что такое? Демонстрация? А может, мелькнула шальная мысль, может быть, это его, Осипа,

решили освободить силой? Впрочем, мысль эту тотчас пришлось отбросить: тюремное начальство слишком уж спокойно и невозмутимо продолжало заниматься своим делом, словно не замечая того, что творится вокруг; вещь обычная, стало быть. Покончив с формальностями и захлопнув амбарную книгу, тюремный чин, кивнув на Осипа, обратился к сидевшему у стенки краснолицему человеку в заношенной и мятой полицейской форме с погонами рядового:

— Куда его, Сайганов?

— Да некуда, ваш-сокродь,— поморщившись, ответствовал Сайганов (должно быть, надзиратель, решил Осип).

Наступила пауза, во время которой тюремный чин мучительно раздумывал о чем-то: лоб гармошкой, глаза в одну точку. Наконец лоб разгладился, в глазах появилась решимость.

— В уголовный его корпус, вот куда!

— Так куда ж? — вяловато возразил надзиратель.— И так битком.

— В уголовный! — тоном приказа объявил чин.

— Мое дело маленькое,— согласился надзиратель, всем своим видом, однако ж, показывая, что не одобряет решения начальства.

Надзиратель повел Осипа к одному из трехэтажных корпусов. Во дворе, огороженном высоченными каменными стенами, народу было как на базарной площади в торговый день; временами приходилось протискиваться сквозь толпу, надзиратель то и дело покрикивал по-извозчичьи: «Па-ста-ра-нись!» На третьем этаже он ввел Осипа в одну из камер (дверь ее, как и двери других камер в этом коридоре, была распахнута настежь), сказал:

— Тут вот и будешь жить.

Ни кроватей, ни топчанов в камере, довольно просторной, па три окна, не было; вдоль стен в полуметре от пола

был голый дощатый настил, нары, до последнего вершка занятые нехитрым арестантским скарбом.

— А мое место где? — спросил Осип.

— Я почем знаю! — с некоторым даже возмущением ответил надзиратель.— Поищешь — найдешь!

— А люди где?

— Арестанты, что ль? Во дворе гуляют, где ж!

— Я тоже хочу.

— Великое дело. Хочешь — иди. Кто тебя держит?

С этими словами надзиратель удалился. Оставшись один, Осип помедлил. Хотелось разобраться, что происходит. По всему выходит, что его принимают за уголовника: хорошо это, плохо? Решил, что хорошо, даже определенно хорошо; его явно принимают за кого-то другого, и пусть; поскольку ни в чем таком, уголовном, вроде не грешен, легче легкого будет доказать свою невиновность и — пока разберутся, что к чему,— очутиться тем временем на свободе... Да, пока Осипа вполне устраивала его новая роль.

Не успел он появиться на прогулочном дворе, как толпа молодых людей, по преимуществу в студенческих тужурках, подхватила его, стала расспрашивать — кто он да откуда, где и за что арестован. Осип отвечал, что не знает, за что: ехал из Вильны в Ковну — искать работу, здесь, в поезде, и взяли...

Что тут началось! Своим рассказом он, сам того не ожидая, как будто подлил масла в огонь; окружив здание конторы, студенты в совершенном неистовстве стали выкрикивать разные разности: и *изверги* тут было, и *душегубы*, и *долой самодержавие*. Когда воинственный их пыл малость поиссяк, Осип узнал, что студенты эти, все до единого, арестованы как участники массовых демонстраций, происходивших в Киеве в начале марта. Еще он узнал, что за нехваткой места в политическом корпусе студентов также поместили в корпус для уголовников;

это-то пуще всего и возмущало их: такое «непочтительное» отношение к революционной их деятельности. Уже по одному этому легко понять было, что это за революционеры,— Осип, во всяком случае, предпочел бы оказаться среди уголовников не просто из-за отсутствия мест в политическом корпусе...

Порядки в Лукьяновке были достаточно вольные. Двери камер не запирались до полуночи, и большую часть времени заключенные проводили на воздухе, благо погода стояла теплая, совсем летняя. Не только демонстрации — студенты обожали еще устраивать митинги (начальство смотрело на все это как на детские шалости). Заводилой у студентов был бородатый универсант по фамилии Книжник. На одном из митингов этот Книжник держал пламенную речь, в которой клеймил позором российское самодержавие, причем случай с арестом Осипа фигурировал в качестве главного аргумента против царского произвола. Указывая на Осипа, он с пафосом восклицал:

— Вот сидит мальчик, совсем ребенок, вся вина его состоит в том, что он ехал искать заработок! Его вытащили из поезда, таскали, таскали по России и наконец привезли сюда, в Киев, за тридевять земель от родного дома, привезли в город, где он никогда не был и где у него никого нет! Есть ли другая страна в мире, кроме России, где палачи чувствовали бы себя столь вольготно и безнаказанно?!

Слушая студента (а был он, несомненно, славный парень и едва ли старше Осипа, тоже лет двадцать, только более рослый, да еще буйная борода прибавляла солидности), Осип в душе посмеивался над его наивностью. Характеристику самодержавия, кто спорит, он дал верную, но вот арест Осипа — как аргумент — выбран, пожалуй, не очень удачно... впрочем, Книжник, к своему смущению, очень скоро сам удостоверился в этом.

Через несколько дней после водворения Осипа в Лукьяновку студенты, устроив неслыханный тарарам, потребовали прокурора, чтобы выяснить, в каком состоянии находится их дело. Вскоре начальник тюрьмы объявил, что приехал товарищ прокурора Киевской судебной палаты господин Корсаков, который намерен обойти все камеры, а посему господа студенты должны соблаговолить разойтись по своим местам. Студенты повиновались. И вот настал черед камеры Осипа: то один, то другой спрашивает о своей участи, товарищ прокурора, не заглядывая ни в какую бумажку, отвечает, что́ кого ждет. Осип решил не напоминать о себе: к чему торопить события? Но тут в дело вмешался все тот же Книжник, заявивший с видом обличителя:

— Хорошо, господин прокурор, если по вашим законам мы должны быть наказаны, что ж, мы готовы нести ответ. Но вот скажите: по какому праву вы держите этого мальчика? — И положил Осипу руку на плечо.

— Как его фамилия? — спросил прокурор.

Книжник назвал фамилию Осипа.

Господин прокурор заулыбался:

— Смею уверить вас, что этот, как вы изволили сказать, «мальчик» просидит здесь дольше, чем все вы, гораздо дольше. Он обвиняется в принадлежности к организации, которая именует себя «Искрой», ему инкриминируется организация транспорта запрещенной литературы...

Все так и ахнули. Больше всех был удивлен Книжник и после ухода прокурора все допытывался у Осипа, верно ли это. Осип, само собой, заверил его, что это недоразумение, какая-то путаница, но студент вряд ли поверил ему; во всяком случае, больше не называл Осипа «мальчиком».

Невесело было в тот вечер Осипу: здесь, в Киеве, тоже все о нем известно, решительно все. Одно только по-преж-

нему непонятно было: почему все-таки его отправили в Киев, а не в Питер? Какая тут еще каверза таится?

Через два дня в камере появился новый обитатель. Было ему лет тридцать пять, много старше всех остальных, и держался он уверенно, независимо, но вместе с тем никого не сторонился, охотно вступал в разговоры. Когда последовали неизбежные в таких случаях расспросы — за что взят и при каких обстоятельствах, новый арестант сообщил, что взят он был на границе, на станции Радзивилов, после того как в его чемоданах с двойным дном была обнаружена газета «Искра». Наутро, улучив удобный момент, Осип отозвал этого человека в сторонку, сказал, что тот ведет себя неосторожно: в камере ведь мог оказаться и доносчик, зачем было оповещать о чемоданах с двойным дном, об «Искре»? Осипу крайне неловко было говорить это человеку, который годится ему чуть не в отцы, но и промолчать он не мог — речь ведь шла об «Искре»... Новый арестант ничуть не обиделся на него.

— Вообще-то вы правы,— сказал он с улыбкой.— Но здесь другой случай. Доносчик, если такой оказался в камере, ничего нового не сообщит своим хозяевам. Я ведь взят с поличным...— Он внимательно посмотрел на Осипа.— Разрешите полюбопытствовать: вы киевлянин?

— Нет, я из Вильны.

— Ваше имя, если не секрет?

— Осип Таршис.

— А также Моисей Хигрин? И еще — Виленец?

Прежде чем согласиться или опровергнуть собеседника, Осип в свою очередь спросил:

— А ваша фамилия?

— Блюменфельд. И, представьте, как и вы, тоже Иосиф. Блюменфельд, не слышали? Я так и думал. Но другое мое имя, полагаю, должно вам быть знакомо: Карл Готшалк...

Да, Осип отлично знал это имя. Карл Готшалк был тот человек, который занимался доставкой искровской литературы до русской границы; от него Осип получал сообщения о месте и времени получения того или иного транспорта. Карл Готшалк и Осип были как бы крайними звеньями цепи, на которой держалось дело транспортировки «Искры» через Литву. Один находился в Берлине, другой жил в Вильне, но, связанные одним делом, они ни разу не встречались, не знали друг друга в лицо. В Лукьяновке — вот где довелось свидеться!

— Осип, дружище,— с необыкновенным жаром воскликнул Готшалк-Блюменфельд,— дай-ка я пожму твою храбрую руку! Ты даже представить себе не можешь, как я рад видеть тебя! Зови меня Блюм, меня все так зовут, я привык... А теперь расскажи, каким это ветром занесло тебя в Киев!..

Осип обрадовался возможности поделиться с надежным человеком непонятными обстоятельствами своего водворения в Лукьяновскую тюрьму. Да, внимательно выслушав его, согласился Блюм, все это и правда очень странно; но ничего, тут же успокоил он Осипа, со временем разберемся, что к чему.

И ведь действительно «разобрался», притом, на удивление, скоро! Буквально на следующий день он сообщил Осипу, что здесь же, в Лукьяновке, но только в политическом корпусе, находится большая группа агентов «Искры». Полагая почему-то, что Осип всех их должен знать, Блюм стал сыпать их подпольными кличками: Грач, Папаша, Бродяга, Конягин, Красавец; когда же Осип со смущением признался, что нет, эти люди неизвестны ему, Блюм, немного сердясь даже, начал называть их подлинные имена: Бауман, Валлах, Сильвин, Гальперин, Крохмаль. Но и это не помогло: Осип даже не слышал ни о ком из них. Вот-те раз, удивился Блюм, не слышал, а между тем твоя фамилия по фальшивому

паспорту, и кличка, и явочная квартира, по которой можно тебя найти в Вильне,— все это было записано у Красавца (он же Крохмаль) в памятной книжке, изъятой жандармами во время его ареста.

Разъяснилось и другое немаловажное для Осипа обстоятельство — почему его не стали держать в Вильне, а препроводили в Киев. Все дело в том было, что здешнему жандармскому генералу Новицкому удалось напасть на след всероссийского совещания искровцев, устроить которое взялся живший в Киеве Крохмаль. Взяться-то взялся, но, по мнению Блюма, очень уж топорно: видимо, посчитав жандармов за совершенных дураков, он пренебрег азбучными правилами конспирации, не подготовил надежных квартир для участников встречи, даже себя не сумел обезопасить от слежки. Совещание так и не состоялось. Почуяв неладное (да и как было не заметить этого, если наблюдение за ними велось уже в открытую, нагло!), прибывшие на встречу агенты «Искры», люди опытные, стреляные, спешно стали разъезжаться, но всех их (жандармы на сей раз сами себя превзошли) по дороге арестовали и привезли обратно в Киев; к этому времени и Крохмаль был взят. Так разом попали за решетку наиболее видные представители искровской организации в России, люди, за которыми безуспешно гонялись вот уже длительное время. Как не воспользоваться было такой удачей! Затевался громкий процесс над искровцами, и вести его поручили генералу Новицкому. Чтобы придать делу должный размах, решено было к главным фигурам предстоящего процесса, уже помещенным в Лукьяновку, присовокупить всех, кто имеет хоть какое-то отношение к «Искре»: и тех, кого, подобно Блюму, задерживали на границе, и уж тем более таких, как Осип, чье имя значилось в записной книжке у Крохмаля. Словом, стали свозить в Киев всех, кто только попадал в этот момент под руку, без особого разбора.

Все это Блюм узнал от Мариана Гурского, тоже искровца, который, как староста политических, пользовался правом беспрепятственно ходить в тюремную контору,— остальные же обитатели политического корпуса даже и гуляли в своем, особом дворике. Гурский обещал, что похлопочет у начальства о переводе Блюма и Осипа в политический корпус — чтоб всем «нашим» в одной куче быть; «на всякий случай», сказал еще Гурский. Пересказывая Осипу свой разговор с ним, Блюм предположил, что это загадочное «на всякий случай» может лишь одно означать: вероятно, искровцы замыслили побег, что ж еще!

Прокурор Корсаков как в воду глядел: постепенно всех участников студенческих волнений повыпускали на свободу; Осип, само собой, остался в тюрьме, и Блюм тоже. Студент Книжник, перед тем как покинуть камеру, с крайне сконфуженным видом подошел к Осипу и, словно б и правда был в чем-то виноват, сказал, опустив глаза, что Осип всегда может рассчитывать на его помощь, и дал адрес, по которому его можно найти. Осип крепко пожал ему руку на прощание. К тому времени, должно быть, и в политическом корпусе поредело (а возможно, «ходатайство» Гурского сыграло тут свою роль) — в один прекрасный день Осип и Блюм оказались наконец среди своих.

7

И вот свершилось наконец. Все позади: месяцы и месяцы ожидания и томления (ведь август, август уже, 18 августа!); адская подготовка, когда с таким трудом добывалось все то, без чего не обойтись при побеге: деньги, паспорта, хлоралгидрат для усыпления надзирателей, надежные пристанища в городе; несчетные — чтобы

довести до автоматизма каждое движение — репетиции побега. Да, все это теперь позади,— свершилось! Побег уже не просто мечта — сама реальность...

Все идет именно так, как задумывалось. По случаю очередных «именин», на этот раз Басовского, коридорные надзиратели изрядно хватили дармовой водки с подмешанным к ней снотворным и к вечеру уже спали сном праведников. Небольшая заминка произошла, правда, с часовым, стоявшим на посту в прогулочном дворе; ему тоже поднесли стакан хитрого зелья, но, сделав глоток-другой, он вдруг поперхнулся отчего-то (может, переложили снотворного, и он почувствовал в водке непривычный привкус?), поперхнулся и со словами: «Премного благодарен» — неожиданно отдал «имениннику» едва початый стакан. Пришлось прибегнуть к запасному варианту (как удачно вышло, что и такая вот неожиданность была предусмотрена заранее!): в мгновение ока часового обезоружили, завели ему руки за спину, наскоро связали, заткнули рот платком, повалили на землю и, чтоб ничего не видел, накинули на голову специально для такого случая приготовленное одеяло; около него, присматривать за ним, остался Сильвин, чья очередь бежать была последней.

С этой минуты пружина побега стала раскручиваться стремительно и неуклонно. В действие вступил хорошо отлаженный, до мелочей отработанный механизм: каждый знал свое место, свою роль, свое дело — не только участники побега, но и те, кто по доброй своей охоте взялся помочь искровцам в осуществлении дерзкого плана. Сильвин, Мальцман и Блюм еще возились с часовым, а у семиаршинной, более чем в два человеческих роста, стены уже сооружалась живая пирамида. Основание ее составили Бобровский и не участвовавший в побеге эсер Хлынов, на плечи им взобрался Гурский. Едва Гурский, с трудом удерживая равновесие (Бобровский, не учли

этого, оказался гораздо выше Хлынова), распрямился, Осип подал Гурскому сплетенную из простынных полос лестницу со стальным якорем-«кошкой» на конце,— лестница эта последние недели хранилась у Осипа в подушке. Задача Гурского состояла в том, чтобы зацепить «кошку» за остроконечный, обитый кровельным железом конек стены и перекинуть через стену самодельную веревку с узлами, держась за которую беглецы могли бы спуститься на землю. Не сводя глаз с Гурского, Осип быстро скинул с себя холщовую тюремную робу, которую надел поверх своего костюма; очередь Осипа бежать была вторая, сразу вслед за Гурским. Не с первой попытки, но Гурскому все же удалось надежно закрепить «кошку», и вот он уже карабкается по сделанным из ободов венского стула ступенькам наверх, уже оседлал конек, уже ухватился руками за веревку.

Осип бросился к лестнице (она лишь немного не доставала до земли), начал взбираться. Лестница слегка раскачивалась, вдобавок круглые ступеньки предательски пружинили под ногами; неимоверный труд был — взобраться на гребень стены. Глянул вниз, в темноте смутно различил Гурского, который держал внатяг конец веревки, чтобы не отцепилась «кошка». Нащупав первый узел, Осип перекинул тело через стену, и, как ни легок был, не хватило в руках силы удержаться — неостановимо, со все возрастающей быстротой заскользил вниз, в кровь раздирая ладони.

Отдав Осипу веревку, Гурский тотчас исчез. Следующим шел Басовский; у него не совсем еще зажила после перелома нога, и Осип с ужасом подумал, что если Басовский тоже не сумеет спуститься на руках и сорвется вниз, то рискует вторично сломать ногу. Страхуя товарища, Осип встал так, чтобы, на худой конец, Басовский свалился не на землю, а на него. Но нет, обошлось: Басовский перехватывал руки от узла к узлу и, не в пример

Осипу, отпустил веревку не раньше чем подошвами ботинок ощутил под собою землю. Он потянулся было к веревке, чтобы подержать ее для следующего товарища, но Осип не отдал ее: Басовскому, с его-то ногой, не стоило терять здесь ни минуты. «Беги! — шепотом крикнул ему Осип. — Я тебя догоню!»

Следующим был Крохмаль. Ему не повезло, он тоже содрал кожу с ладоней. Передав ему веревку, Осип со всех ног бросился бежать — следом за Басовским. Тьма была кромешная. Осип бежал с вытянутыми вперед, чтобы не наткнуться на дерево, руками, но вдруг почувствовал, что земля уходит из-под ног, и в следующее мгновение очутился в какой-то канаве, довольно глубокой, о существовании которой товарищи с воли не предупредили беглецов. На дне канавы, в глинистом месиве, уже барахтался Басовский; оказывается, он искал свою шляпу, которую потерял, когда кубарем летел вниз. Осип тоже остался без шляпы, но искать ее в такую темень дело заведомо бесполезное, да и драгоценное время уходит, не до того, в любой момент может начаться погоня!

Поминутно оскальзываясь, Осип выбрался кое-как из чертовой этой канавы, протянул руку Басовскому, вытащил и его. Выбежали на поляну, отсюда уже и дорога видна. Улица была окраинная, безлюдная, каждый человек на виду. Нужно поскорее в город попасть, как можно скорее! Но как, как?!

Вдали показался извозчик. Осип выбежал на середину дороги, замахал руками. Поравнявшись с ним, извозчик приостановил было лошадку, но, посмотрев на Осипа, со словами: «Ишь, голытьба! Последнюю копейку небось пропили!» — умчал прочь.

Обсудили с Басовским незавидное свое положение. Да, скверные дела, хуже не бывает. Мало того, что перемазаны в глине, так еще без головных уборов, а в Киеве, как объяснил Басовский, и самый последний босяк не

выйдет об эту пору на улицу без шапки или картуза. Не мудрено, что извозчик погнушался такими пассажирами. И ведь что обидно — карманы у Осипа и Басовского отнюдь не были пусты, у каждого по девяносто рублей имелось...

Пока судили да рядили, как дальше быть, появился новый извозчик. Никак нельзя было упустить его, никак! На этот раз Осип, ни слова не говоря, первым делом протянул извозчику хрустящую новенькую пятерку. Расчет верный оказался: за такие деньги самого хоть дьявола везти можно.

— Куда? — спросил извозчик.

— В город,— ответил Басовский.— Там скажем.

Обоим им — Осипу и Басовскому — было назначено одно место явки: Обсерваторный переулок, дом № 10. Пошептавшись, решили, что отпустят извозчика, не доезжая Обсерваторного; совсем не обязательно извозчику знать, куда именно они направляются... В нужном месте Басовский велел остановиться. Когда извозчик скрылся из виду, они, немного вернувшись назад, свернули в какую-то боковую улочку, затем через два квартала опять свернули в сторону и так, проплутав еще с четверть часа, вышли на Обсерваторный. Вздохнули с облегчением — наконец-то! Басовский уже еле волочил свою больную ногу...

Но оказалось — преждевременно радовались. Очень скоро обнаружили, что последний дом по Обсерваторному переулку значится под номером 8, а дальше, за пустырем, идет уже другой переулок — Зеленый. Вот так история!

Басовский совсем приуныл; постанывая от боли, он тихо приговаривал: «Если б я знал, что воля не даст нам даже квартиры, ни за что не бежал бы... Ни за что...» Осипу тоже невесело было: страшно хотелось пить, нестерпимо саднили ободранные ладони. Но что проку ныть да скулить? Надо что-то делать, действовать! Осип пошутил: слушай, Басовский, а не вернуться ли нам назад,

в Лукьяновку? Авось зачтут явку с повинной, смилостивятся... Посмеялись. У Осипа мелькнула мысль: а ну как товарищи из Киевского комитета РСДРП, приготовлявшие для беглецов безопасные квартиры, перепутали номер дома? Коль скоро дома № 10 не существует в природе, то, может быть, имелся в виду восьмой дом? Отчего бы не попробовать, не испытать судьбу? Вдруг повезет...

Подошел к дому № 8, покрутил вертушку звонка и, когда дверь открылась, спросил у пожилой женщины, не здесь ли живет Никифор Петрович, которому нужно передать — это был пароль — подарок из Винницы. Нет, сказала женщина, таких жильцов здесь отродясь не было, и поспешила захлопнуть дверь.

Возвращаясь на пустырь, к Басовскому, Осип заметил человека, который, в свою очередь заметив его, Осипа, остановился, затаившись в тени забора. Первое желание было — ноги в руки и бежать! Шпик, не иначе! Но в следующую минуту фигура человека, прижавшаяся к забору, показалась Осипу знакомой. Не Гурский ли?

— Марьян! — издали окликнул Осип.

Человек вышел из тени. Точно, Гурский!

— Ты-то каким образом здесь очутился? — спросил Осип.

Чуть позже, уже на пустыре, Гурский поведал свою грустную историю. Его тоже постигла неудача: люди, к которым ему надлежало явиться, дня три назад съехали с квартиры, и никто не знает, где они живут теперь. Тогда Гурский вспомнил адрес явки Осипа и Басовского и вот направился сюда... Что и говорить, крепко напутали товарищи комитетчики. Неужели и остальных участников побега ждут столь же «надежные» прибежища?

Коротать ночь на пустыре никому не улыбалось, надо было что-нибудь придумать. Гостиница? Нет, невозможно: легко догадаться, что, разыскивая беглецов, жандармы прежде всего обшарят все гостиницы, вплоть до ночле-

жек. Вокзал? Тоже нельзя; самый верный способ попасть прямо в руки полиции, уж что-что, а вокзалы и пристани, можно быть уверенным, перекрыты надежно. Гурский предложил тогда попытать счастья у одного его дальнего родственника, живущего в какой-то Мокрой Слободке; если он и теперь там живет, наверняка не откажет в приюте — человек радушный, последнюю рубаху с себя снимет... правда, тотчас оговорился Гурский, я уже лет пять не видел его, но будем, как говорится, уповать на лучшее... А что, собственно, еще оставалось?

Добрались до Мокрой этой Слободки на извозчике. С трудом отыскали нужную улицу (оно и видно, что Гурский давненько не навещал своего родственника!), зато дом нашли сразу: первый от угла. Поднялись на третий этаж. И тут — удача! Как и пять лет назад, родственник Гурского жил все в этой же квартире; встретил он незваных пришельцев и впрямь с необычайным гостеприимством: все, что было съестного в доме — сало, маринованные грибки, вмиг было выставлено на стол. Басовский, показывая на свои и Осипа брюки, заляпанные глиной, сказал было, что хорошо б почиститься сперва, но Вацлав (так звали радушного хозяина) замахал руками: это потом, это успеется, а сейчас, дроги панове, прóшу к столу! Долго упрашивать себя «дроги панове» не заставили...

Перед чаем (самовар уже фырчал на столе) Вацлав сказал вдруг Гурскому:

— Марьян, я не спрашиваю, кто твои друзья. Раз они пришли с тобой, я знаю, это хорошие люди. Очень жалко, но именно поэтому я не смогу оставить их ночевать. Мало ли что в голову придет моему соседу, жандарму!.. Пся крев, не дай боже иметь такого соседа... Но, может быть, я неправ? Поверь, если им нечего бояться жандарма, у меня всегда найдется лишняя подстилка...— Говорил он эти малоприятные вещи с подкупающей прямотой: явно думал не столько о себе, сколь о безопасности гостей.

— Ты прав,— сказал Гурский.— Не только им, но и мне не стоит встречаться с твоим соседом.

— Нет, ты другое дело,— возразил Вацлав.— Ты — родственник!

— А он почем знает, что я родственник?

— Матка боска! — воскликнул Вацлав.— Вот твоя фотография,— он кивнул на стену, где под общим стеклом, в большой раме, гнездилось десятка два разных снимков,— ты ведь совсем не изменился!

Изменился, нет ли, а хорошо, что хоть Гурскому есть где схорониться в эту первую после побега ночь.

— А вам, панове,— обратился к Осипу и Басовскому Вацлав,— я дам один хороший адресок. Очень приличные, очень достойные люди, мои земляки, тоже из Белостока, я напишу им несколько слов. Только, пшепрашам, к пану Зарецкому неудобно явиться без шляпы... Одну минутку, сейчас у вас будут шляпы! Вот, проше паньство: вам — цилиндр, вам — соломенный капелюх! А теперь давайте я вас почищу.

Напрасно пан Вацлав снабдил их запиской к пану Зарецкому; и роскошный шелковистый цилиндр не помог (как, впрочем, и соломенная шляпа Осипа). Пана Зарецкого не оказалось дома; не сняв даже цепочки, через едва приоткрытую дверь служанка сообщила им, что пан Зарецкий с супругой ночуют нынче на даче... Погоревали, конечно, но потом рассудили, что, может, это и к лучшему, что они не застали пана Зарецкого: совершенно неизвестно, как бы он отнесся к столь странного вида ночным визитерам... Жил пан Зарецкий в красивом доме на Крещатике, на двери — медная табличка с витиеватой гравировкой: *дантист*; кто знает, обрадовался ли бы пан Зарецкий рекомендательному письму своего земляка пана Вацлава?

Теперь, после этой неудачи, лишь одно оставалось — раскатывать на извозчиках из одного конца города в дру-

той. Хорошо еще, что Басовский знал названия улиц и районов города. Так и ездили с Басовским всю ночь, только утром расстались, чтобы не быть задержанными вместе. Дальнейшие планы у обоих были весьма смутные. Басовский надеялся отыскать школьного приятеля, служившего по акцизному ведомству. Осип же вспомнил о своем сокамернике, универсанте Книжнике, который, покидая Лукьяновку, сказал, что Осип всегда может рассчитывать на его помощь, и даже адрес, по которому его легко найти, дал. Осип никак не предполагал, что этот адрес может ему когда-нибудь понадобиться, поэтому не старался запомнить его (теперь оставалось лишь крепко пожалеть об этом!). Задержалось в памяти только странноватое название улицы — Андреевский спуск; и еще то, что отец студента Книжника — кожевенник-заготовщик, владеет собственной мастерской. Ни номера дома, таким образом, ни того даже, сам ли студент проживает здесь или же здесь помещается мастерская его отца, Осип не знал, но на всякий случай поехал все же на Андреевский спуск. Вертел головой из стороны в сторону и — о радость великая! — увидел наконец на каком-то ветхом домишке, сильно смахивающем на сарай, аляповатую, охрой и суриком по жести, вывеску с фамилией своего сокамерника. Проехав немного дальше, Осип отпустил извозчика и вернулся назад, к тому домишку.

Студент, по счастью, оказался дома.

— Хигрин! — тотчас узнал он Осипа.— Как я рад, дорогой, что и ты наконец на свободе! Долгонько ж они мурыжили тебя!

Он провел Осипа в свою комнату, не очень большую, но чистую, светлую, с множеством книг на полках.

— Садись, дорогим гостем будешь!

— Собственно, я не в гости,— сказал Осип.— Я по делу.

— Одно другому не помеха. Так я слушаю тебя...

Осип помедлил с минуту, не зная, говорить ли Книжнику о своем побеге из тюрьмы, но тот, видимо, по-своему понял его молчание.

— Выкладывай, не стесняйся. Нужны деньги? Много не обещаю, но...

— Нет, деньги у меня есть.

— Ишь, богач!

— Мне нужно повидать кого-нибудь из комитета.

— Эсдеки?

— Да.

— Видишь ли, прямых ходов у меня к ним нет. Я даже не уверен, существует ли теперь комитет... тут такие, брат, были аресты! Но, кажется, я знаю одного человека, который сможет помочь... Это срочно?

— Да.

— Хорошо, сейчас я тебя покормлю и сразу отправлюсь.

— Спасибо, я не хочу есть. Я хочу спать. Это можно?

— Бога ради.

— А отец, мать?

— Нашел о чем спрашивать! Они давно махнули на меня рукой. Нет, нет, ты не думай, они совершенно не вмешиваются в мои дела! Так я пойду. А ты спи. Я запру комнату своим ключом.

Осип устроился на диване и, укрывшись пледом, тотчас заснул — мертво, без снов. Впрочем, не очень-то долго удалось поспать, часа два: вернулся Книжник, разбудил. Был он невероятно возбужден, даже взвинчен.

— Представляешь,— восклицал он,— нет, ты даже представить себе не можешь, что произошло! Сегодня ночью бежала вся тюрьма! В городе жуткий переполох, все только и говорят об этом!

Трудно было понять, чего больше было в его голосе — ликования или испуга; пожалуй, того и другого поровну. Странно, но похоже, что, делясь с Осипом своей ошело-

мительной новостью, Книжник ничуть не связывал этот побег с появлением здесь Осипа. Верно, так оно и было, потому что, оборвав внезапно бурную свою тираду (как споткнулся!), он с несказанным удивлением воззрился на Осипа и — явно только что осененный какой-то неожиданной для себя мыслью — произнес ошарашенно, понизив голос:

— Постой, так тебя не выпустили, ты ведь тоже сбежал, да?

— Да, я тоже,— ответил Осип, ответил машинально, подумав: неужто *вся* тюрьма? не только двенадцать, как намечалось, человек, а и остальные следом? С трудом верилось в это. Да нет, чушь, это невозможно, определенно невозможно, даже физически: ночи б не хватило через крепостную стену всем перебраться! Да большинству вовсе и незачем бежать: и без того со дня на день выпустят...

— Почему ты скрыл от меня это? — с укоризною передернув плечами, спросил Книжник.

Осип помолчал. Видимо, и правда он напрасно утаил про свой побег. И вообще напрасно пришел сюда. Так ведь не скажешь ему сейчас, что не от хорошей жизни пришел, что предпочел бы оказаться там, где его приход не был бы неожиданностью...

— Я сейчас уйду,— сказал Осип безо всякой обиды.

— Я не о том. Разве трудно догадаться, что прежде всего беглецов станут искать на квартирах у неблагонадежных? Счастье, что еще не нагрянули сюда, не успели! Собирайся-ка побыстрей, я тебя отведу в одно надежное место... пока не поздно!

— Спасибо,— сказал Осип.— Извини, я было подумал...

— Пустое, не трать время. Пошли!

О главном — что встреча с представителем Киевского комитета произойдет завтра — студент сообщил по дороге

в пекарню, где Осипу предстояло, в одной из полуподвальных комнат, провести ближайшие сутки.

— Здесь тебя сам черт не найдет,— пошутил Книжник.

Отлучившись ненадолго, он принес объемистый пакет со всяческой едой. Прощаясь, Осип с теплым чувством пожал ему руку. Право, он был славный парень, этот чернобородый студент Книжник. Вон как толково все устроил, даже про еду не забыл. И что особенно дорого, ничуть не трус, кажется, ничуть...

Комнатка, в которую упрятал Осипа предусмотрительный студент, служила, судя по всему, чем-то вроде кладовки. Чего здесь только не было: сложенные аккуратной стопкой пустые мешки, медные тазы и невероятных размеров кастрюли, старые, но еще крепкие стулья, окованный жестяными полосами сундук и еще много всякой всячины; но главное — здесь была оттоманка, и не беда, что она как бы взбухала вся от выпирающих пружин: все лучше, чем на тюремных нарах! Одно только досаждало несколько — удушливый запах мучной пыли, отчего-то прогорклой; но очень скоро он перестал замечать и это: ушел в свои мысли, как-то сразу ушел, и так безраздельно, как будто в бездонный колодец канул — ни звуков, ни запахов, ничего реального, сиюминутного.

Мысли были странные: ненужные и неправильные, с ржавым привкусом горечи. Дико, непонятно: свобода, первый день на воле, радуйся и ликуй, ведь свершилось заветное, то, о чем мечталось долгими тюремными месяцами, но нет, ничего этого не ощущал он в себе, смута в душе и томление... вот ведь обида какая! Вскоре осозналось: то была — кощунственно сказать — *тоска*, необъяснимая, казалось, тоска по Лукьяновке... Под Лукьяновкой, понятно, он разумел сейчас не острожные, за семью запорами, опостылевшие стены — он думал о людях, в окружении которых ему посчастливилось, пусть и в тюрь-

ме, быть последние свои месяцы. Удивительные люди! Один не похож на другого, да, разные, очень разные, каждый на свой лад, неповторим, но всех их — Баумана и Литвинова, Блюменфельда и Бобровского, Мальцмана и Басовского, всех их роднило и нечто общее. Можно без конца перечислять наиболее привлекательные их качества, среди них непременно найдут свое место и ум, и образованность, и доброта, и храбрость, и твердость в убеждениях, но все равно перечень этот заведомо будет неполным; вернее всего будет сказать, что это люди одной выделки, одной закалки...

И вот там, в Лукьяновке, повседневно общаясь с ними, Осип, вероятно, впервые с такой отчетливостью осознал, что в жизни важно не только дело, само по себе дело, которому отдаешь всего себя, а и то, с какими людьми делаешь это свое дело. Ибо одно неразрывно связано с другим. Доброе, чистое, святое дело обязательно делают хорошие люди — так есть, так, в любом случае, должно быть.

Осип был самый молодой из числа искровцев, оказавшихся в Лукьяновской крепости, но, по совести сказать, и самый *темный*. В отличие от своих товарищей, которые, обладая глубокими теоретическими познаниями, к тому же хорошо были знакомы с практикой рабочего движения как в России, так и на Западе, Осип не знал многих азов марксизма. Так уж сложилась его жизнь, что не было ни времени, ни возможности всерьез заняться политическим самообразованием. И кто б мог подумать, что именно Лукьяновка станет для него *университетом*!

Старшие товарищи читали ему целые лекции по наиболее сложным вопросам. Многое он понял, присутствуя на теоретических диспутах, на которых решались спорные или нерешенные проблемы. А главное — он читал, читал, читал, притом по определенной, специально для него составленной программе!

Особенно много сил и времени тратил на Осипа Блюм, первый искровец, которого он встретил в тюрьме. Его опека, вседневная и очень требовательная, ничуть, однако, не была Осипу в тягость. Он сам жадно тянулся к знаниям. Дело не ограничивалось изучением партийной литературы, были также ежедневные экзерсисы по немецкому языку под руководством Николая Баумана и Блюма. Поначалу Осип противился занятиям немецким: к чему, мол? Но Блюм твердо стоял на своем: «Пригодится! Поверь моему слову, очень даже пригодится!» Вскоре Осип и сам понял: без иностранного языка, хотя бы одного, никак не обойтись; причем понадобится он быстрее, чем можно было ожидать: маршрут участников побега из Лукьяновки пролегал через границу, в Цюрих...

Спасибо, друзья-искровцы, все-все, с кем судьба свела меня в тюрьме, вечная моя благодарность вам! Мне долго еще будет не хватать вас — вашего тепла, участия!..

...Студент Книжник пришел за Осипом на следующий день вечером, когда уже начало темнеть. Отвел на явку, где Осипа уже дожидался представитель Киевского комитета, и сразу же исчез; Осип не ожидал, что больше не увидит симпатичного студента, пришедшего на выручку в самую трудную минуту, и крепко пожалел об этом: не только что поблагодарить, а даже и попрощаться толком не удалось.

Представитель комитета («товарищ Коля» — так назвался он) был немолодой уже человек, лет за сорок, неторопливый, рассудительный. Осип первым делом спросил его — что, действительно вся тюрьма убежала? Товарищ Коля легко, одними губами, улыбнулся: нет, пустой слух, сбежало одиннадцать человек. Осип всполошился: как одиннадцать? Ведь планировался побег двенадцати? Да, подтвердил товарищ Коля, намечалось двенадцать, но одного из искровцев, Михаила Сильвина, постигла неудача. Уже известны, добавил он, и подробности, отчего Силь-



вину не удалось бежать. Он держал часового, лежавшего на земле, ждал, когда ему скажут: «Ваша очередь!» Но товарищ, стоявший «на стреме», вместо этих, служивших сигналом слов от волнения крикнул другое: «Убегайте!» Сильвин понял его в том смысле, что дело расстроилось, и, оставив часового, помчался к себе в камеру, где уничтожил паспорт и припрятал деньги. Оставшийся без присмотра часовой тотчас вскочил на ноги и, схватив лежавшую рядом винтовку, выстрелил в воздух...

Бедный Сильвин. Особенно жаль было, что именно ему так не повезло. Без преувеличения — он был душа побега, его главный нерв. Готовясь к побегу, каждый делал что-то свое; Осип, к примеру, хранил лестницу в своей подушке и еще (когда обнаружилось, что киевляне не могут раздобыть паспорта для беглецов) привел в действие свои виленские связи, и пятнадцать паспортных книжек было доставлено в Лукьяновку. Да, никто не бил баклуши, но Сильвин, бесспорно, делал больше всех — потому хотя бы, что координировал действия остальных. Осип вспомнил подробность, на которую в свое время не обратил внимания: когда решался вопрос, кто будет первый, кто второй, и так далее, оказалось, что очередь Сильвина последняя. В тот момент Осип не придал этому значения: кто-то должен быть первый, кто-то последний, какая разница! И только теперь осознал, что разница была: последний, несомненно, подвергался наибольшему риску. Так что не случайно, совсем не случайно, что Сильвин, устанавливая очередность, поставил свое имя последним в списке... как, разумеется, не случайно и то, что он взял на себя самое опасное — держать часового. Задним числом осознав все это, Осип, право, предпочел бы сейчас поменяться с Сильвиным местами... Ведь это же очевиднейшая несправедливость, что человек, столько сделавший для побега, сам продолжает оставаться за решеткой! И ничуть не легче оттого, что личной вины твоей в

случившемся нет ни малейшей, все равно, все равно чувствуешь себя виноватым!

Хорошо хоть, что ни один из беглецов, как заверил Осипа товарищ Коля, не попал в жандармские лапы. Это даже удивительно, что все обошлось: воля явно подкачала, с явками и то все напутала. Но представитель комитета не принял упрека; если в вашем случае и произошла путаница, сказал он, то не по вине комитета.

— Позвольте,— с трудом сдерживая досаду, спросил Осип,— но каким образом нам для явки был указан дом, которого не существует в природе?

— Вы ошибаетесь,— невозмутимо возразил товарищ Коля,— дом № 10 по Обсерваторному переулку существует, только расположен он немного в стороне, на отшибе, и там вас ждали всю ночь, и все было приготовлено для встречи.— Рассудительно заметил: — Что поделаешь, случилась печальная непредвиденность...— Тут же, взглянув на часы, оборвал себя: — Простите, у меня мало времени. Вот вам адрес,— он протянул Осипу листок бумаги.— Квартира эта находится за Днепровским мостом, то есть уже в Черниговской губернии. Поживете там пока.

— Пока — что?

— Пока мы вас не известим о дальнейшем,— с прежней своей невозмутимостью объяснил товарищ Коля.

Долго Осипу пришлось ждать, целую неделю. Жил он у чиновника, служившего на железной дороге, человека одинокого, крайне молчаливого; уходя на службу, хозяин запирал Осипа в квартире. День-другой Осип еще как-то смирял свое нетерпение, потом невмоготу стало: сколько можно? Возникла даже мысль — а не махнуть ли рукой на помощь киевских товарищей, не попытаться ли на свой страх и риск добраться до Вильны, с тем чтобы там, в родных местах, где-нибудь в Кибартах или Юрбурге, перейти прусскую границу? Быть может, так и поступил бы, но вот что останавливало: ну очутится за границей,

а дальше-то что? Ни связей заграничных, ни явок — первый же шуцман отправит тебя в полицию. Нет, уговаривал себя Осип, так, дружище, серьезные дела не делаются: жди, терпи! И он терпел, ждал, хотя с каждым днем такое ожидание делалось все более невыносимым.

Как-то скрасить тягость без меры затянувшегося затворничества (хотя бы вечерами) мог, конечно, Антон Петрович, хозяин квартиры. Относился он к Осипу с несомненной приязнью, был заботлив, предупредителен, но — в силу, должно быть, врожденной своей деликатности — ничего не выспрашивал у Осипа, о себе тоже ничего не рассказывал. Не затевались меж ними разговоры и на отвлеченные темы. Столь упорная, просто-таки невозможная молчаливость Антона Петровича поначалу вполне устраивала Осипа, тем более что была она не демонстративная, не враждебная, а очень естественная и, бесспорно, дружелюбная; потом, спустя какое-то время, Осип уже и рад был бы поговорить о том или об этом, о пустяках или о серьезном, однако Антон Петрович, вероятно, не заметил этой перемены в состоянии своего квартиранта. Однажды, во время, как и обычно, безмолвного ужина, Осип попросил Антона Петровича помочь связаться с «товарищем Колей».

— Товарищ Коля?..— переспросил Антон Петрович.— Нет, я не знаю человека с таким именем.

— Он направил меня к вам.

— Нет,— повторил с мягкой улыбкой Антон Петрович,— такого человека я определенно не знаю.

И все, больше ни слова не прибавил. Нет, это не выглядело так, будто он отгородился какой-то стеной и заранее как бы давал понять, что не намерен пускаться ни в какие разговоры. Осип не сомневался, что, задай он Антону Петровичу еще какой-нибудь вопрос, любой, тот охотно и с неизменной своей благожелательностью ответит. Но Осип ни о чем его больше не спросил: к чему? Главное

и без того ясно: Антон Петрович весьма далек от революционных дел и никак не связан (если иметь в виду прямые связи) с товарищами, которые сейчас позарез нужны были Осипу. В Вильне и Ковне Осип уже встречал таких людей, как Антон Петрович: честные, умные, интеллигентные, по-своему свободомыслящие, они нередко приходили на выручку революционерам — то деньгами, то давая им приют,— Осип, при необходимости, выходил на них через третьих лиц; видимо, так же в данном случае действовал и товарищ Коля — очень непрямо, через каких-то посредников, которые пользовались у Антона Петровича безусловным доверием...

Товарищ Коля пришел через неделю, днем, когда Антона Петровича не было дома; открыл дверь своим ключом. Осип был несказанно рад его приходу, даже сказал:

— Я уж боялся, что вы арестованы!

— Если бы это и случилось,— в своей рассудительной манере ответил товарищ Коля,— про вас все равно бы не забыли...— И сразу приступил к делу: — Через два часа в Житомир отправится дилижанс, вы поедете на нем, вот билет. А это ваша явка в Житомире. Запомнили?.. Билет у вас до Житомира, но вы сойдете немного раньше, в Коростышеве; впрочем, ненадолго, до следующего рейсового дилижанса. Там, в Коростышеве, вас ждет у раввина в синагоге Басовский, он укажет вам место перехода границы и передаст заграничные пароли и явки...

До Коростышева Осип доехал без приключений. Сойдя с дилижанса, здесь же, на станции, спросил у длиннобородого старика, как пройти к синагоге. Выяснилось, что в местечке две синагоги и у каждой, естественно, свой раввин. Осип побывал и в одной и в другой, но обе они были на замке; оказалось, что и раввинов нет сейчас в местечке, приедут лишь в субботу, через два дня. Где же Басовский? Дотемна Осип бродил у синагог, все высматривал товарища; нет, не было здесь Басовского. И не

только здесь, вблизи синагог,— Осип мог поручиться, что Басовского и вообще нет в Коростышеве. Иначе наверняка сам поджидал бы Осипа в условленном месте.

Положение, в какое попал Осип, было не из завидных. Без сведений, которые Басовский должен передать ему, никак не обойтись, а Басовского нет и нет. И будет ли — неизвестно. Осип не видел выхода из этого тупика. Пожить несколько дней в Коростышеве — в надежде, что когда-нибудь Басовский явится сюда? Нет, нельзя; очень уж маленькое местечко, каждый новый человек на виду, того и жди, что исправник тобой заинтересуется. Уехать, так и не встретившись с Басовским? Тоже нежелательно, потому как у Басовского все «ключи» от границы.

Все-таки решился уехать. Авось в Житомире что-нибудь знают о Басовском. Или другой вариант: там, в Житомире, тоже известно, как Осипу быть дальше.

Первым же дилижансом Осип отправился в Житомир. Это недалеко, тридцать верст, всего час с небольшим езды; но и натерпелся он страху за этот час! Ему вдруг показалось, что среди пассажиров находится товарищ прокурора Корсаков, который не раз посещал Лукьяновку. Человек этот сидел впереди, затылком к Осипу, так что нельзя было судить окончательно, но даже и так, в затылок, сходство с Корсаковым улавливалось, сильное сходство. Осип надвинул шляпу на глаза, сделал вид, что дремлет. В Житомире первым выскочил из дилижанса. Рядом была харчевня, Осип забежал туда и через стекло наблюдал за пассажирами. Человек, которого опасался Осип, покинул дилижанс едва ли не последним. Осип хорошо разглядел его: нет, то был не Корсаков; чем-то похож, но гораздо старше прокурора и ростом повыше. Зря, выходит, боялся, зря нервы свои тратил...

Искровской организации в Житомире не было. Явочная квартира, куда пришел Осип, принадлежала бундовцам. Приняли его здесь дружески, накормили, устроили

на ночлег. Но здесь же его ждало и разочарование: товарищам из Бунда ничего не было известно ни о побеге искровцев из тюрьмы, ни о Басовском, ни о том, кто и как должен переправить Осипа через границу. Правда, они обещали связаться с Киевом, выяснить там все, что интересует Осипа, но ведь сколько же на это времени уйдет!

Поселили Осипа на квартире, где был устроен склад литературы и вдобавок помещалась типография. Местные товарищи ничего особенного в этом не видели, напротив, полагали даже, что предоставили в распоряжение Осипа самую безопасную свою подпольную квартиру, но Осипа столь очевидная неконспиративность никак, разумеется, не могла устроить. К утру у него созрел план, который он тут же и принялся осуществлять. Отправившись в город, очень скоро отыскал портновскую мастерскую — судя по более чем скромной вывеске, не слишком-то процветающую; именно такую мастерскую и искал: чтоб поскромнее была. Постучался к хозяину: нужны ль работники? Нужны, как не нужны! Быстро сговорились о плате: получать Осип будет за каждую сшитую им вещь, поштучно; это были выгодные условия, куда лучше, чем твердое недельное жалованье — заработок зависел от самого себя. Легко решился вопрос и о жилье; один из портных, едва Осип завел об этом речь, сказал, что у него есть свободная комната, маленькая, правда, зато дешевая, целковый в месяц.

Осип рассчитал, что за месяц, при должном старании, сумеет заработать рублей пятьдесят; этих денег, если их прибавить к тем шестидесяти рублям, что у него остались, должно было хватить на то, чтобы отправиться за границу кружным путем, через Литву... Да, другого выхода для себя он не видел уже, организаторы побега явно не в состоянии довести дело до конца...

Каждый день уходил Осип рано утром в мастерскую,

допоздна не разгибался, все строчил, строчил, и, хотя, к радости своей, обнаружил, что не ушла умелость из рук, все равно злая досада грызла неотступно: до слез обидно было терять время. Но как положил себе отработать месяц — так уж не отступался от этого.

И все-таки пришлось покинуть мастерскую чуть раньше самому себе назначенного срока. Разыскал его Гальперин, тоже участник побега. Сначала крепко отругал Осипа за то, что тот даже адреса своего бундовцам не оставил. Осип повинился: дескать, промашку дал (не стал уж говорить, что сознательно утаил свой адрес от здешних горе-конспираторов). Но одно и впрямь досадно было: из-за этой его осторожности, возможно и чрезмерной, Гальперин лишнюю неделю потратил, чтобы найти Осипа... А дело у Гальперина к Осипу было наиважнейшее — передать ему заграничные явки, связать с человеком, который устроит переход границы. В сравнении с первоначальным планом было одно существенное изменение: уже не в Цюрих надо было явиться, а в Берлин. Осип по достоинству оценил эту новость. Долго пришлось бы ему плутать по заграницам, если б не встреча с Гальпериным!..

В Берлине, предварительно одолев две границы (русско-австрийскую, вблизи Каменец-Подольска, и австро-германскую, чуть севернее Зальцбурга), Осип появился спустя девять дней. Был уже октябрь, второе октября. С того августовского, по-осеннему холодного вечера, когда был совершен побег из киевской тюрьмы, прошло полтора месяца, да, ровно полтора; но, по совести, только теперь, очутившись в объятиях Вечеслова, берлинского представителя «Искры», к которому Осипу назначено было явиться, Осип с чистой душою мог сказать себе — свершилось, только теперь почувствовал, что и вправду находится на свободе.

Глава третья

1

— Герр Дулитл! О, майн либер герр Дулитл!

Фрау Глосс, квартирная хозяйка, женщина крупная, белолицая, трагически закатывала глаза, театрально всплескивала руками, словом, всячески демонстрировала всю безмерность своего горя и отчаяния. Осип уже успел привыкнуть к некоторым излишествам в проявлении ею своих чувств, даже по пустякам, но сейчас и впрямь, похоже, стряслось нечто экстраординарное: Осип уловил в ее голосе интонацию искреннего, неподдельного волнения.

Осип не ошибся. Она действительно была взволнована, и отнюдь не безосновательно. Причина, приведшая ее в столь сильное смятение, была серьезной, вероятно, даже более серьезной, чем ей представлялось. Пока он ездил в Тильзит, сюда, в берлинскую его квартиру, приходили из полиции — выяснить, что за господин здесь живет; обнаружилось, сообщили они хозяйке, что под фамилией Дулитл, с совершенно совпадающими остальными сведениями, оказались заявленными два человека, притом оба американцы.

Новость эта не на шутку встревожила Осипа. Первые месяцы, за неимением надежного заграничного паспорта, он жил в Берлине нелегально, без прописки; это таило в себе массу неудобств и могло самым роковым образом отразиться на деле, которым Осипу пришлось заниматься в Берлине: паспортный режим соблюдался в Германии неукоснительно. И вот благодаря хлопотам Бухгольца, «русского немца», как называли его все, Осипу подвернулся паспорт на имя американского гражданина Джозефа Дулитла, настоящий паспорт, «железный». Осип и

в глаза не видел этого самого Дулитла, неожиданного своего тезку; знал только, что тот, путешествуя по Европе, лишь на несколько дней заехал к своим друзьям в Берлин и, поскольку сам не собирается прописываться здесь, готов кому угодно предоставить свой паспорт для этой цели. Паспорт иностранца как нельзя больше подходил: смешно было б Осипу, при его-то столь варварском немецком языке, выдавать себя за чистокровного немца; а что акцент его даже отдаленно не напоминает американский, так в этом не только фрау Глосс, у которой Осип поспешил снять комнату, но даже и в полицейском ревире не разобрались. Ах, ну до чего некстати опять вдруг объявился в Берлине мистер Дулитл! И ведь не просто вернулся сюда — зачем-то еще и паспорт свой (однажды уже прописанный) сдал в полицию! Несчастье, право, когда имеешь дело со случайными людьми...

Осип внес в свою комнату дорожный кофр, снял пальто, а фрау Глосс, последовав за ним, все говорила и говорила с обычными своими преувеличениями, теперь уже о том, как она чуть не упала в обморок, увидев полицейских, как она испереживалась вся за своего такого милого квартиранта.

— Они что-нибудь... искали здесь? — Слова *обыск* Осип счастливо избежал.

— Нет, нет, они только вас очень хотели видеть! Вы бы посмотрели на них, герр Дулитл!.. Они и со мной разговаривали, как... с преступницей!.. Будь вы здесь, я не сомневаюсь, они увезли бы вас в Моабит!..

Осип рассмеялся, чтобы успокоить хозяйку, но сам подумал: а она ведь, черт побери, недалека от истины; Моабит не Моабит, а уж камеры ближайшего полицейского участка наверняка не избежать... Впрочем, дорожка и в Моабит не заказана, дознайся они только, что он из русских революционеров: германская полиция всегда рада услужить своим российским коллегам.

Ничего этого Осип, естественно, не стал говорить фрау Глосс. Сказал, беззаботно махнув рукой:

— Пустяки, фрау Глосс. Какое-то недоразумение.

— О, я так надеюсь на это, так надеюсь!.. Вы прямо сейчас пойдете к ним? Я имею в виду в участок...

Осип сделал вид, будто всерьез решает: идти, нет ли? Потянул с минуту, потом сказал:

— Пожалуй, нет смысла. Сомневаюсь, что в столь поздний час кого-нибудь застану там. К тому же я изрядно устал с дороги.

— Но они сказали... они приказали, чтобы вы тотчас явились к ним! — Фрау Глосс, как видно, и мысли не допускала, что можно хоть в чем-то ослушаться полицейских.

Тут следовало проявить твердость, и Осип, ставя ее на место, с расчетливым недоумением, даже и обидой в голосе произнес:

— Позвольте уж мне самому, майне либер фрау Глосс, знать, что и когда мне делать.

Фрау Глосс будто онемела! И дикий испуг в глазах — уже натуральный, ненаигранный. Чтобы поскорее прервать эту немую сцену, Осип добавил:

— Простите, я хотел переодеться...

После этого хозяйке ничего не оставалось, как покинуть комнату; сделала она это, отметил Осип, с несвойственной ей проворностью. Поразмыслив, он уже сожалел, что так обошелся с ней: чего доброго, сама побежит теперь в участок. Так что настороже надобно быть, к входной двери прислушиваться, не хлопнет ли...

Шел с вокзала — об одном лишь думал: побыстрее б в постель бухнуться; и вправду устал, поездка была трудная, все силы забрала. Но теперь не до сна. Хороший сюрприз подбросил мистер Дулитл, ничего не скажешь. Только-только угнездился в этой своей комнате, притом впервые за полгода легально,— изволь опять сниматься

с якоря, опять ломай голову, где пристроиться. Не в том даже дело, что надоело по случайным углам маяться,— предстоит много работы, после Тильзита особенно много, ни на что другое не стоило бы отвлекаться, каждая минута на счету.

Впрочем, подумал Осип, излишне сгущать краски тоже не стоит. Завтра утром он, конечно, съедет от фрау Глосс, никуда не денешься, иначе не избежать встречи с полицейскими. Да, съедет, это решено; ничего страшного, не на улицу ведь! Худо-бедно, все же найдется с пяток квартир, где можно (разумеется, нелегально) пожить на первых порах... Давным-давно, к счастью, прошло то время, когда это была почти неразрешимая проблема.

Да нет, разобраться, не так уж и давно. Осип вспомнил, как всего полгода назад, когда он и Гальперин объявились после побега в Берлине, представитель «Искры» Вечеслов не мог, как ни старался, достать квартиру даже для них двоих. Довольно длительное время приходилось ночевать в подвале редакции «Форвертс», где нелегально помещалась искровская экспедиция. Мало того, что это было верхом неконспиративности, подвал к тому же был холодный и очень сырой; не мудрено, что Гальперин сильно захворал вскоре. Они бы тотчас и покинули Берлин, столь негостеприимно встретивший их, но делать этого никак нельзя было: редакция «Искры» именно Берлин назначила местом их с Гальпериным пребывания, возложив на них организацию транспорта литературы и людей в Россию.

...По-прежнему не спалось. Осип с охотой стал думать о своей заграничной жизни. За эти его берлинские полгода кое-что существенное все же удалось сделать, особенно если принять во внимание, что начинать пришлось практически с нуля.

Вспомнилось давнее, далекое, виленское еще. Забирая у контрабандистов транспорты с литературой, он обычно

не очень-то задумывался о тех неведомых ему людях, которые готовят эти грузы, а потом доставляют их на русскую границу. Он даже того не знал, где именно находятся они, люди эти: в Берлине или Лондоне, в Женеве или Кенигсберге. Но в одном тем не менее был убежден непреложно: здесь, в России, куда труднее и куда опаснее, нежели где-то там, в далекой загранице, где и в помине нет вездесущих и пронырливых царских шпиков. Он не завидовал заграничным своим собратьям по партии; нет, напротив, как раз это-то ощущение опасности, постоянного риска и приносило ему наибольшее удовлетворение.

Что верно, то верно: бездомный, вечно полуголодный, неотступно преследуемый жандармскими ищейками, которые в буквальном смысле шли по пятам, он, несмотря ни на что, жил с азартом, даже и весело, если угодно, и не променял бы свою судьбу на иную, более спокойную. Вот почему, узнав, что редакция «Искры» определила ему быть в Берлине, он поначалу с крайним неудовольствием воспринял это назначение; единственный лишь резон удерживал его от «бунта» — то, что в Россию все равно не суждено ему вернуться в ближайшее время, слишком памятен еще побег из Лукьяновки, всем памятен, а первее всего, надо думать, российской охранке. Ну а коли так, то что ж поделаешь, не бить же баклуши!

И Осип взялся за работу.

О боже, существует ли на свете что-либо более далекое от реальной жизни русских эмигрантов, чем его былые представления о ней?.. Даже главный его козырь — что за границей не нужно, мол, остерегаться полицейской слежки — оказался битым. На поверку выяснилось, что и здесь (в Берлине-то уж точно) хватает российских шпиков. И если б только эта шпионская банда, специально откомандированная из Питера! Германская полиция тоже ведь неустанно охотится за русскими *анархистами*, к

коим причислены решительно все революционеры, лишь бы из России...

Были и другие тягости эмигрантского житья, с первых же дней своего пребывания в Берлине Осип полной мерой отведал их. Отсутствие конспиративных квартир, ужасающая нехватка денег — нет, не эти сложности имел сейчас в виду Осип; тут как раз ничего нового, неожиданного, все в точности так же, как в России. Чужая, незнакомая среда, чуждые нравы и обычаи, чужой язык, который знаешь едва-едва,— вот что гирей висело на ногах, вот что в особенности затрудняло работу.

А работы с первых же дней навалилось невпроворот. Дела берлинской транспортной группы, прямо сказать, были в плачевном состоянии. Михаил Георгиевич Вечеслов, человек милый, добрый, по-своему даже старательный, вместе с тем начисто был лишен конспиративной жилки. Делалось лишь то, что само шло в руки. Неотлучно находясь в Берлине, Вечеслов не только не приумножил связей на границе, но растерял и все прежние. И что вовсе трудно было понять — даже и здесь, в Берлине, дело было поставлено из рук вон плохо. Те же квартиры хоть взять; ведь не случайно для Осипа и Гальперина не нашлось сколько-нибудь надежного пристанища: ни одной такой квартиры не было у Вечеслова, ни единой...

Беда, да и только. По сути, с голого места пришлось начинать. Первое, за что взялся Осип (поневоле в одиночку, потому как Гальперин жестоко простудился в чертовом их подвале),— подыскание квартир, куда можно было бы без прописки поселять приезжих товарищей. Оказалось, ничего невозможного нет, стоит только постараться. Крепко помогли здесь, спасибо им, Бухгольц и Бахи, мать и дочь, много лет жившие в Берлине; пользуясь их рекомендациями, Осип хоть не вслепую действовал. Спустя примерно месяц он мог уже разместить в Берлине человек двадцать, при необходимости и все

тридцать (сам он с Гальпериным тоже, понятно, переселился из подвала).

Надо признать, он очень вовремя занялся квартирами. Нужда в них возникла почти тотчас: из Лондона прибыл Иван Бабушкин, очень известный в партии человек, практический работник каких мало; его нужно было нелегально переправить в Россию. Осип решил использовать старые связи с контрабандистами. Отправился с Бабушкиным на прусскую границу — в Шталлупенен, Эйдкунай, а у самого на сердце неспокойно: найдет ли кого из прежних знакомцев? А если они и на месте, то помнят ли его? Все-таки это ужасно, всю дорогу думал он, какой жестокий риск — вести человека на границу, не только не имея предварительной договоренности с доверенными людьми, но даже и вообще не зная, что тебя там ждет. Не о себе думал — о Бабушкине, за безопасность которого теперь всецело отвечал.

Чтобы хоть немного уменьшить риск, оставил своего подопечного в Инстербурге, верстах в пятидесяти от границы; дальше один уже двинулся. В Шталлупенене Осипу не повезло: путевой обходчик Курт, хорошо оплачиваемыми услугами которого не раз приходилось пользоваться в былые времена, уехал на несколько дней к больному брату своему в Кранц. Вся надежда теперь была на Эйдкунай: были там знакомые рабочие-щетинщики, жившие в Кибартах. Время как раз рабочее, Осип пошел на щеточную фабрику, сразу отыскал своих щетинщиков. Они без колебаний отозвались на его просьбу; план предложили такой: один из них отдаст Бабушкину свой пограничный пропуск, по которому стражники беспрепятственно пропустят его в Россию. Очень уж просто все получалось, это смущало. Но и выхода другого не было — Осип согласился. И не пожалел, что доверился этим литовским парням, Ионасу и Стасису: Бабушкин без малейших осложнений перешел границу.

В Берлине Осип обрел новое имя — Фрейтаг. Произошло это «крещение» случайно, во всяком случае неожиданно для Осипа. Он пришел по какому-то делу к Бахам, у них были гости, незнакомые Осипу люди. Понимая, что из конспиративных соображений не следует называть подлинную фамилию Осипа (потому хотя бы, что Таршис не раз упоминался в немецкой печати как участник «дерзкого» побега), старшая из Бахов, Наталья Романовна, и представила его своим гостям «герром Фрейтагом». Чуть позже, когда гости разошлись и остались только близкие люди, Петр Смидович поинтересовался у Натальи Романовны, как это ей пришло в голову такое странное имя.

— Нет ничего проще! — рассмеялась она.— Сегодня ведь пятница? Если по-немецки — Фрейтаг. Вот я и бухнула первое, что пришло на ум!

— Бьюсь об заклад,— сказал Смидович,— что многие усмотрят в этом имени некую символику.

— То есть? — не сразу понял Осип.

— Ну как же! Если вспомнить Робинзона Крузо и его слугу Пятницу, аллегория напрашивается сама собой. Как Пятница был предан своему хозяину, так же и наш новоявленный Пятница беззаветно предан делу русской революции. Надеюсь, Осип, ты не станешь возражать против такого толкования?

— Нет, нет, ни в коем случае! — шутливо отозвался Осип.

Как знать, если б Смидович не затеял этот разговор, может быть, имя Фрейтаг, возникшее так случайно и по такому случайному поводу, тотчас и забылось бы,— теперь же, поскольку привлечено было к нему внимание, оно словно бы прикипело к Осипу, намертво приросло, не оторвать. С того дня он и стал для своих — *Пятница*, во «внешних» сношениях — *Фрейтаг...*

Пятнице, откровенно сказать, было куда легче, неже-

ли Фрейтагу. Отношения с немецкими партайгеноссен складывались у него, к сожалению, совсем не так гладко, как хотелось бы. В своей работе он во многом зависел от сотрудников экспедиции редакции «Форвертса»; на словах они вроде бы и не прочь были помочь, однако не торопились переходить от слов к делу, частенько случалось ссориться с ними. Вначале Осип склонен был себя винить в том, что не налаживаются добрые рабочие контакты (слишком нетерпелив, недостаточно корректен), но постепенно все больше склонялся к выводу, что все-таки дело не в нем, не в тех или иных личных его недостатках, и даже не в том, что как-то по-особенному строптивы именно эти сотрудники газеты; нет, тут были какие-то другие причины, более капитальные.

Осип был поражен, когда впервые попал на собрание социалистов. Происходило оно в одной из пивных, совершенно открыто. За столиками сидели нарядно одетые господа и, слушая очередного оратора, тянули пиво из высоких глиняных кружек: эдакая почтенная компания добропорядочных буржуа. Ничего похожего Осип в России, понятно, не встречал. Подобная манера проводить собрания — с пивом, в явно неделовой обстановке — может нравиться или не нравиться, но то, что немецкие социал-демократы добились такой свободы действий, не могло не вызвать искреннюю зависть. Осип знал, что и в Германии бывали трудные времена. Целых двенадцать лет действовал введенный Бисмарком «исключительный закон против социалистов», запрещавший деятельность рабочих партий и их печатных органов; многие деятели партии были брошены в тюрьмы. Упорная, героическая борьба рабочих привела к отмене драконова закона, и вот теперь партия сполна использует плоды своей нелегкой победы.

Но у этой победы, на взгляд Осипа, была и своя оборотная сторона. Иные члены партии очень уж дорожили

достигнутым спокойствием, больше всего боялись прогневать власти. Прежде чем сделать что-нибудь, они сто раз прикидывали: что можно, что нельзя? Не революционеры, а какие-то партийные чиновники! Нет, Осип отнюдь не собирался чернить всю партию, это был бы, понимал он, заведомый поклеп, но что касается тех функционеров, которые работали в экспедиции «Форвертса», к ним-то уж, во всяком случае, подходят самые резкие определения. Складывалось впечатление, что им все равно, где служить — в социалистической газете или маклерской конторе. Да, не революционный долг, а *служба* — вот, пожалуй, наиболее точное слово, характеризующее их отношение к своим обязанностям. А всего-то от них и требовалось — вовремя передавать Осипу предназначенную для транспортной искровской группы корреспонденцию, бандероли, посылки с литературой... так нет же, по нескольку дней, случалось, мариновали, все, видите ли, недосуг было им вникнуть в поступающую почту!

Поведение сотрудников экспедиции частенько приводило Осипа в ярость. Выходило так, словно они оказывают ему личную услугу: захотят — сделают одолжение, не захотят — ступай прочь, не до тебя. Осип не желал мириться с этим; после одной из стычек, особенно резкой, он отправился к ответственному редактору «Форвертса» Курту Эйснеру и заявил ему, что если администрация редакции и типографии не намерена выполнять решения руководителей своей партии о посильной помощи русской газетной экспедиции, то об этом, по крайней мере, надо сказать открыто; если же дело упирается в нерадивость тех или иных чинуш, то пора, давно пора призвать их к порядку... Говорил запальчиво, не выбирая выражений, с отчаянием человека, которому нечего терять. Не особо то он и рассчитывал на поддержку редактора, вполне допускал худшее: что тот не примет претензий, станет защищать своих сотрудников; что ж, пусть так, пусть даже

так. Осип одного лишь хотел в тот момент — определенности, тогда, по крайней мере, будет ясно, что нужно, не обманывая себя, искать другое место для экспедиции.

Курт Эйснер слушал его, не перебивая; потом уточнил еще некоторые детали, на взгляд Осипа малосущественные (к примеру, давно ли геноссе Фрейтаг находится в Берлине и приходилось ли ему заниматься революционной работой в России); наконец, говоря Осипу «ты» (вначале Осип решил, что такое обращение вызвано его молодостью, но тут же вспомнил, что в германской партии все на «ты» друг с другом, независимо от возраста и положения в партии), сказал не без горечи:

— Что говорить, если б у нас были такие работники, готовые на самопожертвование, как ты, дела наши шли бы куда лучше. К сожалению, ты прав: у нас чересчур много чиновников и мало истинных революционеров...

Осипу не понравилось то, что говорил ему геноссе Курт Эйснер. Именно это больше всего и не понравилось — что тот, вместо того чтобы решить дело, принялся вдруг нахваливать его, человека, которого совершенно не знал. Разве не ясно, что этим нехитрым способом редактор «Форвертса» попросту хочет избавиться от назойливого просителя?

— Я предпочел бы услышать другое,— медленно выговаривая слова, холодно произнес Осип.— Я хотел бы знать, следует ли нам рассчитывать на содействие со стороны ваших сотрудников. «Да» или «нет» — больше мне ничего не нужно.

— Я сделаю все, что в моих силах.

— «Да» или «нет»? — припирал его к стенке Осип, понимая, что уже переступает границы приличия, но даже и понимая это, ничего не мог с собой поделать.

— Я думаю, все наладится,— сказал Курт Эйснер, не скрывая улыбки.

Хотелось верить, что так оно и будет. Вместе с тем Осип боялся обмануться в своих ожиданиях.

Курт Эйснер оказался человеком слова. В тот же день, сразу после обеда, к Осипу в подвал спустился вдруг (чего никогда прежде не было) сам заведующий экспедицией «Форвертса» Герман Шехт и сообщил, что из Лондона прибыло несколько посылок (только что, подчеркнул он, четверть часа назад),— геноссе Фрейтаг может получить их в любое удобное для него время... В посылках был свежий номер «Искры»...

Так прошла зима, первая зима на чужбине.

В марте Осипа вызвали в Лондон, где вот уже почти год издавалась «Искра». Предстояла встреча с членами редакции. Мартов, Засулич, Ленин, Плеханов — никого из них Осип не знал лично; увидеть их, поговорить с ними было давнишней его мечтой. Поскольку своего легального паспорта у него не было, воспользовался документами Петра Смидовича.

И вот наконец Лондон. Хорошо, что с ним вместе ехал Носков, немного знавший английский, а то одному вовек не добраться бы до квартиры, которая была назначена ему для явки. На квартире этой «коммуной», общим котлом, жили Мартов, Засулич, Дейч и, к великой радости Осипа, Блюменфельд, набиравший «Искру». Ленин с женой снимали квартиру в другом месте. Что до Плеханова, то его в Лондоне не было: он, как и прежде, находился в Женеве.

Осипа пригласили в Лондон не просто для знакомства. Летом намечено провести Второй съезд РСДРП (предположительно в Брюсселе). В связи с этим Осипу поручалось подготовить на границе надежные «окна» для переправки делегатов из России; ну а поскольку Берлин станет, таким образом, основным перевалочным пунктом, то в германской столице следует иметь не менее десятка вполне безопасных квартир. При этом, что подчеркива-

лось особо, ни в коем случае нельзя ослаблять работу по транспортировке искровской литературы, напротив, надобно искать новые, дополнительные пути и возможности для пересылки литературы в Россию.

В Лондоне Осип пробыл десять дней. Жил в «коммуне»: там была специальная комната для приезжих. Город произвел на него удручающее впечатление — может, оттого, что все время моросил дождь и стояли туманы. Впрочем, настоящего Лондона он, наверное, не видел, все эти дни ушли на разговоры и встречи. Блюменфельд показал типографию, где набиралась и печаталась «Искра». Типография эта принадлежала английским социалистам, здесь издавался еженедельник «Джастис». Больше всего Осипа поразило, что русские социал-демократы в чужой стране, поистине за тридевять земель от родины, выпускают свою газету куда большим тиражом, нежели английская легальная партия свой центральный орган.

Осип был по-мальчишески рад, что наконец-то познакомился с членами редакции «Искры». Особенно близко он сошелся с Мартовым — родным братом Сергея Цедербаума. Перед Верой Ивановной Засулич Осип невольно робел; подумать только, Осипа еще и на свете не было, когда она стреляла в Трепова! Легендарный человек, живая история русской революции. Но держалась она просто, с живым интересом вникала в подробности его конспиративной работы в Вильне, немало вопросов задала о постановке дела в берлинской группе содействия «Искре». С Лениным Осип встречался всего три раза, не только оттого, что тот квартировал в другом месте. День Ленина был расписан буквально по минутам: до обеда — работа в библиотеке Британского музея, все остальное время уходило на редактирование «Искры» и невероятную по своему объему переписку с российскими партийными организациями. И Мартов, и Засулич с восхищением говорили о его прямо-таки нечеловеческой работоспособности.

Жили Ленин и его жена Надежда Крупская на Холфорд-сквере. Осип пришел к ним с Носковым. Ленин с первой же минуты покорил Осипа. Он обладал каким-то особым даром естественности, непринужденности. Чувство некоторой скованности, поначалу испытываемой Осипом, вмиг отлетело (быть может, этому способствовало и то, что Осип сразу же ощутил неподдельное радушие, с которым встретили его здесь).

— Тарсик! — с чисто детской непосредственностью воскликнул Ленин.— Надя, иди сюда, это ведь Тарсик, знаменитый наш Тарсик! — На мгновение посерьезнел: — Ради бога, не сердитесь, что я так называю вас. Я прекрасно помню вашу фамилию, но в своих письмах (а мы изрядно поволновались, пока вы после Лукьяновки выбирались из России) мы иначе вас не называли как Тарсик, вот и привыкли.— И опять с веселой улыбкой: — Сколько же вам лет, дорогой Осип? Чуть меньше ста, я полагаю?..

— Да, немного меньше,— с той же шутливостью отозвался Осип.— Двадцать один.

И вновь Ленин резко переменил тон, сказал с легкой грустью:

— А мне тридцать три. Тридцать лет и три года, мда...

— Грех жаловаться, Владимир Ильич,— сказал Носков.— Возраст Ильи Муромца, возраст Христа...

Ленин рассыпчато засмеялся:

— Особенно вдохновляет пример Христа, если учесть, что именно в тридцать три года его распяли...

Осип отметил: быстрая речь, быстрые, но без суетливости движения, быстрый, точнее сказать, мгновенный, молниеносный переход из одного состояния в другое. Во время обеда Ленин шутил, балагурил, много подтрунивал над собой (в ряду прочего: «Совсем книжным червем заделался. Будь моя воля — не уходил бы из библиотеки...»); но едва уединился с гостями в маленькой своей

комнате, сразу превратился в другого человека: предельно собран, деловит. Его вопросы, короткие и точные, свидетельствовали о том, что он отлично осведомлен о работе берлинской группы, хорошо представляет себе и трудности, с какими Осипу каждодневно приходится сталкиваться. Разговаривать с Лениным было легко: он сразу схватывал суть дела, понимал с полуслова.

Главное место в этом их разговоре было уделено той работе, которой Осипу и другим берлинским товарищам предстояло заняться в ближайшее время. В этой связи Ленин сказал:

— Я знаю, с какой неохотой вы согласились остаться в Берлине.— Неожиданно признался: — Покаюсь, но это я настоял на таком решении. Не от злого права, разумеется. Просто в настоящее время я не знаю другого человека, у которого были бы столь обширные связи на русско-германской границе. А без этой границы нам никак не обойтись. Я имею в виду не только транспортировку «Искры». Теперь вот новая задачка: переправить через границу около сорока делегатов съезда... Я понимаю: из-за своего ареста вы подрастеряли связи. Не спорю, это несказанно усложняет задачу. Но что поделаешь, придется заняться восстановлением утраченного. Иначе — завал. Поверьте, я ничуть не преувеличу, если скажу: так сейчас все сошлось, что от вас, дорогой Осип, во многом зависит, состоится наш съезд или нет. И второе: по-прежнему транспортировка литературы — наше узкое место. Чемоданы с двойным дном, «панцири» — все это прекрасно. Но недостаточно. Мы в состоянии буквально наводнить Россию «Искрой», потребность в ней среди рабочих ныне, как никогда, велика,— надо изыскивать новые пути. Тут огромную помощь могут оказать немецкие товарищи. Наслышан, наслышан про вашу войну с чиновниками из «Форвертса»! Но не все же такие. Усиленно рекомендую связаться с руководителем кенигсберг-

ских социал-демократов, его зовут Гуго Гаазе, весьма дельный человек. Не сомневаюсь, он наверняка что-нибудь придумает...

Вернувшись из Лондона, Осип незамедлительно воспользовался советом Ленина: отправился в Кенигсберг, к Гаазе. Тот и впрямь оказался дельным и деятельным человеком — не поленился, поехал с Осипом в Тильзит, свел его с Фердинандом Мертинсом, убежденным социал-демократом. Мертинс (усатый, плотный, лет за сорок) был по профессии сапожник. Он с пониманием отнесся к нужде русских товарищей. Что ж, сказал он, это вполне возможное дело. В его адрес постоянно приходят грузы с кожевенным товаром,— никто, он полагает, не заметит, если в некоторых посылках вместо кожи будет русская литература. Затем он сможет, не вызывая ничьих подозрений, переправить этот груз — теперь под видом партии обуви — в Мемель торговцу Фридриху Клейпу; человек надежный, прибавил Мертинс, тоже социал-демократ, за него я ручаюсь... Деньги? Нет, что вы, за такую работу я денег не беру; только расходы по пересылке, ни пфеннига больше...

Там же, в Тильзите, но уже в эту, последнюю свою поездку туда Осип напал на след литовцев, перевозивших через границу религиозные книги на родном языке. Дело у них было поставлено на широкую ногу, им ничего не стоило перебросить в Россию десятки и даже сотни пудов «Искры». Нужно было только уговорить их взяться за это, прямо сказать, рискованное дело. Можно поручиться — ничего бы у него не вышло, никакие деньги не помогли бы, не будь он их земляком. Осип имел все основания быть довольным этой сделкой: плату за провоз литовцы запросили ничтожную, чисто символическую. Удача, огромная удача!

Конечно, не само это далось. Пришлось изрядно помотаться, пока вышел на руководителя литовского дела.

Этот столь тщательно оберегаемый человек оказался глубоким стариком, но довольно бодрым еще, крепким, с живым блеском в глазах. Он не стал выспрашивать, какова политическая линия «Искры», спросил только, не во вред ли это будет литовцам. Осип горячо заверил его — нет, не во вред, отнюдь. Такое объяснение вполне, кажется, удовлетворило старика (имени своего он так и не назвал); сразу перешли к практической стороне. Осип сказал, что готов платить столько же, сколько берут контрабандисты — по пять рублей с пуда. Старик ответил с достоинством: мы не контрабандисты, мы не хотим наживаться; достаточно двух рублей с пуда, это реальные расходы. Лишь одно условие выставил: никаких дел с почтой, груз должен доставляться прямо на склад, притом в точно такой же упаковке, как наш товар... Хорошо, сказал Осип, он тоже не хотел бы прибегать к услугам прусской почты. Осип предложил, для верности, задаток, старик отказался: нет, расчет будет производиться при доставке груза на склад.

Да, нечасто выпадает такая удача; Осип возвращался из Тильзита в приподнятом настроении. Но, видимо, так не бывает, чтобы все было хорошо. Добирался с вокзала к фрау Глосс, безмерно усталый, но радуясь, что не нужно, как в былые времена, ломать голову, где бы притулиться хоть на ночь, что наконец-то есть и у него свой угол, постоянный и, надо надеяться, безопасный,— и вот внезапность, непредвиденность: мистер Дулитл объявился!

Было уже за полночь, фрау Глосс явно не пойдет уже нынче в полицейский участок, напрасно опасался; можно поспать. Утром что-нибудь да придумается.

Наутро фрау Глосс с холодной вежливостью осведомилась, найдет ли герр Дулитл время наведаться в полицию. Да, конечно, сказал Осип; он незамедлительно отправится туда: какая-то нелепая история, надо поскорей

покончить с ней. Зайдет только па почту, это ведь по пути в участок, совсем рядом, не так ли?

Про почту придумалось вдруг, в последний момент, но, кажется, удачно. Погуляв с полчаса, Осип сообщил хозяйке, что на почте его ждала срочная депеша и вот теперь, к великому своему огорчению, он должен немедленно выехать на родину, там его ждут неотложные дела; он крайне сожалеет об этом, ему так хорошо было в Берлине, так славно, он никогда не забудет эту уютную свою комнату, разумеется, и о фрау Глосс, прелестной своей хозяйке, с таким теплом и гостеприимством отнесшейся к чужестранцу, он также сохранит самые добрые воспоминания... И принялся укладывать нехитрые свои пожитки.

— Как? — с преувеличенной театральностью всплеснула руками фрау Глосс.— Вы покидаете нас?

— Да, да,— со вздохом подтвердил Осип.— Я хочу поспеть на завтрашний пароход. А ведь еще до Гамбурга надо добраться.

— О! — медоточиво улыбалась хозяйка.— Поверьте, мне очень жаль расставаться с таким милым постояльцем!.. А что в полиции? — спросила она вдруг.— Все разъяснилось?

— Я ведь не был там, зачем? — легко и беззаботно сказал Осип.

— Как же так! — с недоумением (нет, скорее все-таки с возмущением) воскликнула фрау Глосс.

Осип счел за благо сделать вид, будто ничего не заметил, и с прежней беззаботностью объяснил:

— Я решил — какое это теперь имеет значение? С ними ведь только свяжись — столько времени отнимут!

— Вы так полагаете? — с недовольной миной на лице (но все еще в рамках благоприличия) произнесла фрау Глосс.

Необходимо было поскорей покончить с этой нежелательной для него темой; Осип сказал:

— Так ли, иначе ли, но вы же видите, фрау Глосс, у меня нет другого выхода. Меня ждут дела, и я не могу тратить время на пустяки! — Демонстративно взглянул на часы: — Мне пора. Разрешите пожелать вам всяческого благополучия!

Фрау Глосс словно подменили. Куда подевались слащавые ее улыбки, приторно льстивые слова! Мегера мегерой; даже кивком не удостоила... Было ясно, что она не верит ему, зря только старался. Ни в этот скоропалительный отъезд его не верит, ни во что другое. Поди, за фальшивомонетчика какого принимает. Ну да бог с ней. Ему было уже безразлично, что и как она думает о нем...

Осип отправился в свой подвал при экспедиции «Форвертса» — для начала.

С этой минуты герр Дулитл перестал существовать.

2

Слухи о съезде поначалу были далекие, мало внятные. Кто-то (и почему-то не из Брюсселя, где проходил съезд, а из Лондона) кому-то (притом не сюда в Берлин, а в Женеву) написал: на съезде дело до того, мол, дошло, что искровцы пошли войной на искровцев.

Чепуха, конечно, несусветная чепуха. Осип ни на минуту не сомневался — такие сведения может распространять лишь человек, очень мало разбирающийся в истинном положении вещей.

Что на съезде предстоит нешуточная борьба — простите, но это и младенцу должно быть ясно! Весь вопрос в том — кого и с кем. Можно ожидать, что выйдут капитальные разногласия с не имеющими никаких корней в России издателями жалкой газетенки «Рабочее дело», которые неприкрыто противопоставляют себя «Искре»; можно, хотя и с меньшим вероятием, предположить, что бундовцы примутся отстаивать свою узконационалистическую авто-

номию в партии; можно, наконец, допустить, что взбунтуются вдруг представители еще каких-нибудь группировок. Но чтобы (как это там, в письме?) «искровцы пошли войной на искровцев» — нет, увольте, я отказываюсь, решительно отказываюсь поверить в это...

Тем не менее — вопреки всему, самой очевидности вопреки — слухи оказались правдой.

Возвращались из Лондона делегаты. Да, из Лондона, тут автор давешнего письма тоже оказался прав. Начав свою работу в Брюсселе, съезд вынужден был перекочевать в английскую столицу — очень уж нагло стала проявлять себя бельгийская полиция (явно по наущению русской охранки).

Возвращались делегаты — почти все те, кого недавно Осип принимал на границе, сопровождал до Берлина, а затем отправлял дальше, в Брюссель. Теперь вот им предстоял обратный путь, в Россию. Что раньше всего бросилось Осипу в глаза — каждый из них не просто давал свою, с определенных позиций, оценку происходившего на съезде, а вел отчаянную агитацию за то или другое направление. Столько уж Осип понаслышался всякого и разного о главных моментах в работе съезда, что, кажется, сам присутствовал на его заседаниях. Но нет, то было обманчивое ощущение. Будь он и впрямь участником съезда, тогда, в соответствии со своими понятиями, уж наверное тоже имел бы свою точку зрения. Теперь же приходилось выбирать между тем, что говорят одни, и тем, что говорят другие.

Было трудно: каждый тянул в свою сторону. Послушать этих — вроде они правы, тех — тоже правы и они. Осип понимал: ему было бы куда легче сделать свой выбор, не знай он лично таких представителей меньшинства, как Мартов, Засулич, Потресов, особенно Блюменфельд, не прикипи он к ним всею душой. Было непонятно, даже и обидно, что Засулич, Потресов и, пусть незнакомый

Осипу, но имеющий заслуги в революционном движении, Аксельрод, что эти люди оказались за бортом нового состава редакции «Искры», официально ставшей на съезде Центральным органом партии. Таким образом, чувства его явно были на стороне тех, кого после съезда стали называть меньшевиками.

Чувства, однако ж, чувствами, но негоже и о *принципах* забывать. Именно принципы, в том числе организационные, определяют, чего стоит партия, на что она способна. Все больше и больше Осип понимал: нет, не пустяки разделили съезд на два противоборствующих течения. Различия в формулировках первого пункта устава партии были отнюдь не безобидны. Мартов предлагал членом партии считать всякого, кто принимает ее программу и оказывает ей содействие под руководством одной из ее организаций. Ленин же настаивал на том, что одного содействия недостаточно, необходимо еще личное участие в работе организации. Словесно отличие это не столь и велико: «содействие», «участие» — понятия почти одного ряда; так стоит ли копья ломать? Стоит, еще как стоит! Признать членами партии лиц, не входящих ни в какую партийную организацию (а такова ведь подлинная суть формулировки Мартова),— это значит отказаться от контроля партии. Ссылка же Мартова и его сторонников на то, что наша партия должна стремиться стать партией масс и как можно больше расширить свои пределы, эта эффектная фраза означает лишь одно: распахнуть двери в партию всякого рода оппортунистам...

Вникая в ход обсуждения на съезде этого вопроса, Осип в особенности интересовался тем, кто из делегатов за какую формулировку голосовал. Любопытная при этом выявилась картина. Против предложенной Мартовым формулировки, как он и ожидал, решительно выступило большинство практических работников — кто-кто, а они-то знали, каковы реальные условия для революционной дея-

тельности в России. Тем удивительнее было, что и среди *практиков* нашлись товарищи, которые все же пошли за Мартовым. В чем тут дело? Быть может, есть нюансы, которые Осип упустил в своих рассуждениях?

Был долгий и неожиданно трудный, какой-то нервозный разговор с Ноем Жордания. Опытный работник, один из руководителей кавказских социал-демократов, даже, кажется, редактор тамошней газеты,— крайне любопытно было выяснить его позицию. Дней двадцать назад Осип встретил грузинского товарища на границе, затем, в Берлине уже, посадил его на поезд, отправлявшийся в Брюссель. Жордания был делегатом съезда, но много времени потерял в России, спасаясь от слежки, и вот ехал на съезд с недельным опозданием. Был он много старше Осипа, но держался с юношеской живостью и непосредственностью. Осипу запомнилось: Жордания пылко и восторженно говорил о единстве в партии, которое, он был уверен, наступит после Второго съезда; подробно и с искренним интересом выспрашивал у Осипа, какие пути-дороги привели его в революционное движение, заключив разговор восклицанием, что именно в таком вот постоянном притоке свежей, молодой крови залог вечной молодости и неувядаемости партии (несколько, признаться, и смутил этой последней тирадой Осипа, вполне осознававшего свое, достаточно скромное, место в этом мире).

И вот вторая теперь встреча — после съезда уже. Жордания торопился в Россию, даже и на сутки не пожелал остаться в Берлине, и Осип — благо было у него наготове «окно» на границе — без задержки отправился с ним в Нейштадт. Ехали в двухместном купе первого класса, так что не приходилось опасаться чужих ушей, и вот здесь-то, едва поезд вынырнул из-под застекленной крыши берлинского вокзала, Осип, уже знавший о расколе, происшедшем на съезде, спросил у Жордания, за какую формулировку первого пункта устава отдал тот свой голос...

вернее, имел *неосторожность* спросить, потому как на этот совершенно естественный вопрос последовала, вместо ответа по существу, форменная отповедь. Прежде всего Жордания с необъяснимым раздражением и обидой заявил, что, будучи делегатом с совещательным голосом, не имел возможности принять участие в голосовании. Тут же поспешил прибавить, что если бы ему было предоставлено такое право, то он отдал бы, не задумываясь, свой голос за предложение Мартова.

— Не задумываясь? — переспросил Осип, вовсе не желая поддеть его, без малейшего подвоха, движимый лишь желанием уяснить существо дела.

Жордания смерил Осипа холодным уничтожающим взглядом.

— Да, молодой человек, бывают случаи, когда всякий порядочный человек должен поступать не задумываясь.

На этом разговор, вероятно, и кончился бы, сделай Осип вид, будто удовлетворился этим объяснением. Но он жаждал истины — прежде всего и любой ценой. Он заговорил о единстве партии, столь желанном всеми единстве, которое, как все надеялись, будет на съезде закреплено организационно. Подмывало напомнить Жордания, что и он сам ведь крепко надеялся на это, но, дабы не вносить в разговор добавочной остроты, промолчал. И без того Жордания был на последнем градусе кипения.

— Единство?! — прямо-таки зарычал он.— О чем вы говорите, молодой человек? Единство с кем? С вашим Лениным? С этими... этими?.. — так и не нашел подходящего определения.

«С вашим Лениным» едва ли было случайной обмолвкой. Не имея на то ни малейших оснований, он априори причислил Осипа к сторонникам большинства. Хорошо, пускай считает, как ему будет угодно. Не объяснять же, в самом деле, что Осип и сам-то еще толком не знает, за кого он!..

— И какие же, вы полагаете, преимущества у формулировки Мартова? — спросил он.— Меня это действительно очень интересует.

— Что ж, извольте,— нехотя отозвался Жордания.— Хотя я и подозреваю — не в коня корм...

С самого начала взяв эту просто-таки неприличную, явно высокомерную ноту, он и дальше продолжал в таком же возмутительном тоне. Он не говорил, нет, он снисходительно ронял слова, всем своим видом весьма недвусмысленно демонстрируя, что относится к своему собеседнику не как к равному с ним товарищу по партии, а как к эдакому сосунку-несмышленышу, которого учить да учить, и что лишь по доброте своей душевной тратит на него силы и время. Осип поминутно смирял себя в надежде услышать что-нибудь новое, незатертое. Нет, все то же, уже петое-перепетое: и то, что иной интеллигент, сочувствующий нашим взглядам, может не пожелать войти в организацию, ибо не потерпит над собою контроля (а нужны ли, тут же мысленно возражал Осип, нам люди, которые страшатся партийной дисциплины?); и то, что, чем больше людей назовут себя членами партии, тем выше будет поднято это звание (Осип полагал, что все обстоит как раз наоборот: звание будет только принижено, если всякий болтающий, но не работающий в рамках организации человек станет называть себя членом партии). Напоследок Жордания выдвинул еще один довод, подав его чуть ли не как главный козырь: наконец-то, мол, теперь, после принятия формулировки Мартова, вопрос о членстве в партии решается так же, как в других партиях II Интернационала...

Почему-то именно этот последний аргумент вызвал у Осипа непреодолимое желание возразить — быть может, потому, что здесь было хоть что-то свежее, незатасканное. Судя по всему, Жордания никак не ожидал, что Осип

осмелится перечить ему: метелки бровей круто взмыли вверх, в глазах — неподдельное изумление.

Осип сказал, что пример с партиями в других странах не кажется ему очень уж убедительным. Если у *них* так, отчего непременно и у *нас* должно быть так? Схоластикой сие отдает, не правда ль? Истина всегда конкретна, общий аршин едва ли тут годится. Как сбросить со счетов то, что социал-демократы Европы (ту же Германию хоть взять или Бельгию) работают в совершенно иных, нежели мы, условиях? Их деятельность вполне легальна, представители партии заседают в парламенте. Хорошо это или худо, Осип не берется судить, но факт остается фактом: в этих партиях рядовые социалисты пассивны, партийную работу, по сути, ведут лишь во время выборов в парламент. Строго говоря, любая из этих партий является скорее хорошо отлаженным избирательным аппаратом, приспособленным к парламентской борьбе, чем боевой партией пролетариата. Единственный контроль, существующий здесь,— это уплата членских взносов.

По мере того как Осип говорил, взгляд у Жордания заметно менялся, теперь он был испепеляюще яростен. Но Осип, себе на диво, спокойно выдерживал этот взгляд. Можно ль, продолжал он, чисто механически переносить чей бы то ни было опыт на российскую почву — без учета того хотя бы, что наша партия работает нелегально, в глубоком подполье? Ведь у нас все другое, совсем другое! Мы готовим рабочий класс к борьбе за власть. Задача огромная, исполинская. Выполнить ее можно только в том случае, если каждый член партии всего себя, без остатка, отдает партийной работе — не просто содействует, а участвует, обязательно сам, в этой повседневной, каторжной, с постоянными опасностями связанной работе. Так к чему нам, скажите на милость, люди, которые называют себя членами партии и в то же время не желают подвергаться риску быть арестованными на партийных собраниях, на



демонстрациях, при перевозке и распространении запрещенной литературы, предпочитая преспокойно сидеть себе дома и, в лучшем случае, уплачивать членские взносы? Впрочем, даже ведь и это — платит ли такой, с позволения сказать, член партии взносы — проконтролировать невозможно, потому что, в силу нелегальности, ни партнижек, ни марок, которые вклеивались бы в партнижки, у нас нет и быть не может... опять же в отличие от европейских партий!

Осип понимал, что в полемическом своем запале был, пожалуй, излишне категоричен. Что поделаешь: таковы издержки всякого спора. Но, в любом случае, он высказал Жордания все то, в чем твердо и искренне был убежден. И если честно признаться себе, то в глубине души он был рад, что не стушевался перед более старшим и куда более знающим товарищем, сумел найти нужные слова.

Оставалось теперь подождать, что возразит ему Жордания. Осип не столь был самоуверен, чтобы полагать, что его рассуждения безупречны, единственны. Не исключено, что, при всей убежденности в своей правоте, он был в чем-то неточен, излишне пристрастен. Но нет, ожидания его были напрасны. Жордания обошелся без возражений. Не снизошел. Не удостоил...

Жордания уставился на Осипа с ненавистью глубоко оскорбленного, в самое сердце ужаленного человека. Пауза была долгая, бесконечная.

— Мне жаль,— изволил произнести он наконец,— мне очень жаль, молодой человек, что моя судьба теперь в ваших руках.

Это было уже прямое оскорбление. Осип даже не сразу нашелся что сказать, с добрую минуту потребовалось, чтобы обрести дар речи.

— Уж не считаете ли вы, что я могу сдать вас русским стражникам? — спросил он, давая тем самым

Жордания шанс отступить, сказать, что он, Осип, не так понял его.

Нет, видимо, ничто не могло уже остановить Жордания.

— Да, да, да, именно так я и считаю! — зашелся он.— От вас... от таких молодчиков, как вы, всего можно ожидать, всего!

И с подчеркнутой враждебностью отвернулся к окну. Надо думать, теперь он уже не возлагал никаких добрых надежд на «молодую кровь», вливающуюся в партию...

Больше они не сказали друг другу ни слова. На окраине Нейштадта Осип сдал своего подопечного с рук на руки местному егерю Конраду, который своими, только ему ведомыми контрабандными тропками должен был провести Жордания через границу. Шепнув Конраду, что будет ждать сообщения о благополучном переходе (обычно обходился без этого, тотчас уезжал), Осип сказал громко: «Счастливый путь!»; разумеется, пожелание его относилось не только к Конраду. Конрад ответил: «Все будет хорошо». Жордания молчал; ни руки не протянул, ни кивнул хотя бы.

Это их расставание почему-то особенно не давало покоя, и, покуда дожидался Конрада (тот вернулся часов через пя́ть, с доброй вестью), да и потом, всю обратную дорогу в Берлин (курьерский уже прошел, пришлось добираться на перекладных, в почтовых каретах), Осип, о чем бы ни принуждал себя думать, все равно невольно возвращался мыслью к этой, в сущности, *дикой* сцене прощания. Да нет, он понимал: не в самом даже прощании тут дело. В том ли дело — кивнул, не кивнул? Это как раз мелочь, частность, и, сложись предшествующие обстоятельства по-иному, Осип наверняка не обратил бы на это внимания. Теперь же получалось — Жордания сознательно подводил именно такую черту в их отношениях... Странно, чудовищно! Да и просто не по-людски как-то... Можно

спорить, можно даже разойтись в споре, но — эта вражда, эта ненависть? Эта фанатическая нетерпимость к мнению товарища? Но, быть может, здесь и таится разгадка: для людей, подобных Жордания, всякий, кто расходится с ними во взглядах, уже не товарищ, не равный с ними собрат по партии, а пария, изгой, из всех врагов враг? Похоже, что так оно и есть.

По счастью, это все-таки был очень уж крайний случай, почти исключительный. Споры у Осипа происходили и с другими делегатами съезда, в равной мере и с большевиками и с меньшевиками, споры до хрипоты, но деловые, по главной сути, без личных выпадов, ничто не подрывало прежних товарищеских отношений, так что по здравому размышлению Осип пришел к выводу, что в поведении Жордания проявились не столько убеждения его, сколько особенности бурного кавказского темперамента.

В ряду многих встреч, какие были у Осипа в эти первые послесъездовские дни, в особенности запала ему одна — с Розалией Землячкой; как и других, ее тоже предстояло переправить нелегально в Россию. Молодая хрупкая женщина в пенсне, которое, тот редкий случай, очень шло ей, но в то же время придавало ее миловидному лицу вовсе, как он обнаружил потом, не свойственное ее характеру выражение некоторой заносчивости, неподступности. Так сложилось, что Осипу пришлось целый день пробыть с ней в приграничной деревеньке неподалеку от Ортельсбурга — в ожидании, пока знакомый немецкий контрабандист, взявшийся переправить Землячку в русский город Остроленко, сговорился с подкупленным унтер-офицером российской пограничной стражи о месте и времени перехода границы. День выдался славный — солнечный, но не жаркий. Осип отсиживался с Землячкой в березовой роще, насквозь пропахшей грибами. И разговор у них получился на редкость славный — непринужденный, искренний, ни он, ни она не стремились всенепременно первенст-

вовать в споре. Собственно, и спора-то меж ними не было, при всем том, что на некоторые вещи они смотрели очень даже разно. Да, споров не было ни по единому пункту — просто разговор, если угодно, свободный, без принудительного навязывания своих взглядов, обмен мнениями.

Землячка была делегатом от Одесского комитета партии. В отличие от Осипа, который вконец запутался в хитросплетениях съездовской борьбы и потому невольно оказался в незавидном положении человека, сидящего между двух стульев, Землячка занимала твердую и вполне определенную позицию. На съезде она последовательно шла за Лениным и Плехановым: и при голосовании по первому параграфу устава, когда верх взяли сторонники Мартова, и во время выборов в центральные органы партии, тех решающих выборов, которые и разделили делегатов на большевиков и меньшевиков.

Поскольку Землячка неуклонно держалась линии большевиков, Осипу хотелось именно у нее, из первых, так сказать, рук, узнать, почему она голосовала против старого состава редакции «Искры» и тем самым за выведение из нее Засулич, Аксельрода, Потресова. Затронув щекотливую эту тему, Осип счел необходимым прежде всего высказать свою точку зрения. Он сказал, что если «Искра», отнюдь не единственная партийная газета, была тем не менее признана на съезде, практически единодушно, единственным Центральным органом партии, то в этом факте нельзя не увидеть признания огромных заслуг старой редакции, всей редакции, включая и упомянутых им лиц. Теперь же эта тройка очень уважаемых товарищей как бы объявлена ненужной, лишней, не заслуживающей доверия. Вполне вероятно, сказал еще Осип, что кто-то в бывшей редакции работал больше, кто-то меньше, кто-то совсем мало, но, по совести говоря, мне решительно нет до этого дела, я воспринимал «Искру» как единое, монолитное целое, и это *целое* было прекрасно, так зачем же

понадобилось резать по живому? И как можно было не посчитаться с тем, что вся эта вивисекция выглядит как прямое оскорбление известных, заслуженных деятелей партии?

Внимательно выслушав Осипа, Землячка с минуту собиралась с мыслями, потом спокойно заметила, что Осип, по-видимому сам не ведая того, привел все те доводы, которые выставляли на съезде противники реорганизации старой редакции. Ничего удивительного, добавила она, у каждой позиции своя логика. Поэтому и она позволит себе лишь повторить то, что говорилось в ответ на подобные аргументы сторонниками нового, уменьшенного состава редакции. Прежде всего, если при каждом выборе должностных лиц руководствоваться не интересами дела, а тем лишь, не обидится ли Петров, что выбрали не его, а Иванова, это значит скатиться до чисто обывательского взгляда на партийные дела. И в самом деле, не можем же мы узаконить в партии пожизненные, чуть ли не династические, синекуры... Далее, признавая огромные заслуги «Искры» в консолидации партийных сил, бесспорность ее руководящей роли в жизни партии, необходимо трезво учитывать, каким образом достигнуты такие результаты — благодаря ли тому, что в составе ее редакции было шесть человек, даже и территориально находившихся в разных странах Европы, или же несмотря на это, вопреки такому, едва ли нормальному положению? И если верно последнее, то имеем ли мы право уклоняться от возможности сделать редакцию центрального партийного органа еще более действенной и мобильной?

Резоны Землячки были разумны, и Осип охотно согласился бы с ней (с тем большей охотой, что межеумочное его положение тяжкой уже гирей висело на ногах), да, с превеликой радостью признал бы правоту сторонников большинства, если бы все эти стройные логические выкладки могли пересилить прочно сидевшее в нем ощуще-

ние, что по отношению к Потресову и особенно к Засулич и Аксельроду все же совершена какая-то несправедливость. Наперекор доводам разума (которым, казалось, трудно было что-либо противопоставить) он полагал тем не менее, что бывают случаи, когда из правила могут быть сделаны исключения: речь ведь идет о старейших революционерах, здесь надобен особый, вернее, особо деликатный подход...

Нет, этого своего возражения он не высказал Землячке, потому что она опять сможет сказать, что такое исключение, будь оно сделано, как раз и означает уступку *династичности* и не имеет значения, что именно принимается здесь во внимание — древность рода, знатность или, как в данном случае, былые заслуги.

Осип молчал, обдумывая все это; его собеседница тоже молчала, задумавшись, как видно, о своем, и он был искренне признателен ей, что она не торопит с ответом, не требует от него обязательного согласия. При этом он непоколебимо был уверен, что, даже и при полном его несогласии с нею, она и тогда не встанет в позу глубоко оскорбленного неприятием своих взглядов человека... Только теперь Осип осознал, что, в сущности, воспринимал Землячку и весь этот их разговор с невольной оглядкой на Жордания: все боялся встретить ту же крайнюю нетерпимость и враждебность.

Едва Осип подумал о Жордания, как, по странной прихоти разговора, Землячка сама вдруг завела речь о нем. Имя его возникло в связи с высказанной ею мыслью о том, что к Мартову — в решающий момент выбора в редакцию — примкнули преимущественно люди, которые по тем или иным причинам сочли себя «обиженными». Жордания, например, сказала она; достаточно было большинству съезда высказаться за упразднение ряда региональных газет, в том числе армяно-грузинской газеты, которую редактировал Жордания, как он, ударившись в обиду, тот-

час перекинулся к меньшевикам, выказывая себя при этом куда большим мартовцем, нежели сам Мартов; в последнем, впрочем, нет ничего удивительного: обычный маневр тех, кто хочет скрыть истинную подоплеку своих поступков. Это-то, заключила Землячка, самое и неприятное: что обнаружились люди, способные действовать не по убеждению, а из личной, сиюминутной корысти, что для таких людей уязвленное самолюбие оказывается превыше всего, превыше даже принципов, которые они с необыкновенной легкостью готовы пустить с молотка...

Многое, очень многое разъяснялось теперь в поведении Жордания. То, о чем прежде Осип лишь смутно догадывался, обрело вдруг отчетливую ясность. Да так оно и должно было быть: человек, сознательно пошедший на сделку с совестью, изо всех сил и любым способом старается доказать всему миру свою правоту. Больше того, такому человеку совершенно необходимо, чтобы окружающие всенепременно вторили ему, поддакивали, и любое несогласие с собою он встречает с удвоенной яростью и даже с ненавистью,— своеобразная самозащита... И ведь что особо примечательно: несмотря на апломб, с которым держался Жордания, на невероятную его самонадеянность, все равно угадывалась в нем внутренняя неуверенность,— не этим ли и объясняется его чрезмерная воинственность?

Осип было уже утвердился в этом своем выводе, как вдруг мысли его приняли совершенно новый поворот. Оценка мотивов поведения Жордания, поначалу вполне удовлетворившая Осипа, показалась вдруг неоправданно суровой. А ну как он несправедлив в своих предположениях? Право же, слишком уж легко все у него сходится: знает, мол, Жордания, хорошо знает, что неправ, оттого и ярится, вдвойне неистовствует. Что-то здесь не так, сильно смахивает на подгон задачки под заранее известный ответ. Если взглянуть на вещи здраво, непредубеж-

дено, то... Да, стоит предположить, что человек искренне верит в свою правоту, и сразу становится таким понятным и естественным его стремление перелить эту веру в других, всех и каждого сделать своими союзниками и единомышленниками; даже и яростная нетерпимость объяснима в подобном случае. И еще неизвестно, что предпочтительнее: преизбыток воинственности у Жордания или же граничащие с безразличием спокойствие и бестрепетность Землячки?

Осип не утерпел и спросил у Землячки, отчего она не прилагает ни малейших усилий, чтобы завербовать его в свои сторонники... Землячка рассмеялась:

— Все очень просто. Мне не нравится это ваше словечко — «завербовать». Каждый человек, я в этом абсолютно убеждена, должен до всего доходить своим умом. Только тогда он будет тверд в своих убеждениях. Вы со мною, товарищ Пятница, не согласны?

Осип отметил, что это был ее первый вопрос, заданный вот так, в упор. Ответить хотелось честно, без увиливания. Собственно, ему совсем и нетрудно было ответить ей, и именно согласием ответить: недаром же все в нем так восставало против нажима Жордания! Он мог бы еще и прибавить, что люди, принимающие решение не по собственному свободному выбору, а подчиняясь чужой воле, очень легко становятся отступниками, перебежчиками, для них, как правило, ничто не свято; лучше уж иметь дело с открытыми противниками, чем с такими вот калифами на час... Но говорить это вслух как-то неловко было, невольно получалось, что тем самым он не только оправдывает свои колебания, а как бы возводит их даже в особую доблесть. Поэтому он ограничился коротким: «Да, вы правы» — и перевел разговор на неотложное — проверил, хорошо ли она запомнила пароль и явку в Остроленко, первом русском городке, куда она попадет после перехода границы...

3

Раскол, происшедший на съезде, никак не отразился на делах берлинской транспортной группы. Ни на день не прерывалась отправка партийной литературы в Россию — то главное, ради чего существовала группа. Хотя общее поветрие — разделяться, объединяться — не миновало и «берлинцев»: Гальперин стал большевиком, Вечеслов объявил себя меньшевиком, а Осип, как, впрочем, и многие другие, не пристал еще ни к какому берегу. Несмотря на это, все они дружно продолжали работать в одной упряжке. А не это ли самое важное? Какая, в конце концов, разница, кто и как себя называет, лишь бы дело не страдало!

Временами Осипу казалось, что и вообще споры между *теми* и *этими* все больше стали походить на школярские упражнения в риторике, подчас не улавливался уже и самый предмет спора, в речах появлялось слишком много наносного, чисто головного, уводящего в сторону от сердцевины разногласий. Это ободряло несколько, ибо вселяло надежду, что эти разногласия — перед лицом общего дела — неизбежно отойдут, отомрут, изживут сами себя. Поэтому, когда в начале октября пришел вызов в Женеву, на съезд Заграничной лиги русской революционной социал-демократии, Осип решил, что так оно, верно, и есть — дело идет к замирению; а то к чему бы и собирать эту Лигу, которая пока что ничем существенным еще не проявила себя?

Вместе с Осипом в Женеву отправились Гальперин и Вечеслов.

По приезде Осип первым делом наведался к Блюменфельду: очень дорогой и, бесспорно, самый близкий ему человек; еще в Лукьяновке они стали на «ты», но и поныне Осип относился к нему с обожанием верного ученика. Обнялись, расцеловались — все как полагается; судя по всему, Блюм тоже был рад встрече.

— Видишь, Юлий,— обратился он к бывшему здесь же, в маленькой его комнате, Мартову,— видишь, нашего полку все прибывает!

— Вот как? — отозвался Мартов.— Приятно слышать.— И с неожиданной для столь щуплого человека силой пожал Осипу руку.

Осип испытывал некоторую неловкость: Блюм и Мартов явно числят его в своих сторонниках. Не преждевременно ли? Надо бы тотчас же, не откладывая, разъяснить свою позицию... Но пока собирался с мыслями, пока подыскивал нужные слова, Мартов уверенно взял уже разговор в свои руки.

— Это и в самом деле прекрасно, что вы с нами,— говорил он, попыхивая папироской.— Вполне может случиться и так, что у нас и у Ленина с Плехановым будет поровну представителей, и тогда как раз ваш именно голос может склонить чашу весов в нашу пользу...

Тут уж никак медлить нельзя было. Осип воспользовался первой же паузой, сказал:

— Слишком сложная обстановка. Я еще не до конца разобрался.

— Осип...— предостерегающе, как бы останавливая его, проговорил Блюм.

Но Осип не на него — на Мартова смотрел: тот быстрым жестом почему-то скинул пенсне с переносицы, отчего взгляд его, как всегда у близоруких, стал беспомощным и кротким. Невидяще глядя на Осипа, он сказал:

— Вот как? И что же — крайне любопытно узнать — вам непонятно?

Тон его не понравился Осипу, не просто недовольство было в нем — еще и надменная нотка улавливалась. Длить разговор в подобном духе? Нет, увольте...

— Об этом как-нибудь в другой раз. Я только-только с дороги.

Но от Мартова не так легко было отступиться.

— Одно другому не помеха,— упорно гнул он свое.— Вы напрасно делаете секрет из своих сомнений. Я в два счета сумею рассеять их, ручаюсь!

Спасибо Блюму, выручил:

— Юлий, да оставь ты его в покое,— дружеским тоном сказал он.— У Осипа хорошая голова, он и сам прекрасно во всем разберется.

— Что ж,— произнес Мартов и, ни слова не сказав больше, ушел из комнаты.

— Он здесь же живет,— почему-то счел нужным сообщить Блюм.— Соседняя дверь. Да,— чуть помедлив, прибавил он,— Юлия прямо не узнать. Комок нервов! Да и то подумать: какая ответственность на нем...— Оборвал себя: — Нет, нет, о делах потом, ты прав. Лучше расскажи, как тебе живется в Берлине. Жаль, что нас разбросало по белу свету. Знаешь, я часто вспоминаю Лукьяновку, не поверишь, с теплотой вспоминаю! Как все мы дружны были... И думали одинаково, и чувствовали. Истинное братство, верно ведь? А сейчас не сразу и поймешь, кто друг, кто враг. Мы ведем себя, как богатые наследники, которые никак не могут поделить отцовское добро. Меньшевики, большевики — дико, непонятно! Вместо того чтобы делом заниматься, ведем междоусобицу. Уже и разговаривать-то по-человечески разучились, только одно и умеем — спорить до хрипоты. Встретил давеча Баумана — он тоже здесь, в Женеве,— и что же ты думаешь? Чужой, совсем чужой человек. Представляешь, он ведь большевиком заделался, Бауман! Такой приличный был человек — и вот на тебе...

— Блюм, да можно ль так? — чуть не взмолился Осип.— Ты забыл, что я тоже очень хорошо знаю Баумана. Допускаю, что можно разойтись с ним во мнениях, но зачем так-то уж чернить его?

— Хорошо, я молчу! — воскликнул Блюм.— Но не сомневаюсь, что через день-два, когда ты сам убедишься,

что это за публика, большевики, ты еще и не так говорить начнешь...

В этот момент в Блюменфельде с особой отчетливостью проглянуло нечто *жорданиевское* — тот же бранный лексикон, те же попытки поставить под сомнение даже и нравственные качества своих недавних друзей. Осип не узнавал Блюма; куда подевались его мягкость, терпимость, мудрость, наконец? Обнаружить такую крутую перемену в родном тебе человеке — вдвойне, втройне неприятно. Одно из двух: или Осип ничего не понимает в происходящем, или все они тут в Женеве попросту посходили с ума!

Нет, все же оказалось, что и в Женеве есть здравомыслящие люди, способные трезво взглянуть на вещи. Наутро Осип повидался с Бауманом. Памятуя о вчерашнем недоразумении, когда Мартов и Блюм прямо с порога приняли его за «своего», и о неловкости, возникшей вслед за этим, Осип счел для себя обязательным первым делом сообщить Бауману, что он, так уж получилось, пока что *ничей*. Серые глаза Баумана тотчас вспыхнули веселым светом.

— У, да ты, брат, в своем роде уникум! — загудел он.— Можно поручиться, что ты здесь единственный, кто сохранил святую невинность. Нет, я не в осуждение. Остаться в стороне от всей этой свары — тут, как я понимаю, тоже немалое мужество требуется.

— О чем ты! — отмахнулся Осип.— Просто заблудился в трех соснах.

— Не мудрено. Тут не три сосны — лес дремучий! Ты когда приехал, вчера? Кого-нибудь успел повидать?

— Блюма, Мартова.

— Что, даже и они не сумели тебя обратать? — с шутливым изумлением воскликнул Бауман.

— Даже и они,— в тон ему ответил Осип.

— Уникум, точно! — с улыбкой заключил Бауман.

Непонятно отчего, но с Бауманом Осипу было легко. Действительно загадочное нечто; добро бы этот человек «подыгрывал» Осипу, исключительно по шерстке гладил,— так ведь нет, насмехается вволю, язвит, а все равно обиды на него ни малейшей. Поначалу на ум пришло простейшее: такой уж он человек, Николай Бауман,— легкий в общении, незлобивый, ясный; не случайно же, стоит ему появиться, и сразу устанавливается какое-то особое дружелюбие. Так-то оно так, но сейчас такое объяснение все же мало подходит. Не то чтобы оно было неверным, просто оно недостаточно, лишь поверху скользит, не задевая истинного, глубинного.

Тогда, словно б на пробу, явилась другая мысль: не оттого ль встреча с Блюмом так тяжко подействовала, что с ним Осип был куда более дружен, чем с Бауманом? Давно ведь известно, что ни к кому мы не относимся с таким *спросом*, как к самым близким нам людям; малейшая их промашка, оплошность, любой неверный шаг ранят особенно чувствительно,— тут и впрямь всякое лыко в строку. Было досадно вдруг обнаружить в своем учителе, в каждом слове которого привык видеть безусловную истину, эту вот его узость, односторонность; отсюда неприятный осадок, натянутость, чувство томительной скованности, не покидавшее Осипа во весь их с Блюмом давешний разговор.

Но и опять — при всем понимании того, что в последних его рассуждениях касательно Блюма много верного, здравого,— не было ощущения, что это и есть разгадка. Она где-то здесь, совсем рядом, не хватает только какого-то конечного звена, а оно-то, как назло, и не дается в руки, ускользает. Но вот Бауман вновь заговорил, заговорил о главном — о раздоре, о расколе, заговорил резко, без видимой связи с предыдущим:

— Я понимаю, борьба есть борьба, но опускаться, как это делают *они*, до поножовщины? Шельмуют, клевещут,—

скажи, вот ты нейтральный человек, допустимы ли в честной борьбе такие штучки? Либо мы серьезные работники, действительно борцы, либо замоскворецкие купчихи, для которых главная услада — перемывать косточки друг дружке...

Вот в чем разница, в этот именно момент понял Осип, разница между Бауманом и Блюменфельдом. Блюм с Мартовым настолько уж уверовали в то, будто он, Осип, должен быть на стороне меньшинства, похоже, не допускают и мысли, что у него может быть хоть в чем-то свой, не такой, как у них, взгляд на вещи; отсюда их обида, раздражение — у Мартова явно, у Блюма чуть завуалированно. Что же до Баумана, то он принимает Осипа таким, какой он есть; и это не от безразличия; надо думать, Бауман тоже предпочел бы, чтобы как можно больше людей (в данном случае он, Осип) разделяло его позицию, но это не мешает ему без предвзятости относиться к своему товарищу. В сущности, такая ведь малость — считаться с мнением и сомнениями другого человека.

— Стыд сказать, до чего дело доходит! — все более горячился Бауман.— Вся эта позорная история с созывом Лиги. Не стану сейчас касаться того, насколько это вообще правомерно — превращать Заграничную лигу, существующую на правах одного из комитетов, которые работают под руководством и контролем ЦК, в некий верховный, не только над ЦК, но даже над съездом партии стоящий орган. В конце концов, не столь уж важно, на какой почве собраться и обсудить свои разногласия. Но — приемы, к каким приемам прибегает меньшинство, чтобы обеспечить себе численный перевес на съезде Лиги! Взяв на себя инициативу по вызову членов Лиги в Женеву, они, как выяснилось, нарочно не известили о созыве съезда очень многих сторонников большинства, между тем как своих сторонников вызывали даже из Англии...

— Ну, это уже безобразие,— сказал Осип.— Нужно протестовать.

— Мы и протестуем,— ответил Бауман, показав на лист бумаги, лежавший на столе.— Заявление вот написали, в бюро Лиги. Требуем вызова всех членов Лиги, без исключения. Да толку-то! Люди побросали все свои дела, приехали кто откуда — не ждать же им теперь, пока остальные съедутся. Нет, заявлению этому все равно, конечно, дадим ход: единственный способ довести до сведения съезда, каким образом Мартов и его друзья пытаются создать себе механическое большинство.

Осип потянулся к столу:

— Разреши, я прочту это.

— Бога ради.

В заявлении было то самое, о чем только что говорил Бауман. Ниже текста было три подписи: Бауман, Гальперин, Воровский. Осип ждал, что Бауман и ему предложит подписать. Нет, не предложил.

— Не возражаешь, если я тоже поставлю свою подпись? — спросил Осип, вполне допуская, что ответ не обязательно должен быть утвердительным: не исключено, что Бауман сочтет для себя неприемлемым соседство своего имени с именем человека, который уже завтра, быть может, окажется в числе противников. К тому и шло, похоже: нахмурившись вдруг, Бауман не слишком-то добро посмотрел на него. Но сказал другое, чего Осип совсем не ждал.

— Вот что, Осип,— сказал он.— О таких вещах, по-моему, не спрашивают. Либо подписывают, либо нет.

Да, он прав, сказал себе Осип; о таких вещах не спрашивают, мог бы и сам догадаться. Он обмакнул ручку в чернила и старательно вывел *Пятница*, нынешнее свое имя, к которому сам еще толком не успел привыкнуть; буковки получились корявые, детские.

Осип с добрый час еще пробыл у Баумана. Разговор свободно перекидывался с одного на другое, но, по извечной российской привычке, все равно возвращался к наболевшему — к так неожиданно возникшим и все усиливающимся раздорам внутри партии; впрочем, особо далеко и не отлетал от этой темы. Как и прежде, говорил по преимуществу Бауман; ничего удивительного: живя в Женеве, он, конечно, куда больше был осведомлен о происходящих событиях.

К шести часам Осип отправился к Блюменфельду: накануне договорились, что вместе проведут нынешний вечер. Осип решил выяснить, как это могло случиться, что не все сторонники большинства приглашены на съезд Лиги; хотелось верить, что это результат чьей-то незлонамеренной оплошности, которая тотчас будет исправлена.

У Блюма были Мартов и Федор Дан, которого Осип не так давно принимал на русской границе, а потом провожал сюда, в Женеву. Еще на лестнице Осип слышал громкие их голоса, но стоило ему войти, как в комнате воцарилась тишина, та особая, неловкая тишина, из которой нетрудно заключить, что ты помешал важному, но не для твоих ушей предназначенному разговору. Дурацкое положение: не знаешь, как поступить, не знаешь, что сказать.

— Я не вовремя? — обращаясь к Блюму, сказал Осип.

— Слушай, Осип,— не ответив на его вопрос и почему-то не глядя на него, сказал Блюм.— Это правда, что ты подписал какой-то там протест большевиков?

Дан опередил Осипа:

— Я собственными глазами видел его подпись!

— Да,— стараясь держаться спокойно, сказал Осип,— я подписал этот протест. Подписал, потому что считаю...

Не дослушав его, Мартов спросил негромко и печально:

— Стало быть, Осип, вы решили примкнуть к так называемым большевикам?

— Я думаю, вовсе не обязательно быть большевиком, чтобы добиваться справедливости.

— Вот как? Вы полагаете, что именно вы знаете, что справедливо, а что нет?

— Разве не для того собирается Лига, чтобы выяснить мнение всех своих членов по поводу возникших разногласий? А если это так, то возможно ль вызывать на съезд одних и не вызывать других? Что-то тут не так, друзья.

— Друзья? — люто разозлился почему-то Дан.— И вы смеете после *этого* называть нас «друзья»?!

Черт побери, подумал Осип, они упорно ставят меня в положение человека, который должен в чем-то оправдываться. Тут же решил твердо: нет, не будет этого; решительно не в чем мне оправдываться!

— Я вот что хотел бы узнать,— сказал он.— Как могло случиться, что не все члены Лиги приглашены на съезд?

Мертвая пауза повисла. И не понять было: то ли сам вопрос этот показался им оскорбительным, то ли просто они не желали снизойти до объяснения; скорей всего и то было и это.

Блюм был настроен (Осип все время чувствовал это) миролюбивее тех двоих. Вот и сейчас он сделал попытку несколько разрядить обстановку. Он сказал — почти спокойно, во всяком случае без желания «пригвоздить»:

— Честно говоря, я так и не понял, с кем же ты, Осип: с нами, с ними?

Опять Дан забежал вперед!

— Нелепо спрашивать, и без того ясно! — все в том же вызывающем тоне сказал он.— Человек, подписавший эту кляузу, не может не быть с *ними*!

— Чушь! —Осип тоже невольно повысил голос.— Если я и буду с ними, то вовсе не потому, что подписал протест.

— Существует логика борьбы: или — или...— отстра-

ненно, как если бы дал справку, произнес Мартов.

— Вот, вот! — все больше накаляясь, подхватил Дан.— О том и речь: коготок увяз — тут уж и всей птичке пропасть!

Уж как хотелось Осипу бросить ему в ответ что-нибудь резкое, отрезвляющее... Но переломил себя, удержался: базарная перебранка ведь получится. Да и вряд ли есть на свете силы, способные охладить сейчас этого человека; поди, того только и добивается — вызвать его, Осипа, на скандал... Ох уж этот Дан! Ладно, не стоит обращать внимания.

— Одного не могу взять в толк,— помолчав, сказал Осип.— Почему все вы отказываете мне в праве самому сделать выбор?

Мартов резко повернул голову и как-то по-новому посмотрел на него: с удивлением, но и с заинтересованностью; кажется, впервые с несомненной и искренней заинтересованностью.

— Нет, отчего же,— близоруко щуря глаза, в задумчивости проговорил он.— Каждый имеет на это право. Речь о другом: насколько осознан ваш выбор.

И снова Дан; но и у него переменился теперь тон (по примеру Мартова, не иначе) — сама благожелательность, куда и драчливость вся его подевалась...

— Да, да, в этом все дело: насколько осознан. Не скрою, лично меня, Осип, прямо-таки обескураживает та скоропалительность, с какой вы приняли столь ответственное решение. Я помню наши недавние разговоры в Берлине, отлично помню вашу растерянность, колебания. Всего три недели прошло. Не слишком ли быстро вы определились?

— Но ведь у вас, Федор,— пришлось, ничего не поделаешь, напомнить Дану,— было еще меньше времени для размышлений, меньше, чем у меня. Я тоже очень хорошо помню, что до встречи со мной вы вообще не знали о раз-

ногласиях на съезде. Тем не менее — в отличие от меня — вы-то уж точно определились...

Говоря все это, Осип вполне отдавал себе отчет, что такое напоминание опять может привести Дана в неистовство. Но нет, не угадал (к радости своей); вспышки не последовало. Более того, как ни удивительно, но Дан заметно смешался даже и тоном оправдания стал пространно объяснять, отчего ему так легко и просто было сделать свой выбор: он-де давно уже держался определенного плана построения партии в России, так что требовалось только установить, кто проводил этот план на съезде; оказалось, что Мартов, поэтому-то он с Мартовым и всеми теми, кого называют теперь меньшевиками.

Нельзя сказать, чтобы резоны, выставленные Даном в свое оправдание, показались Осипу очень убедительными. Он имел что возразить Дану; мог бы, к примеру, сказать, что тоже придерживается определенных принципов построения партии, и притом именно тех, какие выдвинуты большинством; но вместе с тем видит и другое — всю сложность и неоднозначность возникших разногласий,— оттого-то и не полагает себя вправе (покуда не уяснит себе все нюансы) спешить с окончательным решением. Но скажи об этом вслух — могут неверно понять; со стороны оно и вправду нехорошо: вроде бы выпячивается, в пример себя ставит; а чем тут, скажите на милость, хвастать, чем гордиться — нерешительностью разве? И как знать, не больше ли прав Дан, который во имя главного, или во имя того, что ему ближе, бестрепетно отсекает все «нюансы»?

Дан ждал ответа; и Мартов, и Блюм. Хочешь не хочешь, а что-нибудь сказать да нужно. Нет, не «что-нибудь»: нечто такое, что внесет полную ясность в наши отношения.

— Я хочу быть верно понятым,— сказал он после некоторого раздумья.— Не нужно подозревать меня в том,

будто я что-то скрываю. Если я говорю, что еще не определился, то это так и есть. Прекрасно понимаю, что ничего хорошего в этом нет, но тут уж ничего не поделаешь. Что до организационной структуры партии, то должен честно сказать, что мне ближе та, которую выдвигают большевики. С другой стороны, я, как и вы, стою за сохранение редакции «Искры» в прежнем, досъездовском составе.

С вниманием выслушав его, Мартов сказал:

— Тем более — коль скоро вы находитесь на перепутье — не следовало ставить свою подпись под заявлением большевиков.

— Заявление касается частного вопроса,— возразил Осип,— и, подписав его, я не связывал себя никакими обязательствами...

— Друзья,— предложил вдруг Блюм,— пойдемте-ка к озеру, погуляем. А то накурили — хоть топор вешай!

— Нет, я не смогу,— сказал Мартов.— Жду Дейча.

Дан тоже отказался от прогулки, и само собой вышло так, что к озеру отправились лишь Осип и Блюм. По совести, Осип был даже рад этому: отбиваться сразу от троих — тяжкий труд все же; вот только теперь, оставшись с Блюмом наедине, и можно будет поговорить без всех этих изворотов. То, как Блюм держал себя во время разговора (не нападал, еще и гасил огонь), в особенности давало надежду, что он поймет все как надо, не исключено, и присоветует что-нибудь дельное.

— Ты видел, я не вмешивался в ваши споры,— сказал Блюм, когда они вышли на берег озера, затянутого в этот предвечерний час туманной дымкой.

— Да,— сказал Осип.— Ты мне очень помог этим.

— Хочешь выслушать теперь и мое мнение?

— О чем ты спрашиваешь!

— Я считаю, что они правы. Даже Дан — при всей его взвинченности, которую я, конечно, не одобряю. Скажу все как есть, только, пожалуйста, не обижайся: уж не

знаю, кто там постарался, но тебя обвели вокруг пальца, заманили в ловушку, и ты это сам хорошо понимаешь и только из глупого мальчишеского самолюбия делаешь вид, будто не понимаешь. Дело, Осип, обстоит серьезно. Серьезнее, чем ты думаешь. Протест большевиков отнюдь не невинная бумажка, и одно то, что под ним стоит твоя подпись, может лечь несмываемым пятном на твою политическую репутацию. Я уж не говорю о том, что сказавши «а», ты вынужден будешь и дальше продолжать в том же духе. Я вижу для тебя лишь один выход: уничтожить это «а». Да, да, Осип, не делай большие глаза: забрать свою подпись обратно!

Вот оно что, с болью подумал Осип. Вовсе, выходит, не случайно Мартов и Дан отказались от этой прогулки: сочли, что в одиночку Блюм скорее добьется желаемого. И самое непереносимое — Блюм, именно Блюм, взялся сделать то, чего не решались сделать они; на что даже они не решились...

— Нет,— чуть замедлив шаг, сказал Осип,— я не заберу свою подпись.

— Вот, значит, как глубоко ты завяз! — с горечью воскликнул Блюм.

Осип промолчал; слишком резкие слова были на языке; даже теперь он не мог переступить через свое отношение к Блюму как к учителю, а не только как к другу.

— Признаться, я думал, что ты повзрослел,— продолжал Блюм.— Ан нет: как был мальчишка — так им и остался.

— Лихо! — сказал Осип.— Стоит согласиться с тобой, как я тотчас перестану быть мальчишкой, так?

Блюм оставил без внимания его вопрос.

— Ты не понимаешь, что происходит вокруг. Большевики ввели тебя в заблуждение относительно своих целей. Главное их стремление (чего ты не уловил) — превратить

партию в узкую секту для избранных, куда входили бы лишь послушные им агенты ЦК...

Блюм говорил заведомую неправду, совсем другого хотели большевики — оградить партию от празднoболтающих бездельников; но вдаваться сейчас в частную полемику явно не стоило: уведет в сторону. Осип сказал:

— Блюм, ты напрасно тратишь время. Я не откажусь от подписи.

Выждав немного, Блюм заговорил совсем иначе:

— Может быть, по-своему ты и прав, не знаю. Тогда есть другой выход, более простой: ты не будешь участвовать в съезде Лиги. Любой благовидный предлог. Болезнь, скажем... Это, по крайней мере, удержит тебя от опрометчивого шага, в котором бы ты потом раскаивался всю жизнь.

— Ты предлагаешь невозможное.

— Пожалуй, ты опять прав. Находиться в Женеве и не прийти на съезд — это и впрямь нескладно придумалось. Лишние разговоры вызовет. Лучше так: ты куда-нибудь уедешь, ну хоть в Америку, я могу устроить.

Это было нечто совсем уже беспардонное!

— Навсегда? — закипая неудержной злостью, спросил Осип.— Я говорю: навсегда, что ли, уехать в эту твою Америку?

— Нет, зачем же. Пока окончательно не разберешься в происходящем... Не упрямься, Осип. Поверь, мною движет лишь забота о тебе.

— Позволь усомниться в этом.

— Я ведь могу и обидеться... У тебя нет оснований говорить так.

— Есть основания, Блюм. К сожалению, есть. Сдается мне, что тебя — и Мартова, и Дана, и всех твоих! — гораздо больше заботит другое: не отдам ли я на съезде свой голос большевикам?

— Разумеется, это тоже мне небезразлично. Потерять

друга — право же, невелика радость! Нет, Осип, положительно с тобой что-то происходит. Ты всегда доверял мне, верил...

— Да, верил. Скажу больше: может быть, я никому так не обязан, как тебе. Ты многому научил меня, но главное — не кривить душой. Возможно, я чересчур старательно усвоил твои уроки, но они пришлись по мне, и поступаться совестью я не стану — даже ради тебя, Блюм. Вы не единомышленника ищете во мне, нет, вам одно только нужно — чтобы я поднял за вас руку...

— Ну, как знаешь,— через силу выговорил Блюм.— Была бы, как говорится, честь предложена...

На том их разговор, однако, не закончился. Блюм зачем-то говорил еще о том, что, в сущности, произошла нелепая путаница и большевиками, по справедливости, следовало б называть *нас*, ибо при вотировании первого параграфа устава именно *мы* получили большинство и лишь при выборах центральных органов недобрали несколько голосов (говорил об этом с такой страстью и убежденностью, как будто в этих как раз словах — большевики, меньшевики — была вся суть); потом произносил какие-то жалкие тирады о человеческой неблагодарности, о том, что бессмысленно делать добро людям. Надо полагать, Блюмом двигало не просто желание выговориться; по-видимому, он ждал, что Осип не сможет не откликнуться на его весьма прозрачные упреки и, задетый за живое, хоть таким образом втянется в новый виток разговора. Но Осип сыт был всеми этими спорами. Должно быть, поняв это, Блюменфельд сразу утратил интерес к прогулке вокруг озера.

— Мне пора возвращаться,— сказал он вдруг, даже не сочтя нужным хоть как-то оправдать неожиданный свой уход.

Круто повернувшись, зашагал прочь.

Не попрощался.

Не пригласил заходить к себе.
Не назначил новую встречу.
Что ж...

4

Съезд Заграничной лиги открылся 13 октября 1903 года. К этому времени вполне уже определился состав его участников: 18 меньшевиков и 14 сторонников большинства. Таким образом, голос Осипа — чью бы сторону он ни принял — ничего не решал. Это обстоятельство, казалось бы, существенно облегчало положение Осипа: в конце концов, не обязательно непременно быть «за» или «против», можно и воздержаться. Но нет, на это он пойти не мог: слишком уж легкий был бы выход и не очень честный — прежде всего перед самим собой. Уклониться от выбора, когда, быть может, решается судьба партии,— малодостойное занятие.

Осип стал избегать встреч с товарищами. Хватит разговоров, за которыми, если хорошенько вникнуть, лишь одно стоит — подспудное желание переложить свои заботы на чужие плечи, наивная надежда на то, что кто-то другой — более, что ли, умный, более осведомленный — все распутает, внесет ясность. Нет, шутишь, никто за тебя ничего не решит.

С утра пораньше уходил на озеро: в прилегающих к нему рощицах были совсем безлюдные уголки. Но и полная уединенность не помогала; так неумелый пловец, сколько ни затрачивает усилий, все барахтается беспомощно на одном месте. Спустя день или два понял, однако, важное: он слишком погружен в *сегодняшнее*. Вместо того чтобы сосредоточиться на главном, начинает вдруг думать о Блюме, о Мартове, о том тяжелом осадке, который остался на душе от последней встречи с ними, и о том, что именно поэтому следует теперь опасаться быть

несправедливым к ним; но затем, едва утвердившись в этой мысли, тут же осознавал, что из-за этого своего опасения быть к ним несправедливым легко может впасть в другую крайность, а это неизбежно обернется заведомой несправедливостью по отношению к их оппонентам. Да, понял он, нужно подняться над злобой дня, отринуть все преходящее, минутное, забыть и о личной причастности к событиям; нужно постараться взглянуть на все сущее как бы из другого, на много лет вперед отодвинутого времени. Ведь и действительно: минет время, годы и годы, нынешние обстоятельства сами собой освободятся от шелухи и шлака, и отойдут, станут ненужными все житейские мелочи, все наносное уйдет, и останется только суть дела, только существенное, несмываемое, своего рода математическая формула, иероглиф, свободный от человеческих пристрастий голый знак: либо плюс, либо минус...

Итак, рассуждал Осип, что же останется и через годы?

Первое, на что захотелось взглянуть с этой новой высоты, были выборы на съезде партии нового состава редакции. Что меня смущает здесь? То, что не вся редакционная шестерка избрана вновь; то, что трое из прежнего состава — Засулич, Аксельрод, Потресов — оказались за бортом: люди почтенные, с заслугами. Ну а теперь отрешимся на время от того, кто именно не был избран; поставим вопрос по-другому: имел ли съезд право на уменьшение редакции до трех человек и на персональную переборку ее состава? Вопрос, разумеется, чисто риторический, ответ на него может быть только утвердительный. И вот что в особенности показательно: ведь ни у кого даже и тени недоумения не возникло, когда вместо девяти членов Организационного комитета на съезде был избран Центральный Комитет в составе трех человек. Так отчего же в одном случае Мартов и его сторонники охотно согласились с изменением состава, а в другом — не

побоялись пойти даже на скандал, лишь бы сохранить редакцию в неприкосновенности? Где логика? Где последовательность? Принципиальность, наконец? И еще: как случилось, что и он, Осип, столь длительное время находился в плену предвзятого мнения?

Конечно, он радовался тому, что хотя бы сейчас, пусть и нечаянно, набрел на верную мысль; но и досада была — что *нечаянно*, что мог ведь и дальше блуждать в потемках...

Впрочем, запоздалые эти угрызения были сущие пустяки в сравнении с достигнутым, чистое уже самоедство, умерить которое не составило большого труда. Как бы там ни было, а на первое заседание Лиги Осип шел с легкой душой, с той освобожденностью и раскованностью, которая точнее любых доводов разума говорила о правильности принятого им решения.

Перед самым началом съезда произошел маленький эпизод. Первый, кого Осип увидел, войдя с улицы в полутемный коридор, был Блюм. Отделившись от группы курильщиков, Блюм быстрым шагом направился к нему.

— Ба, Осип! — Крепко пожал руку.— Ты не уехал?

— Как видишь.

— Куда ж ты запропастился? Я тебя вчера весь день искал.

— Плохо искал, значит.

Блюм внимательно всмотрелся в Осипа. Потом с натянутой улыбкой медленно проговорил:

— Насколько я понимаю, тебя уже не мучают сомнения...

— Да,— ответил Осип,— ты верно понимаешь.

— Так, так...— в некоторой все же растерянности протянул Блюм. Помолчал, затем произнес назидательно: — Смотри, Осип, не просчитайся.

— Прости, не понял,— сказал Осип, отлично понимая, что́ именно Блюм имеет в виду.

— Я хочу сказать, что большинство очень быстро может превратиться в меньшинство.

— Но даже и взяв верх, вы едва ли сможете черное превратить в белое...

— Вот ты как заговорил!

— Будь справедлив, Блюм. Не я затеял этот разговор.

Тут как раз прозвенел колокольчик, призывая всех в зал. Но отойти от Блюма Осип не мог: тот явно собирался еще что-то сказать.

— Мне жаль тебя, Осип,— сокрушенно, чуть ли не со вздохом сказал он. И, не дожидаясь ответа, отошел.

Осип проводил его взглядом и, лишь когда он скрылся за широкими двустворчатыми дверьми, пошел следом.

Небольшой зал был разделен проходом на две половины. То, что на две половины, Осип отметил сразу, как и то, что справа расположились Мартов, Блюм, Дейч, седовласый Аксельрод, зябко кутающаяся в серый пуховый платок Засулич и все другие сторонники меньшинства, а слева — Плеханов (Осип не был с ним знаком, да и вообще видел впервые, но отчего-то не сомневался, что этот затянутый в черный сюртук человек и есть Георгий Валентинович), Ленин, Бауман, Гальперин... Отметив это, Осип тотчас подумал о том, что при такой жесткой, такой недвусмысленной группировке сторон он оказался бы в весьма затруднительном положении, если бы до сей поры продолжал держаться нейтральной линии: попросту и сесть негде было бы. Около Баумана пустовал стул, туда Осип и направился.

Дальнейшее, самый уже съезд (который начался почти тотчас), Осип воспринимал не всегда отчетливо, как бы сквозь туман. Нет, он не отвлекался от происходящего, скорее даже чрезмерно был внимателен и сосредоточен, но что-то все же ускользало, рвалось, и часто не связывалась нить.

Непонятности начались с первого же заседания. Было

оно чисто процедурным — конституировался порядок дня съезда, как правило, такие вещи решаются легко, мимоходно. Не то было сейчас; кто-то предлагал одно, кто-то — другое, важное и мелкое с одинаковым жаром валилось в одну кучу, невольно возникало впечатление, что никто не знает, для чего вообще созван съезд, какая такая неотложность была в нем. Наконец определились два главных пункта: «Доклад о Втором съезде РСДРП» и «Устав Лиги».

По здравой логике, тут бы и приступить к докладу (его должен был сделать Ленин как делегат от Лиги), но нет, весь остаток заседания ушел на совершенно излишнее, по мнению Осипа, обсуждение того, каким должен быть доклад, о чем следует в нем упоминать, а о чем не следует. Так, отвечая на чей-то прямой вопрос, Ленин сказал, что ему в докладе было бы удобнее использовать псевдонимы, употреблявшиеся на съезде, так как он слишком привык к ним, и ему будет легче употреблять их, чем каждый раз соображать, от какой организации был делегат. Мартов немедленно возразил, что целесообразнее употреблять протокольные псевдонимы, а Ленин на это в свою очередь заметил, что, поскольку протоколы еще не напечатаны, он не знает, какие у кого псевдонимы.

Мартов не стал больше затрагивать вопроса о псевдонимах — то ли удовлетворившись объяснением Ленина, то ли оттого, что перекинулся на другое, в его глазах, более существенное. Этим «другим» было: имеет ли докладчик право касаться частных заседаний организации «Искры», которые происходили во время съезда. Ленин полагал, что без рассказа, пусть краткого, об этих заседаниях никак не обойтись — во-первых, потому, что Лига в то время являлась заграничным отделом организации «Искры», во-вторых, потому, что без этих данных будет невозможно уяснить истинный смысл событий съезда. Мартов со всей решительностью выступил против огла-

шения сведений о частных заседаниях «Искры», обосновывая свою позицию тем, что на помянутых заседаниях не велось протоколов, при отсутствии которых разговор вполне может перейти в область сплетен. В таком случае, парировал Ленин, нельзя вести речь и о партийном съезде, ибо пока что отсутствуют его протоколы, на которые можно было бы сослаться; но почему, продолжал он, так уж следует бояться оглашения незапротоколированных заседаний, ведь в них принимали участие многие из присутствующих в этом зале, в том числе и товарищ Мартов, так что любой желающий сможет внести поправки, если вкрадутся какие-либо неточности; что же до пресловутых сплетен, то они не так уж неизбежны, если все мы сумеем удержаться на высоте принципиального спора,— нельзя не видеть гигантскую разницу между частными, с глазу на глаз, подчас недоказуемыми, разговорами и разговорами, ведшимися на частных заседаниях организации «Искры».

Реплики того и другого отличались остротой, даже хлесткостью (говорили, понятно, не только они, и Потресов брал слово, и Плеханов, и Троцкий, и Бауман, но выступления всех остальных слишком *сопутствующими* были, чтобы запомниться); обоим им, Ленину и Мартову, нельзя было отказать ни в уме, ни в находчивости, недаром то справа, то слева раздавались восторженные хлопки либо шиканье, но Осипу эта перепалка определенно не по душе была — слишком явно носила она характер выяснения каких-то давних отношений; оттого и не возникло желание разобраться, кто из них более прав, кто менее. Бог ты мой, думал Осип, да стоит ли и время тратить на заведомые пустяки! Тот псевдоним будет назван или другой — неужели это может всерьез занимать кого-нибудь?..

Но оглядывал остальных, по эту и по ту сторону прохода, и невольно оторопь начинала брать: вон ведь какая заинтересованность в лицах! Похоже, он и впрямь чего-то

не улавливает, что-то упорно ускользает от него — какие-то существенные оттенки происходящего. Временами, с чувством неловкости и досады, он вообще ощущал себя посторонним, словно бы люди, собравшиеся здесь, говорили на непонятном, чуждом ему языке. Да, все более понимал он, в механизме съезда, несомненно, есть некие скрытые пружины, та подоплека, в которую он попросту не посвящен. Но это объяснение (даже если предположить, что оно верно) отнюдь не вносило желанного успокоения; потому хотя бы, что оно вряд ли было единственным. А рядом, подспудно, возникало уже в нем новое сомнение: а ну как эта его «далекость» вызвана тем, что его решение принять сторону большинства — головное, чисто умозрительное решение, а внутренне он все пребывает в прежней своей неопределенности?.. Вопрос был не из тех, на которые может следовать немедленный ответ.

Осип с нетерпением ждал доклада о съезде партии, который Ленин должен был сделать на другой день; но тоже и с некоторой опаской: как в одном докладе охватить весь круг вопросов, рассматривавшихся на съезде, вскрыть обнаружившиеся расхождения и при этом не утонуть в частностях, подлинный смысл которых понятен лишь небольшому числу посвященных? Ленин, подобно опытному лоцману, умело обошел рифы и отмели, подстерегавшие его, не стал пересказывать ход дебатов, сосредоточив свое внимание на итогах прений, да и то лишь по главнейшим вопросам, каковыми, бесспорно, являлись обсуждение первого пункта устава и борьба из-за выборов в партийные центры.

Подкупала и тональность доклада: ничего личного, ни малейшего стремления использовать трибуну съезда Лиги для «сведения счетов» — только политическая оценка происходившего на партийном съезде. Так мог говорить лишь человек, который верит в то, что наметившийся раскол можно предотвратить. Самое опасное, подчеркнул он, за-

ключается не в том, что Мартов попал в оппортунистическое «болото», а в том, что, попав в него, он не постарался выбраться из него, а погружался все больше и больше.

Осип обратил внимание на то, что, говоря об ошибках Мартова, Ленин исключительно употреблял прошедшее время. Это, признаться, немало удивило. Ведь дело не ограничивается неверным поведением Мартова на съезде, после съезда он и вовсе закоснел в своих заблуждениях, не остановился даже перед бойкотом, саботированием решений съезда; чего стоит то хотя бы, что, будучи выбранным в редакцию «Искры», он демонстративно вышел из редакции, отказавшись от всякого сотрудничества... Так что вполне можно было говорить не о былых, а о сегодняшних его ошибках. Но нет, Ленин настойчиво обходил нынешнее положение вещей, видимо питая еще надежду на то, что Мартов пересилит свои обиды, одумается. Вероятно, подумал Осип, Ленин по-своему прав: к чему раздувать сейчас пожар, не лучше ль приложить все силы, чтоб если и не совсем погасить, то хоть немного притушить его?

Доклад Ленина продолжался часа два — в полной тишине; ни единого возгласа протеста. Это добрый признак, решил Осип,— то, что хотя добрую половину людей, находящихся сейчас в этом зале, составляют открытые противники Ленина, никто из них не мог, стало быть, обнаружить в докладе ровно ничего отступающего от лояльных приемов борьбы и полемики. Если Мартов последует этому примеру, если и он проявит добрую волю к примирению, глядишь, и впрямь удастся преодолеть партийный кризис...

К своему содокладу Мартов приступил тотчас после краткого перерыва. Длился этот содоклад даже больше, чем доклад: окончание пришлось перенести на следующий день. С первых же слов было ясно: мира не будет. Очень скоро стало понятно и другое: Мартов, явно рассчитывая

на некоторый перевес своих сторонников в голосах, попытался использовать съезд Лиги для ревизии решений партийного съезда. Стремясь любой ценой к реваншу, он уже ни перед чем не останавливался.

Доклад Ленина, очевидно, застиг Мартова врасплох: не того ждал он от доклада, был уверен, что Ленин поведет себя более непримиримо. Ему бы тотчас перестроиться, дружески пожать протянутую руку, но нет, он не пожелал этого сделать. Словно бы забыв о том, что не далее как позавчера сам с отменным красноречием говорил о непристойности таких ссылок на частные разговоры, которые не могут быть проверены и потому невольно провоцируют вопрос, кто из собеседников солгал, он, Мартов, ныне и прибег к этому низкому приему, обвинив Ленина, будто тот, предлагая редакционную тройку, интриговал против Плеханова. Так разговор о серьезных политических разногласиях был перенесен им в область обывательских дрязг и сплетен...

Неудивительно, что немедленно по окончании речи Мартова Ленин огласил и внес в бюро съезда заявление, в котором самым энергичным образом выразил свой протест против постановки Мартовым вопроса о том, кто солгал или кто интриговал. Я заявляю, сказал Ленин, что Мартов совершенно неверно изложил частный разговор; я заявляю, что принимаю всякий третейский суд и вызываю на него Мартова, если ему угодно обвинять меня в поступках, несовместимых с занятием ответственного поста в партии; я заявляю, что нравственный долг Мартова, выдвигающего теперь не прямые обвинения, а темные намеки, иметь мужество поддержать свои обвинения открыто перед всей партией. Не делая этого, Мартов докажет только, что он добивался скандала, а не нравственного очищения партии.

Затем слово взял Плеханов. Осип был наслышан о совершенно исключительном ораторском искусстве Геор-

гия Валентиновича и потому, как принято говорить в таких случаях, весь обратился в слух, однако Плеханов лишь для того поднялся с места, чтобы коротко уведомить собравшихся, что хотя и собирался отвечать Мартову пространной речью принципиального характера, даже вот и записи делал с этой целью в своей тетради, но после устроенной Мартовым *сцены* не считает для себя возможным продолжать прения.

Вслед за этим Ленин, Плеханов и еще несколько человек из числа сторонников большинства покинули в знак протеста заседание. Осип же решил на какое-то время еще остаться (так же, впрочем, поступили Гальперин и Любовь Аксельрод). Ему было важно самому, собственными своими глазами, увидеть, как будут развиваться события дальше. По его понятиям, одной такой речи Мартова более чем достаточно, чтобы даже и близкие ему люди поспешили перейти в противостоящий лагерь — хотя бы из приличия, из чувства элементарной порядочности. Ну ладно, пусть не перейти (тут он, пожалуй, через край хватил), но должны же они хоть указать Мартову на столь очевидную недопустимость его поведения! Обдумывая положение, в какое по милости Мартова попали его сторонники, Осип склонялся к мысли, что теперь, после ухода с заседания людей, составляющих большинство в ЦК, ЦО и Совете партии, мартовцам — если, разумеется, они сохранили в себе хоть крупицу здравости — ничего иного не остается, как подчиниться решениям партийного съезда.

О, как жестоко он ошибся! Нет, не годится он в прорицатели, решительно не годится... Поднимаются на трибуну один, второй, третий; все в восторге от речи Мартова, все полны решимости продолжать борьбу до *победного* конца (при этом употребляются выражения отнюдь не парламентские). Но Троцкий всех перещеголял; речь его до глубины души возмутила Осипа: это уже был

сплошной мутный поток клеветы; в какой-то момент Осип ощутил, что нет больше сил слушать все это,— он резко поднялся и на виду у всего зала направился к дверям.

В начале следующего, четвертого по счету заседания Ленин сделал устное заявление о том, что после того, как вчерашний содоклад Мартова перенес прения на недостойную почву, он считает ненужным и невозможным участвовать в каких бы то ни было прениях по этому пункту порядка дня, а следовательно, отказывается и от своего заключительного слова. И вновь сторонники большинства покинули съезд (теперь уже все до единого, Осип в том числе).

Вернулись тогда лишь, когда съезд, в соответствии со своим порядком дня, перешел к обсуждению нового устава Лиги. Сразу же стало ясно, что мартовцы не ограничились тем, что в отсутствие большинства приняли ряд резолюций, в которых дана негативная оценка Второго съезда партии и его итогов. Теперь они добивались того, чтобы новый устав фактически сделал Лигу независимой от ЦК. Проект устава, предложенный ими, содержал в себе прямые нарушения устава партии, в частности отвергал право ЦК утверждать устав Лиги. Борьба по этому вопросу кончилась поименным голосованием: 22 голосами сторонников меньшинства против 18 голосов сторонников большинства партийного съезда при двух голосах воздержавшихся была принята резолюция Мартова.

Ленин от имени всех голосовавших вместе с ним назвал подобное решение неслыханным, вопиющим нарушением устава партии. Однако протест его не был принят во внимание, и мартовцы, после обсуждения устава Лиги по пунктам, приняли его в целом большинством голосов всей оппозиции. Тогда присутствовавший на съезде представитель ЦК Ленгник огласил от имени ЦК официальное заявление о необходимости представить устав Лиги

на утверждение ЦК, предварительно сделав в нем ряд изменений. Но оппозиция отвергла и это заявление. Ленгник вынужден был пойти на крайнюю меру — объявил съезд Лиги незаконным и покинул заседание, предложив всем желающим последовать его примеру. Вслед за ним со съезда ушли и остальные представители партийного большинства. Это не остановило мартовцев: они выбрали новую администрацию Лиги, состоящую из одних лишь сторонников меньшинства. Что и говорить, Мартов и все те, кто были с ним, немало преуспели в том, чего добивались: раскол, признаки которого весьма чувствительно отозвались еще на работе съезда партии, теперь, после захвата меньшинством Лиги, даже и организационно оформился.

Наутро Совет партии весьма недвусмысленно выразил свое отношение к происшедшему: постановил признать действия представителя ЦК правильными и уполномочить его реорганизовать Лигу путем ввода новых членов. Решение не просто важное, но и единственно возможное в данных условиях: только оно, по разумению Осипа, и могло привести в чувство новоявленных «победителей». Но дальше стали происходить вещи до такой степени странные, что поначалу Осип отказывался даже верить в это.

Вот что случилось. Плеханов, который без колебаний поставил свою подпись под постановлением Совета партии (мало того, сам же составил и набросок этого постановления), тот самый Плеханов, который еще накануне в кафе «Ландольт» весьма красноречиво *репетирует* все шаги, позволяющие наголову разбить мартовцев, да, воинственнее всех, пожалуй, настроенный Плеханов внезапно, буквально через несколько часов после заседания Совета партии, сделал непостижимый поворот на 180 градусов, начал вдруг говорить, что не в силах стрелять по своим, что лучше пулю в лоб, чем раскол, что во избе-

жание большего зла надо сделать максимальные уступки («Знаете, бывают такие скандальные жены, которым необходимо уступить, дабы избежать истерики и громкого скандала перед публикой...»). И добро б это были только слова, только выраженные вслух сомнения, пусть и не вяжущиеся с его же недавней решительностью и непримиримостью. Нет. За словами последовали действия. Он тотчас вступил в переговоры с меньшинством, заявив им, что готов сделать все уступки, лишь бы избежать открытого раскола; в числе пунктов полной капитуляции, объявленной им, были: кооптация всех «обиженных» в редакцию, кооптация меньшевиков в ЦК, два голоса для них в Совете партии и, наконец, узаконение Лиги.

Измена — по-другому это и назвать нельзя! О таких уступках, решительно по всем линиям, даже Мартов не мог мечтать. Непостижимо, чудовищно: к чему тогда партийные съезды, если можно вершить дела истерикой, кумовством и закулисными сделками? Ленин, естественно, не мог принимать участия в таком *разврате,* как переделка партийного съезда под влиянием заграничных скандалов: все в тот же злополучный день он передал официальное заявление Плеханову о несогласии с его действиями и о сложении по этим причинам с себя обязанностей члена Совета партии и члена редакции ЦО.

Глава четвертая

1

Берлин встретил Осипа неприветливо. И без того нелюбимый, чужой, серый, город этот теперь, в позднюю слякотную осень, вызывал чувство, близкое к отвращению. Осип, конечно, понимал, что сам город, при всей своей неизбывной сумрачности, был тут ни при чем.

В эдакую мерзопакостную пору даже и Вильна, столь любезная его сердцу, едва ль выглядит краше. Все дело, вероятно (нет, наверняка!), в том было, что в Берлине Осип находился скорее по необходимости... Всякий, правда, раз, когда ловил себя на этой мысли, крепко досадовал на себя: давно пора бы привыкнуть, как-никак год обретаешься здесь! Но нет, ничего не мог поделать с собой, так и не сумел свыкнуться с заграничной своей жизнью, разве что малость притерпелся лишь. В глубине души люто завидовал Гальперину, который уже в России, Бауману, который тоже со дня на день отправляется туда.

Ладно, смирял себя Осип; работа есть работа, тем более и в Берлине не баклуши он бьет. Особенно с отъездом Гальперина забот привалило, ведь, по сути, теперь Осип один-одинешенек вершит делами берлинского (а точнее сказать, германского) транспортного пункта,— работа, сам отчетливо понимал это, не просто нужная и важная — жизненно необходимая; страшно даже и помыслить, что будет, оборвись, хоть на время, эта, германская, ниточка, по которой идет транспортировка партийной литературы в Россию.

Ныне, после съезда партии, транспортный пункт подчинялся не редакции «Искры», а непосредственно русскому ЦК. Но эта перемена была чисто внешняя, если угодно, формальная, она никак не затрагивала существа дела: обязанности, возложенные на транспортный пункт, оставались прежние. А вот выполнять эти обязанности стало несравненно труднее! То хоть взять, что социал-демократы в Берлине раскололись надвое, добро б еще на равные половины, но нет, тут обольщаться не приходилось: сторонников Мартова было куда больше; так уж вышло, что большевики, подавляющая их часть, тотчас, едва закончился партийный съезд, устремились в Россию, где, собственно, и решалась судьба движения,

меньшевики же по преимуществу обосновались кто в Женеве да Цюрихе, а кто здесь вот, в Берлине.

Раскол этот был тем чувствительней, что затронул не только профессиональных партийцев, но и группы содействия РСДРП, состоявшие главным образом из вольномыслящих студентов, обучавшихся в Берлине. Члены этих групп, в силу своей легальности тесно связанные с самыми широкими слоями русских, проживавших в Германии, не просто, платонически, так сказать, сочувствовали социал-демократии, но много и полезного делали — устраивали лекции, дискуссии по наиболее жгучим проблемам, собирали деньги для партийных нужд. Обдумывая то неотложное, чем в первую голову надлежит ему теперь заниматься, Осип рядом с организацией бесперебойных транспортов ставил и *это* — завоевать, перетянуть на свою сторону группы содействия, во всяком случае лучших, самых деятельных людей из этих групп; да, все больше понимал он, без этого никак нельзя, много ль сделаешь в одиночку? Предстоит, он знал, вовсе нешуточная борьба — за каждого мало-мальски дельного человека, но он почти не сомневался, что сумеет добиться своего, это вопрос лишь времени.

Была, однако, в работе, предстоявшей ему, одна сложность, одолеть которую было отнюдь не в его силах. Легко предугадать, что теперь, когда Плеханов самовольно ввел в редакцию «Искры» всех забаллотированных на съезде прежних редакторов, сама газета существенно изменится; нетрудно также догадаться, в *какую* сторону изменится: съезд Лиги выявил подлинную политическую физиономию нынешних самозваных редакторов. Вовсе не праздный в связи с этим вопрос: как быть теперь ему, Осипу? Не отправлять «Искру» в Россию (если ее знамя и впрямь слиняет)? Нет, пойти на это Осип не может; «Искра» признана на съезде Центральным органом партии, и нельзя допустить, чтобы один человек, из самых пусть благих

побуждений, самочинно, по своему только хотению, перекраивал одно из капитальнейших решений съезда. Осип решил: при первых же признаках перерождения газеты он постарается хоть немного нейтрализовать ее воздействие — в каждый отправляемый им в Россию транспорт, даже в каждую пачку, будет вкладывать побольше литературы, трактующей события с верных позиций.

Что его предположения не плод чересчур разыгравшегося воображения, а имеют под собой вполне реальную почву, к сожалению, подтвердилось гораздо скорее, чем он предполагал. Не успел как следует осмотреться в Берлине, как поступил к нему в экспедицию, для дальнейшей отправки, 52-й номер «Искры», с не иначе как программной статьей самого Плеханова, носившей весьма и весьма знаменательное название: «Чего не делать». Уже в самом этом названии — недвусмысленный выпад против широко известного в рабочих кругах труда Ленина «Что делать?», труда, на развитии фундаментальных положений которого прежняя «Искра» строила всю свою работу. Поистине тот случай, когда можно сказать, что Плеханов сжигал все, чему раньше поклонялся. Написанная в донельзя раздраженном тоне, статья была направлена против централизма в партии, призывала к «мягкости» и «уступчивости» по отношению ко всякого рода оппортунистам. И во имя чего же совершается этот смертельный, прямо-таки самоубийственный трюк, истинное сальто-мортале? Оказывается — во имя *мира* в партии. Такой явный, такой резкий поворот *вправо!* Стыд и позор...

На счастье, Осип отыскал у себя на складе изрядное количество экземпляров ленинского «Что делать?»; позаботился о том, чтобы в каждом пакете вместе со злополучным номером «Искры» была и эта брошюра. Только сопоставив одно с другим, рабочие, партийная масса на

местах сумеют сделать для себя надлежащие выводы — Осип верил в здоровое чутье тех, кто несет на своих плечах всю тяжесть практической работы в адских условиях российского подполья.

Через две недели из Женевы пришла партия следующего, 53-го номера «Искры». Вновь статья Плеханова: «Нечто об «экономизме» и «экономистах»; здесь уже прямые нападки на книгу «Что делать?» — в связи с предпринятой вдруг Плехановым защитой теории и практики «экономизма»... Еще одна статья — «Наш съезд» — принадлежала Мартову, который, не слишком выбирая выражения, обрушился на решения Второго съезда по организационным вопросам и в особенности на большевиков за якобы формально-бюрократическое понимание централизма в партии. Но был в этом же номере еще один материал. Скромно озаглавленный «Письмо в редакцию «Искры», да и поданный как-то нарочито неприметно, как нечто второстепенное, материал этот с лихвой тем не менее перевешивал статьи и Мартова, и Плеханова. Ленин — вот кто был автором «Письма»! Отвечая на плехановское «Чего не делать», Ленин решительно выдвигает лозунг: «*побольше света*, пусть партия знает *все*, пусть будет ей доставлен *весь, решительно весь материал* для оценки всех и всяческих разногласий, возвращений к ревизионизму, отступлений от дисциплины и т. д. Побольше доверия к самостоятельному суждению всей массы партийных работников: они и только они сумеют умерить чрезмерную горячность склонных к расколу группок, сумеют своим медленным, незаметным, но зато упорным воздействием внушить им «добрую волю» к соблюдению партийной дисциплины, сумеют охладить пыл анархического индивидуализма...» Что называется, не в бровь, а в глаз всем любителям закулисных сговоров! Этот номер «Искры» можно было посылать в Россию, не заботясь уже об особых «добавках».

В следующем, 54-м номере вновь появилась статья за подписью Н. Ленин — «Народничествующая буржуазия и растерянное народничество». Хотя впрямую здесь ни слова не говорилось о внутрипартийных разногласиях, но сколько-нибудь внимательный читатель непременно поймет, что автор статьи, вскрывая подлинную сущность воззрений буржуазных либералов (Струве в том числе), тем самым выступает против Плеханова, который не далее как в предыдущем номере брал этих мнящих себя революционерами деятелей под свое «высокое» покровительство. Статья была большая, отменно аргументированная и все же как бы обрывалась на полуслове. Так оно и было, не случайно же Ленин закончил ее словами: «...наша статья так затянулась... что мы должны отложить беседу об этом до другого раза».

Другого раза, однако, не последовало. Ни эта статья не имела продолжения, ни что-либо иное за подписью Ленина больше не появлялось на страницах новой «Искры». До поры до времени оставалось лишь гадать: то ли нынешние редакторы отлучили от газеты неугодного им теперь автора, то ли Ленин сам отказался от дальнейшего сотрудничества. Но вот все разъяснилось: отлучили! Из Женевы пришла посылка — изданное в виде листовки письмо Ленина в редакцию «Искры». Письмо называлось «Почему я вышел из редакции «Искры»?» и было снабжено характернейшей сноской: «Это письмо в редакцию было послано мной в «Искру» тотчас после выхода № 53. Редакция отказалась поместить его в № 54, и я вынужден выступить с отдельным листком». Осип прекрасно понимал, сколь велико значение этого документа; здесь, пожалуй, впервые вот так, в открытую, говорится о том, что происходит ныне в партии: и политическая суть расхождений, и недостойные методы борьбы, к которым прибегают представители съездовского меньшинства... Нужно сделать все, чтобы это «Письмо» стало

достоянием всех без исключения партийных организаций в России. Осип на сей раз использовал самые надежные из имевшихся в его распоряжении каналов транспортировки литературы.

2

Геноссе Отто Бауэр, директор-распорядитель издательства «Форвертс», самолично явился в подвал, где помещался склад Осипа. Доселе он ни разу не удостаивал Осипа своим посещением, в одном этом уже было нечто экстраординарное. Как бы в предчувствии, что ничего доброго этот визит не принесет, Осип ощутил явственный холодок в груди.

Бросив беглый взгляд на стеллажи, до такой степени забитые увесистыми пакетами с литературой, что даже двухдюймовые доски давали заметный прогиб, геноссе Отто задумчиво произнес:

— Стало быть, вот где вы располагаетесь... Не тесновато?

Осип не нашелся что сказать. Еще бы не «тесновато»! Шагу ступить негде, давно стеллажей не хватает, весь пол, до последнего вершка, заставлен тюками да ящиками,— что за странный вопрос? Мелькнуло даже: а не собирается ли, случаем, геноссе Отто великодушно предложить под «русскую» экспедицию более просторное помещение? Но холодок в груди все не отпускал, и Осип знал уже точно — что-то *другое* (и обязательно неприятное) ждет его. После этого и отвечать всякая охота прошла.

Впрочем, директор издательства, должно быть, и не ждал никакого его ответа.

— Тесно,— сказал он.— И вообще скверно, сыро! Но, как ни прискорбно, даже и этот дрянной, к тому же совершенно ненужный нам подвал я вынужден просить

вас, геноссе Фрейтаг, освободить. Вынужден! — с нажимом повторил он; взгляд у него при этом был прямой и твердый.— Хорошо, если бы это удалось сделать сегодня же. После ареста Мертинса, Петцеля и других немцев, связанных с вами, издательство вполне может подвергнуться обыску. Полагаю, что это не только не в наших, но и не в ваших интересах...

— Куда же мне девать литературу? — невольно вырвалось у Осипа, глупо, по-детски как-то.

— Очень сожалею, но при сложившихся обстоятельствах мы ничем не сможем вам помочь. Я надеюсь, вы правильно понимаете меня.

— Да, да, конечно,— поспешно заверил его Осип, хотя, если по совести, решительно не понимал, чего так-то уж боится администрация «Форвертса». Допустим, полиция и впрямь нагрянет с обыском,— так что? Как известно, германские законы преследуют лишь анархистские, террористические издания, призывающие к убийствам; что до социал-демократической литературы, то она не является крамольной, ни хранить, ни распространять ее никому не возбраняется, здесь, в Германии,— в отличие от России — эта литература вполне легальна. Что же в таком случае тревожит геноссе Бауэра? Ведь не думает он, в самом деле, будто Осип пригрел у себя под крылышком анархистов!.. От одного даже предположения такого стало весело. Видимо, это новое его состояние каким-то образом и на лице отразилось, иначе с чего это, интересно знать, геноссе Бауэр стал бы перед уходом, как бы заискивая, говорить:

— Я хочу, чтобы вы знали: моя партия, как и прежде, по-братски относится к своим русским коллегам... и если бы не эти печальные обстоятельства...

Он говорил пустое, лишнее, а в данный момент так и вовсе неуместное. Осип прервал его, произнес не без яда:

— Вы не беспокойтесь, я постараюсь не злоупотребить вашим гостеприимством!

Сказал — и сразу пожалел об этом: нехорошо вышло, опять ребячество, лишь бы верх взять. А кому, скажите на милость, он нужен, этот «верх» на словах?

Отто Бауэр минут пять как ушел из подвала, а Осип все никак не мог перебороть оцепенение, как бы сковавшее его всего — и тело, и мысли. Легко сказать — освободить склад. Не чемоданчик, который взял в руки — и убрался восвояси: звон сколько неподъемных пудов книг и газет. Но и это не главное — много ли, мало; главное — куда пристроить все это добро? Будь у него побольше времени, неделя хотя бы, он мог бы развезти литературу по близким знакомым, которые, не в пример администраторам «Форвертса», охотно придут на выручку. Правда, геноссе Бауэр говорил лишь о желательности освободить подвал сегодня, значит, допускает, что сегодня может и не получиться, но после своего мальчишечьи-завиральпого «Постараюсь не злоупотребить гостеприимством» Осип чувствовал себя просто обязанным именно сегодня вывезти отсюда всю, до последнего листика, литературу; сам себя, как говорится, загнал в угол. Да, вот уж беда так беда... Все сходилось так, что положение совершенно безвыходное, это-то и тяготило больше всего... даже то, что теперь волей-неволей оборвется на какое-то время переправка транспортов через границу, отошло на дальний план.

Нет, так нельзя, сказал себе Осип. Эдак сидючи — много ль высидишь? И словно б действительно дело только в том было, что он сидел, принудил себя подняться со стула, шагнул к ближнему стеллажу, принялся снимать увесистые пакеты, перевязанные крепким шпагатом. Снимал пакет за пакетом, громоздил их на полу штабелями, чисто механически проделывая эту если не вовсе бессмысленную, то в любом случае едва ли самую необходимую сейчас работу, и очень скоро, к своему удивлению, обнаружил, что от недавнего паралича сковывав-

щего уныния и правда мало уже что осталось и мысли пошли иные, более деятельные, что ли. Выхода не бывает, если его не искать, говорил он себе; главное — не терять голову; в конце концов, не на необитаемом же острове нахожусь: вокруг люди, столько друзей!

Среди многих имен, тотчас пришедших на ум, были и Бахи, мать с дочерью, и Бухгольц, и конечно же Карл Либкнехт. Да, с Либкнехтом в первую очередь надо переговорить. Во всем Берлине вряд ли найдется другой человек, который так близко к сердцу принимает дела русских социал-демократов, вряд ли кто еще способен, как он, отодвинув любую, самую срочную свою работу, тотчас и без раздумий прийти на помощь.

3

Ни минуты не медля, Осип помчался к Либкнехту. Положим, не сам мчался — трамвай мчал,— если что и нравилось Осипу в Берлине, так это трамвай: быстро, удобно и недорого, много дешевле извозчиков... еще и за то полюбил он эту диковину двадцатого века — очень уж легко и свободно думалось здесь под лихой, веселый перезвон предупредительных сигналов.

Он ехал к Либкнехту, поэтому, наверное, и мысли его были о нем. Казалось, Осип целую вечность знает его — такое доверие испытывал к нему; но нет, неправда: лишь с полгода назад, летом, впервые познакомился с Либкнехтом. Это знакомство произошло вскоре после того, как берлинская квартира Вечеслова подверглась более чем странному «ограблению». Судя по всему, действовали тут не простые воры: ничего не взяли из вещей, даже на единственную ценную вещь, имевшуюся у Вечеслова, рубиновую брошь жены, которая лежала открыто, не польстились. Зато перерыли все книги и бумаги, прихватив с собой некоторые рукописи и практически всю

переписку. Все говорило о том, что под видом ограбления произведен форменный полицейский обыск, притом несомненно, что без людей, знающих русский язык, тут не обошлось — очень уж *квалифицированно* были произведены «изъятия». На мысль о том, что в Берлине орудуют русские сыщики, и с каждым днем все более нагло, наводило еще и то, что у ряда русских товарищей все чаще стала исчезать корреспонденция из почтовых ящиков.

Странновато повела себя и полиция, куда обратился Вечеслов. Выяснив, что ничего из «имущества» не похищено, полицейские чины вообще усомнились в самом факте грабительского налета, тем более что дверь в квартиру была не взломана, а открыта каким-то ключом.

Нужен был совет опытного юриста, хорошо знающего германские законы. Тогда-то Мартын Лядов, находившийся в ту пору в Берлине, и предложил обратиться к Карлу Либкнехту, державшему вместе с братом собственную адвокатскую контору. Разузнали адрес и сразу же отправились к нему домой.

Что в тот момент Осип знал о Карле Либкнехте? Очень немногое. Знал, что он сын хорошо всем известного Вильгельма Либкнехта, основателя немецкой социал-демократии, и что сам он тоже социал-демократ. Известно было также, что как адвокат он выступает главным образом по делам о забастовках и об охране труда, то есть предпочитает защищать интересы рабочего люда. Так что даже этого немногого было достаточно, чтобы отнестись к нему с безусловным доверием. Но едва переступив порог его дома, Осип испытал изрядное смущение. Огромная роскошная квартира с мебелью от лучших мастеров, целый штат прислуги; кабинет, куда провела их жена Либкнехта фрау Юлия, особенно поразил Осипа: резные шкафы, сплошь заставленные дорогими книгами, диван и кресла, обтянутые белой кожей,—

так (по тогдашним понятиям Осипа) могут жить только буржуа. Явно не по адресу пришли: что ему до наших дел, этому преуспевающему человеку с тугой мошной?

Но как-то так получилось, что буквально через считанные минуты от этого первоначального замешательства не осталось и следа. Наверное, свою роль сыграло здесь и то, что держался Либкнехт просто, был неподдельно приветлив и радушен. Однако главным было все же другое: дело, которое привело к нему непрошеных русских визитеров, сразу же стало и его личным, кровным делом.

— Видимо, вы правы,— сказал он, выслушав Вечеслова.— Похоже, тут и правда орудует какая-то русская шайка. Надо бы разыскать этих мазуриков, выяснить, кто ими командует в Берлине. Я лично не сомневаюсь, что ниточка приведет к вашему обер-шпиону Гартингу, но, чтобы доказать это, необходимы точные, неопровержимые факты. И вообще, друзья, следует собрать как можно больше материала — не только по последнему случаю. Несомненно, у берлинской полиции тоже рыльце в пушку. Словом, доказательства, доказательства и еще раз доказательства. И тогда мы заставим Бебеля выступить с этим материалом в рейхстаге.

Совет, который дал Либкнехт, был, что и говорить, очень дельный, а обещание поднять шум в самом рейхстаге и вовсе дорогого стоило,— Осип поглядывал на хозяина этой богатой квартиры со все большей симпатией. Но чем окончательно приворожил к себе Осипа Либкнехт — практической своей жилкой, которую Осип особенно ценил в людях. Да, Либкнехт не ограничился доброхотными советами (для этого, верно, он был слишком деятельная натура), а сразу же принялся разрабатывать план предстоящей сыскной операции, как прямой и непосредственный ее участник.

— Я боюсь,— сказал он,— вам одним не справиться. Не так уж вас много, да и Берлин вы, конечно, знаете

не лучшим образом... я уж не говорю о том, что ваш немецкий отнюдь не безупречен. Нам нужны помощники, коренные берлинцы — лишь тогда мы сумеем организовать настоящую контрразведку. У меня на примете есть несколько толковых людей, разумеется социал-демократы, я уверен, они охотно отзовутся. Так что, если у вас нет возражений, я сегодня же свяжусь с товарищами.— При этих словах Либкнехт устремил на своих собеседников серьезный и внимательный взгляд.

Помилуйте, какие тут могут быть возражения, сказал Лядов. Напротив, мы так вам признательны, сказал Вечеслов. Осип, помнится, тоже сказал, что о лучшем и мечтать нельзя.

— В таком случае, друзья, прошу вновь пожаловать ко мне вечером, ну, скажем, в девять часов. Мои товарищи тоже придут в это время, вы познакомитесь друг с другом, договоритесь о конкретных действиях, все вместе мы прикинем, с чего лучше начать...

Славные деньки после этого настали! Крепко помогли рабочие, которых Либкнехт привлек к этому беспримерному контрсыску. Всего три или четыре дня потребовалось им, чтобы установить, где именно происходят регулярные сборища агентов русской полиции: трактирщики, среди которых тоже немало социал-демократов, навели на след. Постоянным местом для этих сборищ служил ресторанчик Треффа в Гермсдорфе — том самом, кстати сказать, предместье Берлина, где жил с семьею Вечеслов. Разговор с хозяином ресторана взяли на себя Осип и Лядов. Герр Трефф был довольно крепкий орешек, даже от денег поначалу отказался; пришлось припугнуть его криминальной полицией за то, что в его заведении подготовлялось ограбление частной квартиры, после этого он уже сам возобновил разговор о деньгах — в качестве, так сказать, компенсации за возможную потерю надежной клиентуры. В результате Лядов получил возможность незамет-

но присутствовать на одном из совещаний русских шпионов, которое — двойная удача — проводил сам заведующий заграничной агентурой Гартинг (к нему обращались не иначе как «ваше превосходительство»). Потягивая пиво из тяжелых глиняных кружек, эти мерзавцы докладывали своему начальнику о добытых ими сведениях. «Его превосходительство» ругательски ругал подчиненных, требовал усилить рвение, грозился снизить жалованье. Оно и правда, со смехом рассказывал потом Лядов, не за что им платить, даром хлеб свой едят: решительно ничего стоящего не было в их сообщениях.

Шпиков на том совещании было не так уж много — девять, считая и «его превосходительство». Но рабочих шерлоков холмсов, которые дежурили вблизи ресторанчика, чтобы, выражаясь полицейским языком, взять этих любителей пива «в проследку», было, к сожалению, почти вдвое меньше — пятеро; да к тому же один из рабочих очень скоро потерял своего подопечного из виду, так что только четверых удалось «довести» до их квартир. Лядов, да и Осип тоже, были крайне удручены столь ничтожным, по их мнению, уловом. Но когда они с похоронным видом сообщили об этом Либкнехту, тот с веселым недоумением уставился на них.

— «Только»? — воскликнул он и расхохотался.— Друзья мои, да вы просто зарвались! Если бы даже только одного удалось выследить — и то огромная удача была бы, а тут сразу четверо!.. Ну-с, теперь они у нас запляшут, голубчики...

Помнится, Осип тогда подумал — а не рано ликовать-то? Ведь кроме адресов, считай, ничего больше не известно, ни имен, ни званий. И потом, где уверенность, что шпики непременно проживают по выявленным адресам? Может, просто по пути зашли к кому-то — по делу или в гости, мало ли!

Но Осип явно недооценивал возможностей столь опыт-

ного юриста, каким был Либкнехт. По каким-то своим каналам он навел все необходимые справки. «Его превосходительством», как и предполагалось, был старый, со времен позднего народовольчества, провокатор Ландэзен, ныне живший под личиной генерал-инженера Гартинга; его годовое содержание (даже это удалось установить Либкнехту) составляло 36 тысяч марок — жалованье прусского министра. Ближайшим помощником Гартинга являлся некий Граф (подлинное имя — Михель), с окладом более скромным, но тоже весьма внушительным: 7200 марок. Дальше шла шушера помельче: Ганзен (в действительности Вольц) и Зельтман (в действительности Нейгаус).

Итак, начало положено. Следующим шагом было — выявить участников ограбления квартиры Вечеслова. На первый взгляд неразрешимая задача. Со времени налета немало времени уже прошло — как найти теперь людей, которые могли бы навести на след злоумышленников? Почтенные обыватели и вообще-то, как известно, предпочитают не ввязываться в криминальные истории. Но тут кому-то пришла в голову одна до чрезвычайности простая мысль — она оказалась счастливой. Поскольку дверь была отомкнута ключом либо отмычкой, можно предположить, что преступники прибегли к услугам какого-нибудь слесаря; во всяком случае, это не исключено, особенно если принять во внимание, что здесь орудовали не совсем обыкновенные воры, не профессиональные «домушники», располагающие всем необходимым для своего ремесла инструментарием.

Вечеслов указал на одного слесаря, державшего небольшую мастерскую в соседнем переулке (как-то раз, весной, Вечеслов даже обращался к нему, когда понадобилось отремонтировать велосипед). Отправились к тому слесарю, наудачу, Вечеслов и Бухгольц, тоже ставший на это время Шерлоком Холмсом. Увидев Вечеслова, слесарь сразу смешался и, не будучи ни о чем еще спрошен-

ным, сам заговорил, страшно путаясь в словах, о какой-то тяжкой своей вине перед господином «русским доктором». Сочувственно покивав головой, Бухгольц спросил: и сколько же вам за *это* заплатили? («Это» никак пока не расшифровывалось — ни слесарем, ни тем более Бухгольцем.) Двадцать марок, сказал слесарь; да нет, тут же, чуть не плача от стыда, стал объяснять он, нет, разве б он пошел на это из-за денег? Но ему сказали, что русский доктор — враг империи; еще ему сказали, что никто не собирается грабить доктора, просто нужно посмотреть кое-какие бумаги, имеющиеся в квартире. Когда же слесарь будто бы возразил, что в таком случае этим делом должна заниматься полиция, ему растолковали, что речь идет о *тайном* осмотре бумаг, полиция не хочет огласки, поэтому-то именно им и поручила незаметно проникнуть в квартиру. Еще они сказали, что если он не хочет иметь неприятностей с полицией, то должен помочь им в этой малости... О, майн либер доктор, видели бы вы этих людей! Они нисчуть не похожи на грабителей. И потом я подумал — да будь они и вправду ворами, разве б стали обращаться ко мне? Одним словом, я пошел с ними и открыл дверь... Отмычкой? — спросил Бухгольц. Нет, зачем, у меня много самых разных ключей... Я хотел уйти, но один из них — его называли двое других «превосходительством» — велел мне остаться, чтобы я сам убедился, что они не тронут вещей. Да, это верно, из вещей они ничего не взяли, но когда я увидел, что они все перевернули вверх дном, то понял, что, открыв им дверь, сделал самую большую глупость в своей жизни...

Вечеслов собрался было заявить об этом в полицию, но Либкнехт предложил поступить по-другому. Дело не в том ведь, говорил он, чтобы привлечь к ответу несчастного слесаря; куда важнее выявить связь немецкой полиции с русскими шпиками. План у Либкнехта был такой: рассказать на страницах «Форвертса» о нападении на

квартиру Вечеслова, произведенном русскими агентами при помощи купленного за двадцать марок слесаря, при этом не называть никаких имен, упомянуть лишь об участии в незаконном обыске некоего русского, именуемого «превосходительством», который с несомненностью является главарем шпионской шайки. После такой публикации криминал-полиция вынуждена будет заняться расследованием, но, надо полагать, не найдет ни слесаря, ни «превосходительства», чем окончательно обнаружит свою причастность к делам русских секретных агентов.

И точно: полиция выдала себя — правда, совсем не так, как предполагал Либкнехт. Если расследование и производилось, то очень странное: пострадавший даже не был допрошен. Зато почти тотчас после того, как «Форвертс» предала огласке позорный факт безнаказанного вторжения в частное жилище, Вечеслову было вручено официальное постановление, по которому его объявили «тягостным иностранцем» и предписали в недельный срок покинуть пределы Германии — в противном случае последует принудительное препровождение его на русскую границу. Неслыханная беспардонность: высылке подвергается человек, чья единственная «вина» состоит в том, что он осмелился предать огласке факты, которые полиция явно предпочитала держать в тайне. Более красноречивого свидетельства того, что немецкие полицианты самым тесным образом связаны со своими российскими коллегами, при всем желании не сыскать!

Черт побери, но ведь не круглые же идиоты сидят здесь в полиции. Невольно закрадывалась мысль, что власти переменили тактику, решили выступать уже с открытым забралом. Ближайшие события в полной мере подтвердили эти опасения. В Кенигсберге, Тильзите, Мемеле — чуть ли не в один день — были арестованы германские подданные, по преимуществу социал-демократы (сапожник Мертинс, кассир Браун, парикмахер Новогроц-

кий, экспедитор «Форвертса» Петцель, всего девять человек). В качестве причины арестов было выставлено то, что на имя этих людей поступали посылки с запрещенной, анархистской литературой. Чудовищная ложь. Кто-кто, а уж Осип точно знал, что террористических изданий в тех посылках не было и быть не могло — ведь именно он был отправителем посылок. Он мог ручаться, что вся литература была исключительно социал-демократическая — если она и запрещена, то лишь в России, но никак не в Германии, где она издается и распространяется совершенно легально. Смехотворность обвинения была очевидна, Осип ни на минуту не сомневался, что при первом же ознакомлении с содержанием литературы это обвинение неизбежно рухнет, как карточный домик, и его немецкие друзья тотчас будут выпущены из-под стражи... Тем досаднее, что администраторы «Форвертса» прежде времени ударились в панику, потребовали вот очистить их подвал — притом незамедлительно, сегодня же! Как же так, все не укладывалось в голове у Осипа, разве у российской и германской социал-демократии не единые цели и задачи? Что за спешность тогда, что за пожар! Или они и правда вообразили, что Осип пробавляется анархическими делишками?

Нет, сказал Либкнехт, когда Осип поведал ему о разговоре с Отто Бауэром, ничего такого, конечно, не думают люди из «Форвертса». Просто трусишки, отчаянные трусишки! Вся правая печать словно взбесилась, изрыгает всяческую хулу, возводит на социал-демократию немыслимый поклеп, вплоть до обвинений в государственной измене — вот нервишки кое у кого и не выдержали. Впрочем, счел нужным сразу же оговориться Либкнехт, дело не только в личных качествах того или иного партийного работника. Тут дали еще о себе знать определенные веяния в руководстве нашей партии. Мы так дорожим своей легальностью, так много и так громко кричим о мирных,

а точнее сказать, *смиренных* методах своей работы — похоже, уже и сами начисто забыли, что главный пункт нашей партийной программы — революционное, то есть насильственное, ниспровержение существующего строя, а вовсе не парламентские лобызания с прямыми своими противниками. Придется напомнить об этом товарищам, пугающимся собственной тени. Старик Бебель, к счастью, вполне отдает себе отчет в происходящем, тоже считает, что в последнее время партия изрядно подзаросла мещанским жирком, слишком старается ублаготворить всякого рода попутчиков, случайно и, как водится в таких случаях, ненадолго приставших к партии. Кстати, с радостью сообщил Либкнехт, Август Бебель твердо обещал, что на ближайшем заседании рейхстага социал-демократическая фракция внесет официальную интерпелляцию о русских шпионах и их немецких покровителях; о недавних арестах тоже, разумеется, пойдет речь...

Весть об этом давно жданном запросе в рейхстаге была из разряда особо радостных, и в другой раз Осип, можно не сомневаться, весьма бурно отозвался бы на нее, но сейчас, право, ему не до того было, его на то лишь хватило, чтобы с трудом выдавить из себя — вяло, тускло, как бы через силу: да, да, хорошо бы... Фу ты, как скверно получилось, впору сквозь землю провалиться! Когда собственная самомалейшая болячка застит весь белый свет — что может быть стыднее этого?

Вероятно, Либкнехт ничего не заметил. Но может статься, что, напротив, все как раз увидел и все понял и оттого сделал вид, что ничего не заметил. Так ли, нет, но он крепко выручил Осипа, когда, остро сверкнув стекляшками пенсне, спросил неожиданно:

— Сколько у вас литературы?

— Много.

— Воз, два?

— Боюсь, что все десять.

— Что же будем делать, дружище Фрейтаг?

— Честно говоря, я не знаю,— сказал Осип.— Нет ли какой возможности как-то договориться с Бауэром об отсрочке? Мне нужна неделя.

— А что потом?

— За этот срок я надеюсь найти подходящее помещение.

— Это если очень повезет,— заметил Либкнехт.— Какой уважающий себя домохозяин сдаст помещение под газетную рухлядь? Несолидный товар. А узнает, что литература вся сплошь на русском языке, и вовсе пиши пропало; кому охота иметь дело с полицией?

— Вы правы, Карл, я тоже об этом думал. Но у меня нет другого выхода. Я должен все испробовать.

— Нет, так не годится,— решительно сказал Либкнехт.— Нужно свести риск до минимума.— Помолчал.— Можно, конечно, переговорить об отсрочке с Куртом Эйснером, редактором «Форвертса». Но, откровенно сказать, не очень хочется одолжаться у людей, решившихся на такой шаг.— Взглянул на часы, высившиеся в углу кабинета: — Давайте не будем терять времени, уже половина второго. Сейчас я вам дам письмо к одному давнему другу нашей семьи, у него собственный домишко в Шарлоттенбурге — с мансардой, которую он вряд ли занимает зимой. Езжайте к нему, а я пока поищу еще что-нибудь. Так что после Шарлоттенбурга протелефонируйте мне — непременно. Выше голову, дружище! Мы еще натянем нос этому вашему Отто Бауэру! — Достав из ящичка бюро пачку денег, протянул их Осипу: — Здесь пятьсот марок — на первый случай, я думаю, хватит. Ну, ну, какие между нами могут быть церемонии! Отдадите, когда сможете. Итак, я жду вашего звонка...

Шарлоттенбург — не ближний свет, больше часа тащился туда Осип на извозчике. Холодный ветер продирал до костей, и мысли, соответственно, тоже были заморо-

женные, медленные. Да и о чем думать-то было? В сущности, от него ничего уже не зависело.

Дом стоял в глубине занесенного снегом палисада. Дверь открыл сам хозяин, герр Ленау, худощавый человек лет пятидесяти. Вид у него был неподступный, с печатью надменности, глаза строгие, ледяные; с упавшим сердцем Осип отметил, что даже искорки теплоты не появилось в них, когда Осип сказал, что имеет честь передать письмо от Либкнехта. Полно, усомнился Осип, да ведомо ли ему вообще это имя — Либкнехт? Письмо тем не менее взял. Осип нимало не удивился бы, если бы герр Ленау, забрав письмо, тотчас выпроводил Осипа: мавр сделал свое дело (в данном случае доставил послание) — мавр может уходить... Но нет, прирожденная воспитанность взяла все же верх: пригласил Осипа войти, провел в гостиную. Обстановка комнаты была вполне под стать хозяину: однотонная, темная, сумрачная, ни одного яркого пятна, даже писанная маслом картинка на стене не вносила оживления — сизое, набухшее черными тучами небо, уныло-свинцовая морская гладь.

Тем временем герр Ленау костяным ножичком вскрыл конверт. Вынув из жилетного кармашка монокль, тщательно протер его куском замши, вставил в правый глаз... вот-вот, с необъяснимым злорадством подумал Осип, только монокля этого и недоставало герру Ленау, чтобы уж окончательно сразить незваного посетителя, в коем за версту виден неистребимый *плебей*, своим родовым, многими предками взлелеянным аристократизмом. Что ж, почти успокоился Осип, пусть так, жаль только впустую потраченного времени... хорошо хоть извозчика не отпустил.

Пробежав записку, герр Ленау спрятал монокль в жилетку и лишь после этого поднял глаза.

Перед Осипом был сейчас другой, совсем другой человек! Просто фантастическое преображение — при всем том, что он даже не улыбнулся... Было такое ощущение,

что человек неуловимо, как фокусник, снял внезапно маску. А весь фокус единственно в том, видимо, состоял, что в глазах его, в лице, во всем его облике неожиданно возникло, и теперь уже не уходило, нечто живое, человеческое.

— Вы действительно из России? — с неподдельным любопытством спросил он.

Вопрос был неожиданный, Осип немного даже растерялся.

— Да...

— Карл очень лестно вас аттестует.

— Я рад этому.

Осип было воспрянул духом: весьма многообещающее начало.

Однако герр Ленау не торопился переходить к делу.

— Мы были дружны с его отцом — Вильгельмом,— в задумчивости произнес он.— Редкостных качеств был человек.

Сейчас предастся воспоминаниям, решил Осип. Не очень-то это кстати сейчас, когда каждая минута на счету, да что поделаешь, нужно потерпеть. Осип придал лицу приличествующее случаю выражение: предельное внимание, заинтересованность. Но, как тотчас обнаружилось, старался он зря: герр Ленау не стал злоупотреблять его вниманием. Всего одну лишь фразу произнес он еще о Вильгельме Либкнехте:

— К сожалению, в последние годы мы почти не встречались.

Фраза эта, по видимости такая безобидная, тем не менее порядком насторожила Осипа. Слова Ленау по-всякому можно толковать. Возможно, здесь искренняя горечь, сожаление, даже раскаяние: дескать, ушел из жизни хороший человек, а мы так редко виделись последнее время. Не менее вероятно, однако, и другое: да, некогда мы дружили, но, к сожалению, пути наши давно разошлись,

и я совсем не знаю, каким он стал в последние свои годы... В этом случае рекомендация Карла не слишком много значила.

Тревога еще больше усилилась, когда герр Ленау вне всякой связи с предыдущим вдруг повел речь о совсем уж посторонних, никак не идущих к делу вещах: о том, что всю жизнь мечтает посетить Петербург, говорят, это красивейший город на свете... По всему видно, герр Ленау выгадывает время, чтобы обдумать, как бы повежливее отделаться от неугодного просителя.

— Я тоже никогда не был в Петербурге,— сказал Осип. И не сдержался, почти сдерзил: — Не имел, так сказать, счастья!

Решив, что нет смысла дожидаться, когда хозяин дома соблаговолит наконец сформулировать свой отказ, Осип поднялся со стула:

— Прошу простить, я отчаянно спешу. На улице меня ждет извозчик.

Герр Ленау озадаченно посмотрел на него.

— Простите, но ведь в записке Карла содержится некая просьба... Вы что, раздумали?

Осип опешил:

— Я?! Просто мне показалось, что вы...

— Да, не скрою, я в некотором затруднении...

— Я понимаю,— сказал Осип.— Я вас понимаю.

— ...Милый Карл, видимо, запамятовал, что мансарда не отапливается. Сугубо летнее помещение.

— Меня это не смущает,— поспешил заверить его Осип.— В мои планы не входит жить здесь. Речь идет о помещении, в котором можно было бы хранить книги.

— Давайте поднимемся? Взглянете сами. Только там беспорядок, прошу извинить.

Не одна, не две — целых три комнаты, смежные друг с другом! По сравнению с вечно сырым полутемным под-

валом, в котором ютится сейчас склад, настоящие хоромы...

— Это именно то, что мне нужно,— сказал Осип и деловито спросил: — Какова помесячная плата?

— Пустое,— сказал герр Ленау.— Я никогда не сдавал и не собираюсь сдавать свой дом. Считайте себя моим гостем.

Он хорошо сказал это: ни запосчивости, ни обиды, ни укора; как бы просто поставил в известность, ничего другого.

— Я прекрасно вас понимаю,— в смущении проговорил Осип,— но прошу и меня понять. Своим отказом принять плату вы лишаете меня возможности воспользоваться столь необходимым мне помещением.

— Но почему, почему?

— Дело в том, что я выступаю не как частное лицо, которое вольно поступать как ему заблагорассудится. Фирма, или, лучше сказать, корпорация, которую я представляю, ассигнует определенные суммы на аренду помещения для книжного склада, деятельность коего, прибавлю, носит (вдохновенно врал Осип) не только просветительский, но в значительной мере и коммерческий характер...

— Вы ставите меня в трудное положение. Мое нежелание брать деньги вы почему-то воспринимаете как завуалированный отказ. Поверьте, нет ничего более далекого от этого. Я искренне хочу быть полезным Карлу и вам. Хорошо, будь по-вашему. Но, пожалуйста, назначьте цену сами...

— Плата за подвал, который мы арендовали до сих пор, составляла сто тридцать марок. Это ужасное помещение — мокрые стены, невозможная теснота. Поэтому я полагаю, что...

— Не продолжайте. Сто тридцать марок и ни пфеннига больше.

— Но...

— Очень смешно,— впервые улыбнувшись, заметил герр Ленау.— Мы с вами как будто состязаемся в благородстве.

— Я вам очень признателен, герр Ленау.

— Зовите меня «геноссе». Я ведь тоже социал-демократ...

В извозной конторе, куда первым делом направился Осип, сначала осечка вышла: время, мол, позднее, ни одного свободного *выезда*; не угодно ль завтра, с утра? Нет, не угодно! И что же? Посулил двойную цену — вмиг ломовики сыскались. И поработали замечательно, на совесть: на шести подводах весь склад разместили. Словом, хоть и каторжный выдался денек, но в конце концов расчудесно все получилось. Отпустив ломовиков, Осип вскоре тоже отправился в город. Возникло вдруг неудержимое желание сегодня же вручить геноссе Отто Бауэру ключи от подвала... никак не мог отказать себе в удовольствии бросить ему в лицо: как видите, уважаемый, я не злоупотребил вашим гостеприимством! Осипа не остановило даже то, что в этот поздний час Бауэра наверняка уже нет на службе; не беда, решил он, возьму домашний его адрес у Либкнехта...

Узнав о его намерении, Либкнехт расхохотался вдруг.

— Милый Фрейтаг, ну какой вы еще мальчишка! Нет, нет, мне это нравится, я и сам молодею рядом с вами, но все-таки ни к какому Бауэру вы сейчас не пойдете. Сейчас мы с вами будем чай пить, вот так!

И за чаем, который обернулся плотным ужином, Либкнехт в лицах изображал, как бедняга Бауэр, заспанный, очумелый, выходит к Осипу в длинной ночной рубашке, кутаясь в теплый халат, и как Осип вручает ему ключи, патетически восклицая при этом: «Вот вам, нате! И запомните: я, Фрейтаг, слов на ветер зря не бросаю! Мы, русские социал-демократы, вообще привыкли испол-

нять обещанное!»; затем Бауэр, почувствовав угрызения совести, кинется обнимать Осипа и клясться ему в вечной любви и дружбе, на что Осип гордо ответит: «Я не нуждаюсь в дружбе людей, которые способны отвернуться в трудную минуту!» — и, смерив директора издательства презрительным взглядом, уйдет, оглушительно хлопнув дверью...

Осип смеялся от души. Надо отдать Либкнехту должное: он почти безошибочно уловил то состояние, в котором Осип намеревался нанести свой визит Бауэру.

Потом Либкнехт сказал с неожиданной серьезностью:

— Вы вправе не поверить, но я немного завидую вам, русским социал-демократам. Постоянный риск, неизбежно сопутствующий нелегальной работе, конспирация, а главное — боевое, истинно революционное дело. Вот это было бы по мне! Это не то что наша будничная спокойная парламентская жизнь...

Осип не согласился с ним. Мы можем, сказал он, только мечтать о таком положении вещей, когда выступление социал-демократического депутата в парламенте способно вынудить власти пойти на уступки. Насколько он понимает сложившуюся обстановку, можно быть твердо уверенным, что интерпелляция о русских шпионах в рейхстаге вмиг образумит правительство. Одно дело действовать, полагая, что все шито-крыто, и совсем другое — предстать вдруг со своими постыдными делишками в ярком свете публичности. Ведь не может же канцлер открыто признаться, что состоит в услужении у русского царя, лакейски исполняя его малейшие прихоти! Нет, канцлер вынужден будет отрицать это, в лучшем случае свалив всю вину на самовольство прусской полиции. После этого ему волей-неволей придется выпустить на свободу Мертинса, Брауна и всех других незаконно арестованных социал-демократов, заодно и обуздать вконец обнаглевших русских шпионов, пообрезать им крылышки...

— Если ваша, как вы говорите, Карл, «будничная» работа способна дать такой результат, то я голосую за нее обеими руками!

Либкнехт возразил. Нет, он не столь радужно настроен в отношении результатов предстоящей интерпелляции: так или не так поступит канцлер — заранее предугадать невозможно. Игра, дорогой Фрейтаг, зашла слишком далеко: без ведома высших правительственных чинов сама полиция едва ли решилась бы на аресты. Боюсь, что канцлеру Бюлову не остается ничего другого, как с пеной у рта отстаивать свои позиции... разумеется, больше всего я хотел бы в данном случае ошибиться. Но, несмотря ни на что, бой в рейхстаге необходим. Даже не знаю, кому он нужнее — вам, русским, или нам. В ответ на громогласные обвинения консервативной прессы в том, что мы находимся в тесной связи с русскими «анархистами», мы просто обязаны открыто, перед всем миром заявить — да, германская социал-демократия самым тесным образом связана со своими российскими товарищами, объявление которых анархистами решительно ни на чем не основано и является сознательной и злонамеренной клеветой. Поверьте мне, Фрейтаг, за все последние годы это будет первое, по-настоящему боевое выступление нашей фракции в рейхстаге.

4

Ближайшее заседание рейхстага состоялось вскоре после рождественского перерыва — 19 января 1904 года. Осип знал, что Либкнехт будет присутствовать на нем — специально для этой цели заполучил в «Форвертсе» корреспондентский билет.

Весь этот день Осип был как на иголках, едва дотерпел до вечера. В восьмом часу, когда Либкнехт наверняка

уже должен вернуться, отправился к нему домой. Осипом двигало не просто любопытство (хотя в данном случае и оно было бы оправдано). Да, не праздный, не сторонний интерес: все то, что составляло суть интерпелляции социал-демократов, было для Осипа — или, вернее сказать, для партии, которую Осип волею судеб представляет здесь,— вопросом жизни и смерти. Не так даже страшны тайные происки банды русских шпионов, которые с каждым днем все вольготнее чувствуют себя в Германии. Главная беда — арест немецких товарищей, бескорыстных и деятельных помощников Осипа. Сознание, достаточно мучительное и само по себе, что они пострадали по его «вине», совершенно лишало его морального права привлекать к работе новых помощников. Осип уповал на то, что разбор интерпелляции в рейхстаге поставит все на свои места, и тогда аресты будут признаны незаконными.

Либкнехт встретил его возгласом:

— Что же вы так долго? Право, я уже заждался. Думал, весь паром изойду: как кипящий чайник...

Что и говорить, «пара» в нем накопилось преизрядно. Был он непривычно возбужден (но радостно, ликующе — это Осип заметил тотчас), пытаясь разом обо всем поведать, невольно перескакивал с одного на другое, а тут еще Осип, уточняя интересовавшее его, встревал со своими вопросами,— словом, полный сумбур. Но вскоре Осип и сам отказался от попытки хоть сколько-нибудь последовательно восстановить ход всей этой, как выразился Либкнехт, «баталии» — в том ли дело? Куда важнее было уловить общий итог.

По словам Либкнехта, выходило так, что — *победа.* Осип все никак не мог взять в толк, в чем же состоит эта победа? Ведь получается, что правительство и не думало открещиваться от того, что оказывало и оказывает полицейские услуги русскому царю (разумеется, отрицая при этом слишком уж скандальные факты тайных обы-

сков, в том числе и на квартире Вечеслова); твердо стоит правительство и на том, что арест немецких социал-демократов произведен по всей форме, в точном соответствии с имперскими законами. Так на чьей же, позволительно спросить, стороне победа?

Ну как же, говорил Либкнехт, разве не ясно, что признанием своего полицейского доброхотства по отношению к царю и одновременно совершенно очевидной для каждого здравомыслящего человека ложью относительно законности арестов наши тупоголовые правители сами пригвоздили себя к позорному столбу? Это ли не победа социал-демократии? А завтра, когда выйдут газеты с отчетом и, таким образом, весь мир узнает о случившемся в рейхстаге, значение этой победы возрастет еще более...

Осип привык верить Либкнехту — его опыту, знаниям, политической зоркости. Его советы всегда были точны и безошибочны, его прогноз предстоящих событий неизменно подтверждался. Взять хоть последний случай: Осип был уверен, что интерпелляция заставит канцлера поднять обе руки кверху, и ошибся, а Карл, усомнившись в возможности такого поворота, и здесь оказался куда ближе к истине... Да, все так, говорил себе Осип, Либкнехт не ошибается. И все-таки что-то мешало сейчас Осипу безоговорочно согласиться с ним. Этим «что-то» было не то даже, что интерпелляция не принесла непосредственной пользы. Скорее другое занозило: а что дальше будет? Не приведет ли схватка в рейхстаге, в которой (если Либкнехт не обольщается) правительство потерпело поражение, к новому, еще большему ужесточению полицейского режима? Впрочем, Осип решил не спешить с окончательными выводами. Нельзя судить с налету о вещах такой важности и серьезности. Тем более что Либкнехт в своем рассказе мог что-нибудь и упустить, и только это одно, может статься, не дает Осипу сложить верную картину.

Наутро, отложив все прочие свои дела, Осип принялся за изучение отчета о вчерашнем заседании рейхстага. «Форвертс» осветил лишь капитальные моменты прений, с соответствующими комментариями; сейчас это не устраивало Осипа, ему нужен был сам отчет, как можно более полный и по возможности без оценок; он остановил свой выбор на «Берлинер тагеблатт» — еще и потому (помимо полноты изложения), что эта газета, по сути, является официозом, не исключено, что, будучи правительственным рупором, она отразит отношение своих хозяев к «инциденту» в рейхстаге...

Осип нелегкий труд задал себе: его познания в немецком были явно недостаточны, он то и дело спотыкался на тяжеловесных периодах чужого языка. Но все же одолел огромный этот отчет — весь, до конца и без пропусков.

С обоснованием интерпелляции выступил Гуго Гаазе. Начал он с фактов, точных, неопровержимых. Имена русских агентов во главе с Гартингом, получаемые ими оклады. Случаи вторжения в квартиры, занимаемые русскими эмигрантами, с целью производства тайных обысков. Подкуп почтовых чиновников, охотно идущих на нарушение тайны частной переписки. Жалкое пресмыкательство прусских таможенников, которые тотчас доносят обо всем, что покажется им подозрительным, русской полиции. «Услуги любви» наших властей царизму, сказал он, простираются столь далеко, что любой русский, нашедший прибежище в Германии, в любой момент может быть объявлен анархистом и выслан из страны как *тягостный* иностранец,— тому множество примеров. Может ли такое быть возможным в цивилизованном государстве? Можно ли поддаваться на уловки русских сыщиков, по словоупотреблению которых «анархистом» либо «нигилистом» является всякий, кто лишь стремится к изменению существующих условий в России, всякий, кто бичует жестокости, совершаемые под кровом деспо-

тического режима, даже всякий, кто не лобызает добровольно кнута тотчас, как только от него это потребуется! Нет, господа депутаты рейхстага, те русские, что ищут нашего гостеприимства, отнюдь не «анархисты». Это люди, которые внушают каждому, кто даже не разделяет их точку зрения, удивление своей геройскою борьбой против деспотизма; люди, которые всего-навсего хотят создать в своей стране такие условия жизни, каких мы давно уже добились у себя.

Внутреннее единомыслие нашей прусской полиции с русским правительством, продолжал далее Гаазе, несомненное родство их душ еще и в том проявляется (и, вероятно, наиболее ярко), что нынче даже немецких граждан, имперских подданных, которые ничего другого не сделали, как только получали и отсылали дальше русские печатные произведения, выслеживают, подвергают преследованию за «тайное сообщество» и держат месяцами в предварительном заключении. В чем же, однако, заключается эта таинственность? Каждому ясно, что если конфискованные русские издания и могли быть тайными, то только для русского правительства, но уж никак не для нашего имперского. Тем не менее против наших соотечественников начато дело по обвинению в измене русской империи и в оскорблении русского царя.

Утверждают, будто в полученных ими изданиях содержатся призывы к насилиям. Да этого попросту и быть не может, господа. Судя по личности того (это я могу со всей определенностью сказать вам), от кого обвиняемые получали печатные произведения, судя по этому лицу, представляется совершенно исключенной всякая возможность, чтобы им были отосланы какие бы то ни было издания, которые были бы противогосударственного преступного содержания... (Наткнувшись на это место, Осип не сразу понял, что речь здесь идет о нем, Осипе,— вот уж чего никак не мог ожидать! Перечитал

абзац еще раз и еще; дальнейшее уже ни малейших сомнений не оставляло.) ...Это русское лицо, которое хорошо мне известно, умеренно в высшей степени; молодой русский — враг анархизма, противник террора, и представляется, повторяю, совершенно невозможным, чтобы он отослал в Кенигсберг или Мемель подобные издания...

В отсутствие рейхсканцлера с ответом на интерпелляцию выступил статс-секретарь иностранных дел барон Рихтгофен. Что именно он сказал, в общих чертах Осип уже знал от Либкнехта, но это не уменьшило интереса; напротив того, было безумно любопытно: карты биты, ни единого козыря на руках, пусть самого завалящего,— какие аргументы в свою защиту может выставить сиятельный барон? Осип по простоте ожидал, что Рихтгофен — не зря ж числится по дипломатическому ведомству! — придумает что-нибудь очень уж хитроумное, чтобы, коли все равно игра проиграна, хоть мину хорошую сделать. Ничуть не бывало: сей государственный муж не утрудил себя подысканием сколько-нибудь достойных возражений — сразу, с первых же слов, попер напролом, истинно по-солдафонски.

Да, словно бы даже и с гордостью заявил он, имперскому канцлеру известно, что одному русскому чиновнику поручено его правительством следить за действиями и происками русских анархистов, которые находятся в Германии,— канцлер полагает, что это только в интересах империи...

Браво, яснее не скажешь! Русские шпионы вольны, стало быть, хозяйничать в Германии, как в собственной своей вотчине, лишь бы сохраняли свою секретность!

На вопрос об аресте немецких граждан барон Рихтгофен ответил и вовсе *лихо*. Заявил, что эти аресты всецело относятся к компетенции прусского ведомства юстиции,— и весь тебе тут сказ... Бесподобный аргумент;

можно подумать, что канцлер не может вмешаться в действия своего министра. Совершенно естественно, что такое заявление было встречено дружным смехом (как отмечено в газетном отчете).

Но и это, оказывается, не было еще пределом бесстыдства. Упорно называя революционеров «анархистами», он далее заявил буквально следующее. Нас, сказал он, упрекают в том, что мы действовали только из желания угодить России, даже было употреблено выражение «услуги любви». Что ж, мы полагаем, что это в интересах не только России, но и всех цивилизованных государств — бороться с анархическими происками. Вы не можете требовать, чтобы с такими опасными индивидами обращались в бархатных перчатках. Мы не принуждаем их, и никто не принуждает их, быть анархистами. Если, однако, они желают быть таковыми, то должны нести и ответственность за свои деяния. Если же иностранным анархистам так плохо живется в Германии, то почему они приходят к нам? Этим господам, конечно, очень удобно пребывать здесь, у нас, где они, может быть, чувствуют себя лучше, чем в своем собственном отечестве; к тому же они еще желают носить венец политического мученичества. Нет, мы не имеем никаких оснований поощрять их, тем более что эти господа и дамы — я думаю, дамы даже очень сильно,— представлены здесь, главным образом, в области *свободной любви*!..

Осип чувствовал себя так, словно бы присутствует на захватывающем спектакле, изобилующем острыми, неожиданными поворотами. Появление на сцене Рихтгофена, бесспорно, внесло в серьезную драму сильную комическую струю. Осип не знал Рихтгофена в лицо, но отчего-то представлял, что всенепременно должны у него быть густо нафабренные, колечками кверху усы, вдобавок еще по-клоунски забеленные щеки. Самодовольный *простак*, с напыщенным видом говорящий совершенные

глупости, имперский министр, который через минуту будет изобличен в мелком жульничестве,— уморительное, но прежалкое, надо сказать, зрелище.

Первым, кто схватил Рихтгофена за руку как отъявленного мошенника, был Август Бебель. Если дòлжно бороться с анархистами, справедливо заметил он, то анархисты должны быть, по крайней мере, налицо. Между тем ни господин статс-секретарь, ни прусская полиция не имеют возможности доказать, что хотя бы один-единственный русский, которого подвергли высылке как тягостного иностранца, действительно является анархистом. Так что если когда-нибудь немецкая полиция и имперское правительство оскандалились вплоть до костей, то это именно в данном случае... Это неслыханно, чтобы в культурном государстве те люди, которые делают только то, что среди наших границ считается естественным правом всякого человека, то, что у нас разрешено (но, может быть, запрещено в России), чтобы эти люди передавались с умыслом русским палачам для ужасной гибели без судебного производства в рудниках Сибири или темницах Петропавловской крепости! Спрашивается, однако, что̀ теперь в России *не* революционно? Я полагаю, что если б, например, сам господин Лимбург-Штирум, лидер правых и консерватор, говорил в России то, что порою говорит здесь, в рейхстаге, то и он давно уже был бы сослан в Сибирь... Вполне понятно, что, чем уступчивее мы становимся по отношению к России, тем бесстыднее и наглее становятся русские требования. Нет другой такой страны, которая согласилась бы оказывать России подобные любовные услуги,— одно только германское правительство с великой готовностью исполняет унизительную роль чистильщика сапог у батюшки царя!

Не только Гаазе, не только Бебель (этого-то, положим, следовало ожидать) — все другие державшие в рейхстаге речь депутаты, вовсе не *левые*, на этот раз также

не слишком церемонились с правительством. Как догадывался Осип, такое внезапное превращение вполне благонамеренных обычно верноподданных в гневных обличителей вызвано отнюдь не тем, что они вдруг воспылали любовью к социал-демократам. Все гораздо проще: факты, приведенные социал-демократами, были столь вопиющими, что стать в этот момент на сторону зарвавшегося Рихтгофена означало бы навсегда уронить свою политическую репутацию; да и попросту элементарная порядочность не давала возможности поступить иначе.

Лишь один депутат (им оказался консерватор фон Норман) осмелился под занавес провозгласить от имени своих соратников по партии: «Мы совершенно солидарны с ответом господина статс-секретаря и только можем просить правительство продолжать идти по прежнему пути...» Бедняга, его хватило всего на эту, одну-разъединственную, фразу, но и в ней он — если, разумеется, не совсем потерял стыд и совесть — должен был бы тотчас раскаяться. Выступивший вслед за ним Мюллер, представитель свободомыслящей партии (тоже, кстати, правой, но все же чуточку полевее консервативной), в одну минуту буквально уничтожил несчастного своего коллегу. Нисколько не удивительно, с убийственной издевкой сказал он, что господа крайней правой совершенно солидарны с ответом статс-секретаря; я думаю, что можно тем выразить их ощущения, что для них было бы приятнее всего, если бы у нас тоже водворились русские порядки! Впрочем, после заявления господина статс-секретаря действительно мы должны опасаться, что находимся на самом верном пути к тому, чтоб заполучить к себе русские условия...

Осип дочитал отчет до последней точки. Впечатляющий документ, ничего не скажешь. Можно поручиться, что стены рейхстага за все время своего существования

не знали ничего похожего. Дружище Карл и на этот раз прав: истинно *победа*. Ну просто замечательно отстегали немецкие социал-демократы своих правительствующих держиморд! Одно это уже не мало, но тут ведь еще и другое, не менее важное: вступившись за российских социал-демократов, безбоязненно объявив о своей солидарности с ними, Гаазе и Бебель тем самым во весь голос заявили о том, что возглавляемая ими партия отнюдь не сложила оружия, даже вот и парламентскую трибуну готова использовать для революционной борьбы.

Итак, перчатка брошена. Теперь главное — каков будет ответ?

Спустя месяц правительство все же решило реабилитировать свое поруганное достоинство. Для этой цели был выбран прусский ландтаг, свободный от «красных» депутатов, которые вновь могли бы выступить с «дерзкими» речами. Не опасаясь встретить в послушной им палате возражений, министр юстиции Шенштедт и министр полиции Гаммерштейн стряпали свои обвинения, что называется, не жалея ни перца, ни соли. Разумеется, все революционеры опять на одно лицо: анархисты. И эти исчадия ада — тоже само собой разумеется — только о том и думают, чтобы утопить весь мир в крови. В подтверждение сказанного приводились какие-то фантастические цитаты, якобы взятые из произведений, которые были получены находящимися ныне под арестом немецкими социал-демократами. Смешно, но даже злопамеренной этой фальсификации господам министрам показалось мало, и вот главный прусский полицейский ссылается уже на польскую «Варшавянку», к тому же вкривь и вкось толкуя ее... словом, все годится.

В довершение всего — чтобы уж вконец запугать почтенное немецкое бюргерство — министр юстиции Шенштедт бросает прямое обвинение Центральному комитету германской социал-демократии в том, что он «недалеко

стоит от всего этого дела революционной контрабанды и смотрит на него как на свое партийное дело»... Положим, так оно и есть: немецкие и русские социал-демократы действительно весьма тесно связаны друг с другом, никто не собирается отрицать этого, но ведь в контексте всего того, что ранее было сказано министрами, получается так, что это — союз с анархическими убийцами и насильниками. Нужно отдать должное господам министрам: неглупо придумано, совсем неглупо, с безошибочным пониманием психологии обывателя.

Потрясенные апокалиптической картиной кровавого нигилизма, который — вот ведь! — не сегодня завтра может обрушиться также на Германию, депутаты ландтага, *естественно*, нашли одни слова признательности и благодарности «спасителям» отечества от анархического ниспровержения. Бюргерская печать тоже была единодушна. Одна газета клеймила людей, которые «бросают бомбы и точат в тишине убийственную сталь», другая сокрушалась по поводу того, что в фатерланде завелись «норы и притоны чужеземных убийц», третья объявляла, что «тот, кто подстрекает к убийствам и насильственным революциям, теряет малейшее право на пощаду», и все вместе уж конечно с жадностью набросились на ловко подброшенную им кость о «тесном единении» германских социал-демократов с «анархическими бандами русских убийц».

Трезво оценив обстановку, теперь уже сам канцлер Бюлов решил бросить на весы всю тяжесть своего канцлерского авторитета. Выступая на очередном заседании рейхстага, он не утрудил себя хоть какими-нибудь доказательствами, отнюдь. Зато говорил с апломбом человека, устами которого глаголет сама истина... Весь шум, заявил он, шум, который поднимает здесь социал-демократия, имеет одну задачу — рассорить нас с Россией. Цель же, которая преследуется социал-демократами,— это

зажечь войну и революцию для того, чтобы мы здесь, в Германии, были осчастливлены каторжными порядками и диктатурой господина Бебеля. Разумеется, мы этого не допустим...

Последние эти события привели Осипа в совершеннейшее уныние. Реванш правительства был полный, в этом уже не приходилось сомневаться, и Осип мучительно переживал то, что он, именно он, невольно оказался как бы первопричиной тех баталий в рейхстаге, которые привели к такому вот исходу.

Да, так, определенно так! Если вернуться к началу, два обстоятельства сыграли тут решающую роль: грабительский налет русских шпионов на квартиру Вечеслова и аресты в Кенигсберге, Тильзите и Мемеле — и то и другое самым тесным образом связано с деятельностью берлинского транспортного пункта, делами которого больше всего (а теперь даже, считай, и вообще в одиночку) приходится заниматься Осипу. Вот и выходит, что, не обратись он, вместе с еще находившимися тогда в Берлине Лядовым и Вечесловым, за помощью к Либкнехту, глядишь, не обрушились бы сейчас на германскую партию такие удары. А дальше — уж это-то легко предвидеть! — будет еще хуже. Мало того, что кенигсбергским узникам помочь не удалось, так, пожалуй, и вся партия подвергнется еще гонениям, вон как решительно настроен его высокопревосходительство рейхсканцлер граф Бернхард Бюлов!

Такие вот мысли — одна чернее другой — не давали покоя Осипу. Как всегда в трудную минуту, неудержимо потянуло к Либкнехту: не было сейчас в окружении Осипа человека более близкого.

Да, Карл, он все поймет, все рассудит, расставит по своим местам. Для него, похоже, не существует безвыходных положений. Наверняка и сейчас он точно знает, что надо делать... не в пример мне, с горечью подумал

Осип, но горечь эта была мимолетна, легка. Осип не стыдился признаться себе, что часто смотрит на Либкнехта как бы снизу вверх, в этом решительно не было ничего обидного, как не бывает обидно ученику, что любимый учитель превосходит его умом и знаниями.

Стряхнув с себя снег (февраль нынче выдался вьюжный, студеный), Осип позвонил в дверь Либкнехта.

5

Когда отправляешься в дальнюю дорогу, первую половину пути думаешь о том, что осталось позади...

— Карл, только не сердись. Может быть, еще есть возможность отказаться от этого процесса? — отводя печальные свои глаза в сторону, спросила Юлия.

Либкнехт с удивлением посмотрел на жену. За все те четыре года, что они вместе, такое впервые, чтобы она вмешалась в его адвокатские занятия. Что же произошло? Они были достаточно состоятельны, даже богаты (главным образом благодаря наследству, доставшемуся Юлии после смерти ее отца, прекрасного человека и прекрасного врача), и Либкнехт, так установилось с первого дня, волен был выбирать себе дела без оглядки на барыш, лишь бы «по душе». Чаще всего брал на себя защиту по делам о забастовках и об охране труда рабочих — на крупные куши рассчитывать здесь, понятно, не приходилось. Кенигсбергский процесс, на который он сейчас едет, само собой, тоже не сулит особого прибавления к счету адвокатской конторы, которую он держит со старшим братом Теодором... нет, нет, здесь не меркантильные соображения, как он мог подумать? Расчетливость вообще чужда Юлии, здесь что-то другое...

— Почему ты заговорила об этом? — пытаясь заглянуть ей в глаза, спросил он.

— Я боюсь,— с обезоруживающим чистосердечием ответила она.— Если ты выиграешь процесс, полиция тебе этого не простит.

— В таком случае я постараюсь проиграть,— пошутил он, но, едва сказал это, тотчас понял, что взял неверную ноту: на ее откровенность надлежит отвечать с той же честностью и искренностью. И тогда, сразу же став серьезным, он сказал — нет, неправда, он, конечно, приложит все силы, чтобы посадить в лужу устроителей этого позорного судилища, но все равно она сильно преувеличивает возможную опасность: процесс открытый, будет много публики, представители самых разных газет, в том числе иностранных,— Юльхен, милая моя Юльхен, да можно ль в условиях такой широкой гласности бояться каких-то там осложнений, выбрось худое из головы, поверь мне, родная, все будет как нельзя лучше!

— Вероятно, ты прав,— с покорностью в голосе сказала она и даже попыталась, бедняжка, изобразить на лице некое подобие улыбки.

Эта вымученная, болезненная ее улыбка до сих пор стоит у него перед глазами, но, как ни разрывалось его сердце от жалости и любви к ней, он все же не мог сделать то единственное, что принесло бы ей полное успокоение,— отказаться от участия в Кенигсбергском процессе. Она требует от него невозможного; какие бы кары, земные и небесные, не обрушились впоследствии на него, он все равно не отступится от того, что считает делом своей чести.

Брат Тедди (был еще и с ним потом разговор) тоже попытался воззвать к его рассудку, но зашел с другой, нежели Юлия, стороны. Он не был социалистом, вообще чурался политики — быть может, для этого он был слишком трезвый, слишком деловитый человек. Вот и сейчас он по-деловому заметил, что участие Карла в процессе, в котором защита заведомо, как он считает, обречена на

поражение, может нанести непоправимый урон его профессиональному престижу. Либкнехт оценил деликатность брата: мог ведь напрямую сказать, что репутация крамольника, которую Либкнехт рискует нажить, участвуя в столь *одиозном* процессе, может крепко повредить общему их делу. В свою очередь и Либкнехт мог возразить ему, что в данном случае узкоюридические аспекты процесса занимают его куда меньше, чем политический его итог; то есть сказать все то, что Тедди, разумеется, и сам прекрасно понимает и что как раз вынудило его затеять неприятный разговор. Однако ни Тедди не сказал того, что в действительности хотел сказать, ни Либкнехт не сказал того, что мог бы сказать брату в ответ на истинную причину его обеспокоенности. Со всем вниманием выслушав брата, Карл сказал полушутливо:

— О, если бы знать наверняка, что роняет престиж, а что поднимает!

Тедди охотно принял этот его тон, тоже пошутил — зато, мол, наверняка известно, что давать советы — самое неблагодарное на свете занятие,— и пожелал удачи; а напоследок, уходя уже, даже сказал, что готов по первому зову приехать в Кенигсберг (если, конечно, будет нужда в том)...

И еще один человек изъявил сегодня готовность выехать в Кенигсберг — Фрейтаг.

Времени было в обрез, часа полтора до поезда, не больше, а еще нужно собраться, уложить все в саквояж, попрощаться с Юлией, малышами Гельми и Робби,— честно сказать, Фрейтаг выбрал не лучший момент для визита. Вихрем ворвавшись в кабинет и бурно обрадовавшись тому, что застал Либкнехта дома, все-таки успел, с ходу объявил:

— Я вот что надумал — я еду с вами!

— Это еще зачем?

— Вы меня выставите свидетелем!

— И о чем же, крайне любопытно, вы собираетесь свидетельствовать?

— Ну как же! Я вдруг сообразил, что я единственный, кто может доказать невиновность наших узников. Я предъявлю суду свои реестры, по каждой посылке: названия изданий, количество экземпляров, точный вес — и любому станет ясно, что анархизмом здесь и не пахнет!

— Прекрасно,— сказал Либкнехт, посмеиваясь в душе.— Но почему вы решили, что вашим реестрам кто-нибудь поверит? Согласитесь, их совсем несложно было бы составить и теперь, задним числом. И второе: под каким именем прикажете представлять вас суду? Будь вы хоть как-то легализованы — еще куда ни шло. А так, с фальшивыми документами — безумие, прямиком угодите в русскую кутузку...

Нахохлился, недовольный; лихорадочно, судя по всему, выход ищет. Спустя минуту надумал что-то...

— А мои показания могут помочь делу?

— Не все ли равно?

— Знаете, Карл, если помогут, я бы рискнул...

В этом он был весь, Фрейтаг! Можно не сомневаться: ради освобождения товарищей он без раздумий занял бы их место на судебной скамье.

— Нет, Иосиф (кажется, впервые назвал его по имени), это неоправданный риск.

Удивительное у него лицо: радость, негодование, тревога — любое чувство мигом отражается на нем. Сейчас в глазах его глубокая печаль.

— А что реестры — они с вами? Очень хорошо! Они могут пригодиться, я прихвачу их с собой.

Фрейтаг просиял, обрадовавшись тому, что хоть чем-то оказался полезным...

В купе было душно, пахло застоявшейся пылью. Либкнехт вышел в коридор, приоткрыл одно из окон.

Мысли его были о Фрейтаге. Либкнехт был знаком

со многими русскими, но коротко знал, пожалуй, лишь Фрейтага. Презанятый человек. Сказать о нем, что он энергичен, неутомим, значит ничего не сказать. Не человек, а какая-то, право, динамо-машина. Считается, что нам, немцам, свойственна высокая организованность в делах; вполне возможно. Но в таком случае Фрейтаг просто гений организованности. Можно ручаться, что для выполнения той работы, с которой Фрейтаг справляется в одиночку, у нас потребовалось бы создать целое бюро с изрядным штатом. Да, дьявольская работоспособность; но еще и умение работать, та практическая струнка, которая и сама по себе уже немалый талант. И рядом с этим (совершенная неожиданность!) изрядная склонность к самокопанию, постоянная рефлексия — качества, которые обычно не сочетаются с практической одержимостью; люди делового склада куда чаще обладают завидной цельностью натуры, им счастливо удается избегать сомнений и колебаний.

Подумав об этом, Либкнехт тут же, впрочем, вынужден был признаться себе, что подобные счастливчики, с их бестрепетностью и железными нервами, никогда не вызывали у него особого восхищения. Больше того, всякий раз, когда приходится сталкиваться с этой категорией работников партии, неизменно возникает ощущение, что эта их хваленая несгибаемость скорее смахивает на непробиваемость, закостенелость; в лучшем случае из таких людей получаются добросовестные исполнители, функционеры, но тщетно ожидать от них самостоятельного решения,— может быть, поэтому они никогда не ошибаются? Вернее сказать, лишь тогда не ошибаются, когда рядом есть кто-то, кто не забывает вовремя завести пружину...

Либкнехт не впервые задумывался об этом, и отнюдь не из склонности к отвлеченным рассуждениям. Он совершенно убежден, что нет для германской социал-демо-

кратии вопроса более злободневного и насущного, нежели вопрос о том, каким надлежит быть в сегодняшних условиях революционеру. После падения «исключительного закона», когда для партии наступили сравнительно спокойные времена: легальные собрания, рейхстаг, бесцензурная печать, что-то чересчур уж много стало плодиться людей, которые решили, будто достижение всего этого является единственной и чуть ли не конечной целью революционной борьбы. «Железные» парни, не ведающие сомнений! По их понятиям, быть в партии — что на службу ходить: от сих до сих, ровное дыхание, холодная кровь...

Пришло вдруг на мысль (и опять в связи с Фрейтагом) давнее, уже позабытое, казалось: каким потрясенным и растерянным, каким жалким был однажды Фрейтаг (в феврале это было, после злобных нападок канцлера Бюлова). Он вообразил, что теперь немедленно последует запрет германской социал-демократической партии; и то, что это произойдет, как он считал, по его вине, приводило его в полное отчаяние. Он, конечно, сильно преувеличивал опасность: в угрозах Бюлова не было ровно ничего смертельного; предстояла, разумеется, борьба, и вероятно долгая, изнурительная, но все это в порядке вещей, никто ведь не ожидал от правительства добровольной сдачи. Заблуждение Фрейтага было, таким образом, очевидным, и не составляло труда обвинить его в малодушии и паникерстве или хотя бы напомнить о долге революционера в любых обстоятельствах сохранять твердость духа, стойкость. Но Либкнехт не торопился осуждать молодого русского товарища. Напротив, именно в тот раз Либкнехту впервые пришло в голову, что человек, способный так метаться, мучиться, так страдать, даже впадать в отчаяние, другими словами, способный любую осечку или заминку в партийных делах воспринимать как личную трагедию,— такой человек, быть

может, и есть истинный революционер. Либкнехт и прежде с симпатией относился к Фрейтагу, после этого случая сердцем прикипел к нему.

Что же до крайностей (а они тоже налицо), то исключительно от молодости это, от малого еще житейского опыта, это пройдет. Дай бог, чтобы и в зрелые лета он сохранил в себе лучшие свои качества — и святое это беспокойство, и совестливость свою великую... И пусть, пусть на чей-то чрезмерно трезвый взгляд иной раз (как, например, сегодня, когда Фрейтаг и впрямь готов был пожертвовать собой, лишь бы спасти арестованных товарищей) он поступает не слишком разумно, так сказать, не по правилам, Либкнехту и этот его искренний порыв был по душе. И еще подумал Либкнехт: поистине счастлива партия, в которой есть такие люди; безмерно многого она может добиться, никакие препоны ей не страшны...

...Когда находишься в пути, вторую половину дороги думаешь о том, что ждет тебя впереди.

Впереди у Либкнехта был процесс в Кенигсберге — возможно, понимал он, самый сложный в его адвокатской практике. Он вполне отдавал себе отчет в том, что это дело далеко выходит за рамки юриспруденции. Совершенно очевидно, что задача суда не ограничивается тем, чтобы осудить девятерых немецких граждан за действительные или вымышленные преступления. Подлинная цель процесса иная — пресечь ввоз нелегальной литературы в Россию, раз и навсегда запретить в Германии какие бы то ни было действия, направленные против царизма. Но и это не все: судебный приговор, буде он подтвердит дикую версию Бюлова и его подручных о террористических устремлениях русских социал-демократов, даст новый толчок к обвинению германской социал-демократии в пособничестве «кровавому» перевороту. Стало быть, значение процесса прежде всего сугубо политическое. На судебной арене сойдутся две силы: революция

с ее социалистическим знаменем и русский абсолютизм, рьяно поддерживаемый немецкой реакцией; исход этого жестокого поединка, само собой, будет иметь далеко идущие последствия.

Прусская прокуратура уж постаралась! Обвинительный акт содержит свыше двухсот страниц убористого текста и внешне выглядит куда как убедительно: каждый пункт обвинения подкреплен множеством самых «нигилистических» цитат из конфискованных брошюр и прокламаций. Но ведь ничего подобного не могло содержаться в тех брошюрах, заведомо не могло! Тут одно из двух: либо фальсифицирован перевод, либо к конфискованным изданиям *подложены* и террористические; не исключено, положим, что применены оба эти способа. И не здесь ли причина того, что за все долгие месяцы следствия прокуратура не осмелилась ознакомить обвиняемых (несмотря на настойчивые их требования) с содержанием «крамольной» литературы? Ну что ж, придется, значит, прямо на суде заняться выяснением этих, мягко сказать, подозрительных обстоятельств...

У защиты и еще было несколько серьезных зацепок. Чем, к примеру, объяснить, что в столь пространном обвинительном акте не нашлось места хотя бы для упоминания того, без чего, собственно, и уголовное преследование не могло быть возбуждено? Прежде всего надлежало ведь доказать, что в законах Российской империи обеспечена полная взаимность в преследовании за подобные правонарушения в отношении Германской империи. И второе, что остается неясным: было ли русскими властями предъявлено требование о предании суду немецких граждан? Если нет ни того, ни другого, суд вообще тогда не вправе был принять дело к своему рассмотрению.

Либкнехт усмехнулся этим своим мыслям: «вправе», «не вправе» — детский разговор. Что проку толковать о какой-то там законности, если за судейскими креслами

незримо будут стоять самые черные силы двух стран — России и Германии! Да, одними ссылками на статьи закона тут едва ли чего добьешься, адвокатам придется на каждом шагу вскрывать политическую подкладку дела; но ведь не зря же защиту приняли на себя социал-демократы — Гуго Гаазе и он, Либкнехт? И если трудно заранее сказать, выиграют ли они этот процесс, то во всяком уж случае можно не сомневаться, что устроителям скандального судилища (равно как и их закулисным хозяевам) не удастся выйти чистенькими из этой грязной истории. За себя, по крайней мере, Либкнехт мог поручиться, что не постесняется называть вещи настоящими именами,— пусть даже в ущерб своему адвокатскому реноме...

Поезд меж тем уже втягивался под застекленные своды кенигсбергского вокзала.

6

Процесс начался во вторник, 12 июля 1904 года. Заседания проходили в самом просторном зале прусского земельного суда при большом стечении публики. Перед судейским столом — тюки конфискованной литературы.

— ...Подсудимый Мертинс, признаете ли вы себя виновным в предъявленных обвинениях?

— Нет, не признаю.

— Но вы ведь получали посылки с русской литературой?

— Да.

— Как произошло, что вы дали согласие на это?

— В начале 1902 года ко мне пришел один русский товарищ с очень хорошими рекомендациями...

— Кто был этот человек?

— Я отказываюсь давать показания относительно его

личности. Не потому, что опасаюсь суда, а потому, что не хочу подвергать товарища всяческим неприятностям... Итак, этот русский товарищ спросил, не может ли он оставить у меня на время русскую литературу. Приняв во внимание его рекомендации, я согласился и затем в течение двух лет получал литературу, которую вскоре забирали крестьяне, приходившие в сопровождении помянутого товарища.

— Он всегда был при этом?

— Нет, были случаи, когда приходили и другие, но лишь те, с кем он раньше знакомил меня.

— Знали ли вы, какая это была литература?

— Да, конечно. Главным образом это была газета «Искра».

— Посылки приходили с обозначением «Произведения печати»?

— Да, часто бывало и так.

— Однако странно, что эти вещи объявлялись на почте также и как «сапожный товар». Чем вы это объясните?

— Я полагал, что русские товарищи делают это из предосторожности. Поскольку я сапожник, получение мною сапожного товара не должно было вызвать подозрений.

— Значит, вы предполагали, что нарушаете закон?!

— Ничуть.

— Зачем же было таиться?

— Чтобы русские товарищи могли избежать неприятностей со стороны своего правительства. Содержание посылок скрывалось от взоров не немецкой, а русской полиции.

— Совпадают ли цели русской социал-демократии с целями социал-демократии германской?

— Да, безусловно. Организация «Искры» стремится к тому же, к чему стремимся и мы.

— Вы, значит, держитесь того мнения, что люди, с которыми вы имеете сношения, не могли принадлежать к террористическому направлению?

— Да, это так.

— Но не было ли возможности, чтобы вместе с «Искрой» провозилась и другого рода литература?

— Нет, это исключено!

— Откуда такая уверенность?

— Я хорошо знаю этих людей и совершенно уверен, что их мировоззрение достаточно гарантировало от присылки террористической литературы...

Так отвечал на вопросы прокурора Шютце и председателя суда Шуберта (даже и не пытавшегося рядиться в тогу беспристрастия) Фердинанд Мертинс из Тильзита,— Либкнехт знал, что он наиболее тесно связан с Фрейтагом, и потому с особым вниманием вслушивался в каждое его слово. С таким же спокойствием и достоинством держали себя и остальные подсудимые. А вопросы, градом сыпавшиеся на них, прямо сказать, были не из простых. Служители прусской фемиды хорошо знали свое ремесло, этого у них не отнимешь. Коварно расставляя силки, они делали все возможное, чтобы заманить свои жертвы в ловушку, подловить на противоречиях, запутать, запугать. Но старания вырвать угодные им признания пошли прахом. Все обвиняемые отказались назвать имена русских товарищей. Все до единого отрицали даже возможность получения ими анархистской литературы. Все до единого стояли на том, что в границах Германии распространение социал-демократических идей не может считаться преступлением. Столько месяцев воздвигавшееся здание обвинения рушилось на глазах как карточный домик. Самое загадочное при этом заключалось в том, что ни прокурор, ни судья ни разу не воспользовались теми «кровавыми» цитатами, которыми буквально пестрит обвинительный акт.

Впрочем, нет, одна попытка такого рода все же имела место, но и она закончилась совершенным конфузом. Допрашивали рабочего Клейна из Мемеля. Он сказал, что не знаком с содержанием получаемой им из-за границы литературы. Тотчас каверзный вопрос: почему же вы считаете, что это не могла быть террористическая литература? И бесподобный, вызвавший громкий смех в публике ответ: ну что вы, тогда ее конфисковали бы на таможне! Вот тут-то, после некоторого замешательства, председатель Шуберт и предъявил Клейну какой-то рисунок, будто бы найденный у него при обыске. Оказалось, что карикатура; перед виселицей, на которой болтаются четыре трупа (а рядом на земле еще множество трупов), стоит человек с русской короной на голове и держит на руках ребенка. Надпись гласит: «Отныне я могу жить со своим народом в мире!»

— Вы распространяли этот анархический, на редкость возмутительный рисунок, оскорбляющий честь русского монарха! — обличающе воскликнул судья.

— Разве? — удивился Клейн.

— Именно так! Потрудитесь объяснить, кто вот этот человек?

— Я полагаю, что полицейский.

Либкнехт знал эту карикатуру — примерно год назад она была помещена в «Симплициссимусе», популярном сатирическом журнале.

— Позвольте,— заметил он,— но разве этот рисунок не из «Симплициссимуса»?

— Конечно! — поддержал его Гаазе.— Из нашего «Симплициссимуса», нет сомнения.

— Как! — в растерянности проговорил Шуберт.— Из немецкого «Симплициссимуса»?!

Веселый шумок возник среди журналистской братии, занимавшей передние скамейки. Судья громко позвонил

колокольчиком и с истинно прусаческим упорством вновь обратился к Клейну:

— Итак, обвиняемый, кто этот человек?

— Мне кажется, что полицейский.

— Полицейский — с короной?! — выходил уже из себя председатель суда.— Разве вы не видите, что это царь?..

— Нет, это полицейский,— твердил свое Клейн.

А тут еще и Гаазе с невиннейшим видом подкинул полешко в костер:

— Высокий суд, было бы крайне желательно, чтобы обвиняемый высказал свои эстетические воззрения, объяснил, почему, по его мнению, этот человек не может быть русским царем...

— Да потому,— с прежней убежденностью сказал Клейн,— что не станет же царь сам держать на руках своего ребенка!

Теперь уже никакой колокольчик не мог унять хохота в зале...

Два дня длился допрос обвиняемых. И — ровно ничего, что подтвердило бы основные пункты обвинения! Либкнехт не верил в такую легкую победу. Было непонятно, отчего прокуратура не торопится пустить в ход главные свои козыри — *те* цитаты? Хотя бы ради спасения чести мундира... Тут какая-то каверза, не иначе.

Гуго Гаазе высказал не лишенное правдоподобия предположение, что, возможно, суд вовсе и не собирается входить в обсуждение конфискованной литературы. Его цель — доказать существование некоего преступного сообщества, деятельность которого направлена против дружественной страны, чьи интересы — на началах взаимности — оберегаются в Германии. Фигурирующие в обвинительном акте цитаты террористического содержания переведены на немецкий российским консульством, и точность перевода удостоверена «за надлежащим подпи-

сом и с приложением казенной печати»,— чего же боле? Суду остается только принять эти данные как нечто бесспорное и затем использовать их при вынесении приговора...

Похоже, так оно и есть. Стало ясно, что защита лишь в том случае сумеет выиграть процесс, если докажет, что перевод русских изданий злонамеренно фальсифицирован и, второе, что в России нет закона, охраняющего интересы Германии на основе взаимности. Что касается пресловутой «взаимности», то, логически рассуждая, абсолютному режиму в России едва ли по душе правовой строй конституционной Германии; в этих условиях по меньшей мере непоследовательным было бы карать своих подданных за то, что они отрицательно относятся к заразе конституционализма и непочтительно отзываются о кайзере, который ограничил себя всяческими хартиями и разделил свою власть с людьми, непричастными божьей милости. Еще более несомненна фальсифицированность перевода. Но прежде чем перейти в атаку, следовало подтвердить эти предположения. Либкнехт попросил русского правоведа профессора Михаила Рейснера и Вильгельма Бухгольца, немецкого социал-демократа, отличного знатока русского революционного движения, много лет жившего в России (оба они были приглашены защитой на процесс в качестве экспертов), подвергнуть тщательной проверке эти основополагающие пункты обвинения.

Тем временем на суде приступили к допросу свидетелей.

Свидетельское место занимает полицейский комиссар Шеффлер. Весьма бойко доложив о своих геройских действиях по изъятию у подсудимых преступной литературы, он, разумеется, умалчивает о самом существенном: кто навел полицию на след? Ведь ясно же, что без знания русского языка невозможно установить, каков

характер этой литературы. Впрямую, к сожалению, так поставить вопрос нельзя — судья тотчас отведет его...

— Скажите, свидетель: находится ли кенигсбергская полиция в какой-нибудь *особой* связи с русской полицией? В частности, пользовалась ли здешняя полиция услугами русских шпионов или членов русского консульства?

Заметно смешавшись, бравый комиссар покосился в сторону прокурора — явно в надежде, что тот придет на помощь, но тот безмолвствовал.

— Н-не знаю,— боясь попасть впросак, в нерешительности выдавливает из себя полицейский.

— В таком случае, не знаете ли вы кого-либо из членов русского консульства, кто выполняет полицейскую службу?

И опять — *не знаю*.

Иного, впрочем, Либкнехт не ждал. Но тут не ответ — сами вопросы важны, то, что вслух сказано о шпионских функциях русского консульства. Примечательно и то, что Шеффлер ничего не отрицает, ссылается лишь на неведение...

Другой комиссар из полиции — Вольфром.

Гуго Гаазе задает вопрос:

— Было ли вам или другим лицам из полиции известно до получения русской литературы Новогроцким, что таковая ему отправлена из-за границы?

— Нет,— лаконично, но твердо отвечает Вольфром.

— Откуда же полиция узнала о поступлении литературы?

Следует продолжительная пауза, после которой комиссар заявляет, что не может ответить на такой вопрос без специального разрешения со стороны своего начальства.

— Что ж,— ядовито замечает Гаазе,— если для ответа на мой простой вопрос требуется специальное разре-

шение, я согласен подождать и даже готов просить высокий суд позволить свидетелю снестись со своим грозным начальством...

Спустя примерно час Вольфром вновь занимает свидетельское место. Прежде всего он осчастливливает всех сообщением, что соответствующее разрешение им получено.

— Итак, от кого или откуда полиции стало известно о поступлении литературы? — повторил свой вопрос Гаазе.

— Сведения эти были получены из таможни. Так происходит во всех подозрительных случаях, особенно когда подозревается литература порнографического характера. Выбор литературы был сделан начальником таможни. Перевод брошюр по нашей просьбе выполнен русским консульством.— Комиссар отлично вызубрил свой урок, говорил без запинки.

— А известно ли вам,— приступил к допросу Либкнехт,— что изложение содержания брошюр, полученное вами от русского консульства, в прессе и даже рейхстаге квалифицировалось как сознательная ложь?

Комиссар вновь, как и час назад, впал в тяжкую задумчивость: верно, в полицейском участке не предусмотрели такого вопроса, не догадались и на этот случай дать надлежащие инструкции. Пожалуй, ему и еще раз пришлось бы отправиться к начальству, но бедняге повезло — сам председатель суда Шуберт пришел ему на помощь.

— Такого вопроса я не могу допустить! — объявил он.— Свидетель ведь может знать об этом только из газет...

Тут даже и прокурор Шютце смекнул, что топорное вмешательство судьи лишь на руку защите; невольно в публике создавалось впечатление, что адвокат прав, оттого ему и затыкают рот. И вот королевский прокурор берет на себя труд опровергнуть гнусные подозрения

защиты. Объяснение его таково: перевод делался весьма спешно, поскольку требовалось как можно скорее определить, есть ли основания для возбуждения дела, так что, по его мнению, какие-то ошибки вполне возможны и легко объяснимы...

Это называется — опроверг! Либкнехт не отказал себе в удовольствии поставить последнюю точку.

— Но ведь речь, господин юстицрат, идет о документах, на основании которых люди на долгие месяцы брошены в тюрьму! Можно ли в деле такой важности быть настолько поспешным?! Я настаиваю на вызове в суд человека, осуществлявшего перевод. Это русский генеральный консул в Кенигсберге господин Выводцев.

Посовещавшись, судьи нашли возможным удовлетворить ходатайство защиты. На следующий день (а к этому времени Бухгольц обнаружил в переводе несколько абзацев, не просто даже искажающих текст, а вообще отсутствующих в оригинале!) статский советник Выводцев занял свидетельское место. Да, сообщил он, однажды я получил из полиции более двадцати пяти брошюр с просьбой немедленно просмотреть их.

— Перевести или просмотреть? — уточнил Либкнехт.

— Нет, от перевода я категорически отказался. И вообще, должен заметить, на все это дело я взглянул как на простую любезность по отношению к полиции. Наткнувшись на ряд сомнительных мест, я сообщил их в полицию.

Агнец невинный, да и только! Ну-с, ничего, сейчас нощиплем тебе перышки...

— Меня весьма интересует в связи с этим, где находится указанная вами на странице 37 брошюры «Возрождение революционизма в России» фраза о необходимости посредством террора произвести переворот?

Выводцев принялся лихорадочно листать брошюру, извлеченную из груды конфискованной литературы.

В зале воцарилась абсолютная тишина. Минут через пять Либкнехт сказал, что напрасно теряется время: не только на 37-й странице, но и во всей брошюре нет такой фразы. Может быть, господину консулу удастся найти другой абзац, в котором будто бы говорится: «Ничто не может избавить трон Николая II от той судьбы, которая постигла Александра II; кровавое дело должно совершиться, и ничто не спасет его от ярости народа»? На сей раз Выводцев даже и искать не стал.

— Я никогда не утверждал,— с апломбом заявил он,— что представил дословный перевод. За недостатком времени я дал лишь беглое изложение.

— Странно, однако, что в поспешности вы не только не пропустили ни одной резкой фразы, но еще и прибавили весьма кровожадные выражения. Согласитесь, что это довольно односторонняя поспешность.

— Я отрицаю это! — почти вскричал Выводцев.

— Как можно отрицать очевидность?

Поднялся с места прокурор Шютце и, в жажде реванша за давешний свой промах, грозно, подчеркнуто прокурорским тоном спросил:

— Верно ли я вас понял, господин защитник, что вы осмелились говорить о какой-то односторонней поспешности?!

— Я решительно настаиваю на этом. Искаженный перевод в свое время дал повод имперскому канцлеру и министрам Шенштедту и Гаммерштейну выдвинуть самые тяжкие обвинения против социал-демократов. Я полагаю, что...

Теперь председатель суда Шуберт бросился спасать главного свидетеля — не дал Либкнехту договорить, грубо перебил:

— В настоящем деле решающими моментами являются совершенно другие сочинения!

— Осмелюсь напомнить, что в общественном мнении

и в рейхстаге главную роль играли именно эти места.

— Нас это не касается. Я думаю, наше дело исчерпывается тем обстоятельством, что свидетель располагал лишь коротким временем для ознакомления с брошюрами и не имел намерения тщательно просмотреть их.

— Тем более странно, я вынужден вновь повторить это, что свидетель, располагая столь малым временем, счел, однако, возможным прибавлять слова.

— Я протестую против этой инсинуации! — уже не ведая, что творит, закричал Шуберт и, пользуясь своим председательским правом, тотчас отпустил Выводцева.

Либкнехт с улыбкой вернулся на свое место. Эта улыбка вовсе не была игрой на публику, он и в самом деле имел все основания быть довольным только что разыгравшейся сценой. Окрик вместо аргументов — да это ведь от бессилия! Еще бы не гневаться господину судье, когда шитое на живую нитку дело так наглядно расползается по швам!

Следующий день — пятый — принес защите еще больший успех. И снова «виновником» его был все тот же генеральный консул Выводцев. Оказалось, он не ограничился сочинительством в духе, который сделал бы честь завзятому анархисту, он также взялся наново сочинять русские законы. Рейснер установил, что в сделанном Выводцевым переводе параграф 260 русского Уложения о наказаниях, где говорится о взаимной защите интересов, опущено главное место, а именно что обоюдная взаимность должна быть гарантирована «особыми трактатами или обнародованными о том узаконениями». Пропуск этих слов, разумеется, не случаен. Опытный фальсификатор хорошо знал, что делает: ведь между Россией и Германией не существует договора о взаимной защите интересов и, приведи он текст закона полностью, даже и прусские законники скорей всего не осмелились бы затеять процесс...

Заявление защиты произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Судом тотчас были призваны эксперты-переводчики, два приват-доцента, которые дружно подтвердили: да, представленный Выводцевым перевод существенно искажает смысл оригинала, и именно в том направлении, какое имеет в виду защита.

Этот момент, без сомнения, был переломным в процессе. Ни судьи, ни прокурор уже не могли спасти дело. Хозяевами положения становились защитники. И грех было не воспользоваться этим! Либкнехт перешел в решительное наступление. Прежде всего он потребовал пригласить в качестве экспертов Рейснера и Бухгольца, лиц, которые дадут истинную картину правопорядка, существующего в России. При сложившихся обстоятельствах суд, конечно, не мог отказать защите в ее ходатайстве.

Итак, роли переменились. На скамье подсудимых оказался русский царизм. Ответы на многочисленные вопросы защиты дали яркое представление о том бесправии, на какое обречены в России миллионы людей, о чудовищных преступлениях царя против собственного народа. И вот под сводами старинного здания королевского суда звучит скорбная, леденящая душу повесть об арестах и свирепых казнях, о массовых порках крестьян и сечении политических, о сдаче строптивых студентов в солдаты. Завершается эта атака вопросом, который должен дать окончательное оправдание не только революционной борьбе, но даже и террору — террору отчаяния и мести.

— Существует ли в России возможность провести хотя бы ничтожнейшие реформы легальным путем?

Ответ разумеется сам собою: в России отсутствует даже право петиций...

Прокурор требует от суда пресечь подобные вопросы — дескать, непонятно, чего именно добивается защита.

И председатель суда, подумать только, вынужден объяснять ему:

— Защита, очевидно, хочет доказать, что в России не существует ни правовой, ни духовной жизни...

Либкнехт настаивает на том, чтобы на процессе была прочитана вслух вся конфискованная литература. Формальная мотивировка — необходимость установить ее точное содержание, поскольку к переводам русского консульства теперь не может быть никакого доверия.

И вот началось — и длилось целых шесть дней — чтение нового обвинительного акта, уже не того, что стряпался в камерах продажной прусской юстиции, а другого, который диктовала ожившая вдруг революционная литература. Произошло нечто поистине невероятное: все то, что почитается в России за крамолу, все то, за что в России грозит тюрьма или каторга, здесь, на процессе в Кенигсберге, призванном, по мысли его устроителей, спасти царский престол от нигилистической пагубы, оглашается свободно и открыто, а на следующий день даже печатается в неприкосновенном виде во всех европейских газетах! Кенигсбергский процесс превратился, таким образом, в подлинную трибуну жгучего, клеймящего, правдивого революционного слова... Право же, русскому самодержцу, будь он подальновидней, давно б следовало воскликнуть: «Господи, защити нас от наших друзей!..»

Либкнехт с нетерпением ждал обвинительной речи прокурора. Вот уж кому не позавидуешь! Вряд ли еще когда в мире происходил процесс столь же выдающегося значения, который покоился бы на таких зыбких основаниях. Крайне любопытно, как же он теперь, после всех этих скандальных разоблачений, обоснует свое обвинение! Положение его тем более щекотливо, что люди, обвиненные в вымышленных преступлениях, вот уже несколько месяцев находятся под стражей: в этих условиях отказ от обвинения равносилен самоубийству...

Обер-прокурор Шютце вот каким путем пошел: вполне осознавая, что сколько-нибудь основательный юридический разбор наподобие бумеранга в него же самого и вонзится, он главный упор сделал на политическую сторону дела. С этого он и начал свою речь — отметил прежде всего то огромное внимание, какое настоящий процесс возбудил к себе не только в Германии, но и во всей Европе. Затем, с наигранной страстностью провинциального актера, продолжил:

— Это внимание, господа судьи, вполне заслуженное! Настоящий процесс вскрыл происки русских революционеров, которые не только наводнили свою родину потоком нелегальной литературы, но еще вдобавок с предельной ясностью высказались относительно цели, которую они преследуют и которую выразили словами: *ниспровержение гнета самодержавия!* — И далее, широким, но вместе и брезгливым жестом указав на тюки с конфискованными изданиями, возвысил голос уже до гневного пафоса: — Можно ли себе представить что-нибудь более позорное, нежели эти сочинения, и не должно ли возбуждать изумление, что подданные Германской империи, прусские граждане, позволили себе распространять или содействовать распространению в России литературы с таким постыдным содержанием?! Между тем именно такими людьми и являются обвиняемые, все обвиняемые...

Этой жалкой патетике следовало противопоставить логику фактов, убийственных в своей неопровержимости. Либкнехт даже и признателен был прокурору, что тот задел политические струны: тем самым он дал возможность и защите свободно, не опасаясь судейского окрика, касаться любых сторон русской действительности.

Ну что ж, пора приступать...

— ...Обер-прокурор заявил, что к этому процессу приковано внимание всей Европы. Это верно; я бы даже сказал, что взоры всего цивилизованного мира обращены

ныне к Кенигсбергу. Но почему? Не потому ли, что здесь сделана первая попытка наказать немецких социал-демократов, как и вообще борцов освободительного движения, за то, что они принимают участие в страданиях и борьбе угнетенного русского народа?.. Господин прокурор спрашивает: может ли быть что-нибудь более позорное, нежели эти лежащие перед нами сочинения? Я знаю нечто действительно позорное и постыдное — это русский режим, о котором говорят эти произведения! Русская история, как никакая другая, написана кровью, которую пролило русское правительство в своей борьбе с народом, кровью благороднейших людей России. Если мы обозрим русские условия — абсолютное бесправие народа, развращенность и кровавую жестокость бюрократии, ужасную, совершенно необузданную карательную систему, избиения, массовые расправы с крестьянами, евреями, рабочими,— то мы увидим, что над новейшей историей России надписаны два слова: *Сибирь* и *Шлиссельбург* — эти две эмблемы российского великолепия. Без Сибири и Шлиссельбурга, где гибнет цвет русской молодежи, не существует царизма... Петр Великий некогда сказал: «Я имею дело не с людьми, а с животными, которых хочу превратить в людей». В настоящее же время дело имеют с людьми, которых хотят превратить в животных. Русская действительность такова, что тех, кто хочет быть человеком, отправляют в Сибирь, и только не желающий быть человеком считается благонамеренным элементом... Ныне в России идет великая борьба; часть этой борьбы, господа судьи, ведется здесь, в этом зале. Даже если бы обвиняемые действительно сделали все то, что им приписывается обвинением, то и тогда они совершили бы прогрессивное дело, и через несколько десятилетий, когда в России произойдут перемены, подвиги этих людей составят почетную для Германии страницу в мировой истории. Станьте же на сторону человеческого

разума, который воплотился в стремлении улучшить русские условия! Если благодаря совершенному здесь изобличению господствующих в России порядков будет дан толчок к их улучшению, то Германию оценят как повивальную бабку русской свободы. Оправдание подсудимых послужит Германии к славе. Обвинительный же приговор явится, я в том уверен, сигналом к усилению русского варварства. Такой приговор будет означать поощрение русского режима, того самого режима, который гонит многообещающую юность в сибирскую тундру, который заставляет лучших людей томиться в Шлиссельбурге, пропитывает их кровью Петропавловскую крепость и всех истинно любящих свою родину изгоняет из пределов отечества. Прошу вас, господа судьи, при вынесении приговора не закрывать глаз на эту кровавую и в то же время величавую картину русских условий...

И вот объявляется приговор. Основное обвинение — в «государственных преступлениях» против России — отвергнуто полностью, все девять подсудимых по этому пункту оправданы. Тем не менее — чтобы хоть как-то спасти престиж прусской юстиции — шестеро из них все же признаны виновными в «принадлежности к тайному обществу» и приговорены к заключению на срок от полутора до трех месяцев — чисто символическое наказание, ибо с зачетом предварительного заключения вся девятка тут же была освобождена из-под стражи...

Только теперь, после этих двух недель процесса, Либкнехт мог признаться себе, что хотя и рассчитывал, конечно, на успех, но о таком триумфе даже и помыслить не смел. Особенно радовало, что процесс вызвал именно тот резонанс, какой и нужен был. Все газеты (он скупил все, что имелось в тот час на почтамте) были единодушны в оценке итогов кенигсбергского судилища, даже те, которые никак уж нельзя заподозрить в сочувствии русскому революционному движению. Во всех них, по сути,

варьировалась одна и та же мысль, наиболее красноречиво сформулированная, пожалуй, в «Prager Tageblatt»: «Еще никогда язвы России не были обнажены перед общественным мнением Европы так явно. Чересчур усердные обвинители нанесли тяжелый урон не только себе, но и своим клиентам: процесс *за* Россию превратился в процесс *против* царизма».

О своем приезде Либкнехт никого не известил, даже Юлию, даже Тедди. К чему лишний переполох? Каково же было его удивление, когда, выйдя в Берлине из своего вагона, он увидел бросившегося ему навстречу Фрейтага. Поди, не первый уже кенигсбергский поезд встречает... Ах, как славно, что именно Фрейтага видит он сейчас!

— Здравствуй, Осип.

— Здравствуй, Карл,— сказал Осип, даже не заметив, что впервые на «ты» и впервые по имени.

Обнялись, расцеловались; тоже впервые...

7

Этого рыжего верзилу вовек не забыть. По ночам даже сниться стал, проклятый: скалится, хохочет, пакляные волосы во все стороны торчат — вполне разбойный вид (наяву-то он попристойней все же выглядел).

Вообще-то Осип берлинских шпиков за простофиль держал. К тому моменту, как обнаружил, что кончилась для него тихая, незаметная жизнь, что — по каким-то неведомым причинам — попал в персональную *проследку,* к этому времени он неплохо изучил уже Берлин; не одни лишь улицы — проулки и закоулки, проходные дворы и сквозные, на обе стороны, подъезды; этим и спасался.

В сущности, шпики везде на один манер — что в России, что здесь. Наметанному глазу ничего не стоит рас-

познать филера: беспечная походка, а глаза быстрые, воровские, беспокойные; профессиональное, так сказать, тавро. Но не в том дело, чтобы вычленить филера из толпы; скрыться, исчезнуть, испариться — вот задача. Если сравнивать российских шпиков с берлинскими, то *наши*, по справедливости, куда все же ловчее будут; и хватка совсем другая — бульдожья, мертвая... хоть тут русской полиции есть чем гордиться!

Осип и прежде улавливал за собою слежку, не без того, но то были эпизоды, случайности; просто ненароком попадал в силки, расставленные на других. С некоторых же пор, а именно с начала апреля, когда стали съезжаться в Берлин делегаты предстоящего III съезда партии, слежка приобрела характер вполне, так сказать, целенаправленный.

Считанные люди знали его адрес, и вид на жительство у него надежный (на выходца из России, коему русским посольством официально разрешено пребывание в Берлине), так что Осип рискнул даже отметиться в полиции, и ничего, прекрасно сошло, ни малейшей придирки. Но вот однажды к квартирной его хозяйке (добрейшее существо, души в Осипе не чаяла, по-матерински хлопотала вокруг него) явились какие-то люди, двое, стали расспрашивать об Осипе: чем занимается, не знает ли она каких-нибудь его друзей, у которых можно бы его отыскать сейчас? Очень, мол, он нужен им, срочно нужен, они, видите ли, старинные товарищи Осипа, весточку с родины должны вот передать... Фрау Неймарк, хозяйка, если б и захотела, ровно ничего о своем жильце не могла бы сказать. Осип жил уединенно, никто к нему не приходил; о делах своих, понятно, тоже ей не докладывал, а она, прелестная старуха, никогда не любопытничала. Она напрямик спросила у тех субъектов (это ее словечко) — не из полиции ли они; нет, нет, заверили, как она могла так подумать, друзья, просто друзья! Да, деталь

еще одна немаловажная: говорили они по-немецки не очень чисто, с каким-то акцентом... Осип успокоил хозяйку: вероятно, это и правда друзья искали его. Сам же почти не сомневался, что попал в поле зрения русской агентуры.

Вскоре зашевелилась и прусская полиция. Осипа вызвали в участок, спросили, каков род его занятий в Берлине, откуда он берет средства к жизни. Осип доставил справку, что обучается зуботехническому искусству у одного преуспевающего дантиста, Герберта Шпаера (опять Либкнехт помог!), и полицейские чиновники как будто вполне удовлетворились этим. Но только как будто — вот в чем беда! С утра пораньше шпики занимали свой пост у круглой афишной тумбы (наискосок от дома, где квартировал Осип), делая вид, что изучают программу увеселений на ближайшие дни. Редко-редко попадались знакомые лица, почти всякий раз шпики были другие, новые, но повадка у них до смешного была одинаковая: все до единого читали афиши на тумбе! Потом начиналась привычная игра в «кошки-мышки». Осип не торопился отделаться от очередного «хвоста», подолгу водил за собою, нарочно выбирал места полюднее, без всякой на то нужды заходил в магазины; себя уж не щадил, конечно, уставал смертельно, но шпикам, надо полагать, и вовсе худо приходилось, у них ведь еще одна забота была, главная — не упустить его из виду. Лишь изрядно помучив своих преследователей, Осип нырял в какую-нибудь хорошо известную ему подворотню, откуда был проход на соседнюю улицу, еще раза два-три повторял этот маневр — и поминай как звали. Только теперь можно было со спокойной душой отправляться на явку.

В обычных условиях (то есть занимайся он только транспортами с литературой), пожалуй, не стал бы съезжать от милейшей фрау Неймарк, великое все же дело — знать, где приклонишь ночью голову! Но рисковать без-

опасностью делегатов съезда, местом временного пребывания которых избран Берлин, Осип, естественно, не мог. Кто поручится, что, следя за тобой, какой-нибудь пронырливый шпик не выйдет и на них? Осип вновь перешел на нелегальное положение, ютился где придется, но все это сполна искупалось тем, что по крайней мере никто не подкарауливает его у ворот.

Дней пять блаженствовал: ни единого соглядатая! Благодаря этому массу дел удалось сделать. По нескольку раз на дню встречался с членами Организационного комитета по созыву съезда; была в том настоятельнейшая нужда: уже определилось место проведения III съезда — Лондон, и надо было обеспечить незаметную переброску туда делегатов, продумать, кто из них отправится из Берлина, а кто кружным путем — через Францию, через Голландию, через Бельгию, рассчитать дни и часы отъезда каждого, снабдить билетами. Членов Оргкомитета в Берлине было трое — Бур (он же Александр Эссеп), Мышь (Прасковья Кулябко) и Папаша (Максим Литвинов). С Литвиновым Осип давно был знаком: вместе сидели в Лукьяновке, вместе бежали оттуда; с ним и теперь был связан теснее всего. Однажды Осипу передали записку от Литвинова: тот назначил свидание на два часа дня в одном окраинном ресторанчике, по срочному делу...

Осип взял за правило: есть слежка, нет ли — являться на конспиративные встречи не иначе, как покружив по городу. В последнее время навострился еще ходить в национальную картинную галерею: посетителей — по пальцам перечесть, каждый на виду, случись шпику забрести следом — весь как на ладони. Был в музее зал, особенно любимый Осипом, тот, где выставлен Лукас Кранах. Подолгу стоял у огромного полотна «Отдых на пути в Египет». Щемящая наивность, детские первозданные краски. В день свидания с Литвиновым дольше обычного провел

у Кранаха — с таким расчетом, чтобы прямо из галереи отправиться к месту встречи.

Вышел из музея — тотчас заметил худого, необыкновенно долговязого человека с рыжими патлами, почему-то прятавшегося за деревом и явно высматривавшего кого-то беспокойно. Неужто шпик? Времени как на грех в обрез — некогда уже водить его за собою, чтоб удостовериться, что за птица. Не все, однако, потеряно; если действительно шпик, есть верный способ скоренько отделаться от него: обратиться с каким-нибудь незначащим вопросом, после этого он уже не посмеет продолжать преследование, смысла нет. Осип приблизился к рыжему:

— Не скажете, который час?

Тот осклабился и, показав на башенные часы, сказал:

— Четверть второго.

— Благодарю.

Осип не спеша направился к Унтер-ден-Линден с ее вечной толчеей. Настолько уж был уверен, что сбитый с панталыку шпик (если и правда шпик) не решится следовать за ним,— ни разу не оглянулся даже. И вдруг почувствовал неладное — кто-то рядом вышагивает, чуть локтем не задевает; скосил глаза — ба! рыжий! Осип резко, будто на столб наскочил, остановился. Верзила тоже остановился и, поглядывая на Осипа сверху вниз, злорадно усмехнулся.

— Виноват,— с гневно-оскорбленным видом обратился к нему Осип,— вам что-нибудь от меня нужно?

Ничуть не смешавшись, долговязый покачал головой из стороны в сторону, рассмеялся даже:

— Нет, ничего не нужно.

— Так в чем же дело?

— А ни в чем!

Чертыхнувшись в душе, Осип пошел дальше. Нахальный тип все не отстает. Осип нырнул в зеленную лавку, в подвал,— следом и этот жуткий человек. Купив ябло-

ко, Осип быстро выскочил па улицу и сразу свернул за угол. Но от рыжего совсем не просто было отделаться: играючи — лишь пошире шаг — настиг Осипа; тоже яблоко в руке; и скалится, невероятно довольный собой. Осип достал платок, протер яблоко, стал есть его. Рыжий черт обошелся без платка. Как ни погано было на душе, а тоже и смешно все-таки: ни дать ни взять — два дружка закадычные, эдакие жуиры, привычно совершающие свой бездельный променад по бурлящей Унтер-ден-Линден!

Смех смехом, а Осипу порядком уже надоела эта дурацкая пинкертонщина. У Тиргартена вскочил в трамвай — рассчитывал, что шпик промешкает, не успеет. Успел! В том же вагоне очутился, лишь на другой площадке: ловок, ничего не скажешь! Только не повезло тебе, парень, рядом с кондуктором оказался, придется билет брать. Да. Лезет в карман за мелочью, протягивает кондуктору монету... кондуктор отрывает билет... Самое время! Осип на полном ходу соскочил с трамвая и — руки в ноги — помчался по безлюдному переулку. Был уверен, что освободился от неугомонного преследователя. Нет, очень скоро, через какие-то секунды, услышал за спиной гулкий, настигающий топот. Верно, и сдачи не успел взять, бедняга...

Немало слежек пережил на своем веку Осип, но с этой, по совести, ни одна не могла сравниться. Нечто до невероятности нелепое, дикое. Свихнуться, право, можно: чистая фантасмагория! Ни малейшей логики, бред какой-то, идиотская несообразность! Начать с внешности: слишком — для шпика-то — приметная, вызывающе броская; не захочешь, так и то зацепишь глазом такого. И эта еще утрированная — напоказ — открытость его! Когда следят, чтобы выяснить твои связи или явки, к примеру, обнаружить, таятся, исподтишка действуют, а то, бывает, и вовсе эстафетно, с рук на руки тебя от шпика к шпику передают, чтоб ничего не заподозрил. Даже если, допу-

стим, решено *брать* тебя, все равно не так это происходит: сперва все скрытно, втихую, и лишь в тот самый момент словно из-под земли объявляются. Здесь же — с этим рыжим шпиком — будто нарочно все шиворот-навыворот делается. Что за притча! Загадочность, необъяснимость поведения шпика не просто сбивала с толку — ошеломляла. Томило ощущение тщетности всех своих усилий. Так бывает разве что в леденящем, тягостном сне: тебе нужно бежать, или ударить кого-то, или спрятаться от беды, а — руки-ноги ватные, оцепенелые, нет сил даже пальцем шевельнуть; какой-то столбняк находит, нечто вроде паралича...

Слово к месту подвернулось, так и есть: паралич! Тут вся и разгадка. На то, верно, и бил этот шпик (или, точнее, те, кто снаряжал его в невиданную эту охоту), чтобы сковать его, парализовать. Ему как бы дают понять: не нужны нам твои тайны, мы и так все знаем — и связи твои, и явки; нам другое сейчас надобно: чтобы и ты знал, что мы все про тебя знаем, что следим неусыпно за каждым твоим шагом,— так что поберегись, друг, от собственной тени своей шарахайся!

Если догадка верна, то — косвенно — тут и другое еще обнаруживается: выходит, что полиция (немецкая ли, русская — в данном случае безразлично) неплохо осведомлена о делах, которыми нынче занимается Осип. Да, лишь одним можно хоть сколько-нибудь удовлетворительно объяснить такое беспардонное, нарочито вызывающее поведение шпика — стремлением обезвредить тебя, принудить к бездействию. И, черт их побери, ведь добились своего — по рукам и ногам связан он теперь! Даже с Литвиновым встретиться не может...

Без малого пять часов было уже. Осип едва не валился с ног от усталости, а доброхотному его «провожатому» все нипочем, похоже: легко шагает, напористо; мало того, в лицо Осипу время от времени заглядывает, посмеивается

торжествующе в рыжие свои усы... Эдак ввек не отвяжешься от него! Нет уж, надо кончать чрезмерно затянувшуюся эту игру! Осип решился пойти к Герберту Шпаеру, тому дантисту, который не так давно крепко выручил его, дав фиктивную справку в полицию. Шпаер был социал-демократ, судя по всему, близкий Либкнехту человек. Осип без опаски поделился с ним своей бедой, спросил, нет ли второго выхода из квартиры — во двор. Шпаер повел его на кухню, там была дверь на черный ход. Толкнулись в нее — естественно, заперта.

— Понятия не имею, где ключ,— в растерянности проговорил доктор.— Придется выламывать.

— У вас не найдется гвоздя? — спросил Осип.

— А, понимаю! — обрадованно воскликнул доктор и через минуту принес из кабинета стальной костылек с загнутым под прямым углом концом и причудливой формы блестящие щипцы, явно какой-то зубоврачебный инструмент. Осип сунул костылек загнутым концом в замок, начал поворачивать щипцами; механизм замка здорово, должно быть, проржавел, минут с десять пришлось повозиться. Все это время Герберт Шпаер с восхищением наблюдал за манипуляциями Осипа, судя по всему принимая его за большого специалиста по отмыканию всяческих запоров...

Литвинова лишь поздно вечером удалось разыскать. Оказывается, вот для чего срочно был нужен Осип: на его имя из Питера послана крупная сумма денег для организации съезда; получить их, само собой, мог только Осип.

Литвинов, покончив с делом, спросил, отчего это Осип не явился днем на встречу.

— Признаться, я уж не знал, что и подумать. Опасался худшего.

Осип и рад бы умолчать о рыжем негодяе, преследовавшем его, слишком унизительно все было, шпик по

всем статьям переиграл его, но нет, нельзя. Профессиональный революционер тем и отличается от человека, случайно приставшего к партии, что меньше всего он думает о себе, о том впечатлении, какое может произвести тот или иной его поступок; так что — прочь самолюбие, зачем ему ставшая уже привычной репутация на редкость удачливого конспиратора, все это мелочи, пустяки, куда важнее — в интересах общего дела — понять, что скрывается за сегодняшней, поистине беспримерной, погоней за ним. Осип ничего не утаил — ни торжествующих усмешек шпика, ни своего ощущения совершенной загнанности, обреченности. От выводов тем не менее воздержался: хотелось знать, как все это выглядит со стороны. Мнение Литвинова в данном случае было особенно дорого: трезвая голова, не склонен к преувеличениям, недаром же еще в Лукьяновке окрестили его Папашей...

— Крайне неприятная история,— помолчав с минуту, сказал он.

— Поверишь ли, я чувствовал себя, как кролик перед удавом!

— На это и расчет. Явно хотят запугать.

— Мне тоже так показалось.

— Я только вот чего никак в толк не возьму. Получается, что он не случайно оказался у картинной галереи — именно тебя поджидал...

— Выходит, что так.

— Кто-нибудь знает, что ты у нас такой заядлый поклонник живописи?

— По-моему, нет.

— По-моему, по-твоему... дамский какой-то разговор!

— Нет, никто не знает.

Это было не совсем так. Уж один-то хотя бы человек, а именно ближайший его помощник по транспортной группе Яков Житомирский, определенно знал про эту его причуду — перед всяким серьезным делом проходить

через *чистилище* музея. Но называть сейчас имя товарища Осип не хотел: невольно набрасывалась бы тень на хорошего парня.

— Никто,— повторил Осип.

— Дай-то бог, если так. Впрочем, все равно хорошего чуть. Значит, выследили.

— Могли, конечно.

— Вот что, Осип. Придется тебе уехать отсюда! — со свойственной ему решительностью сказал Литвинов. Подумав, прибавил:— На время.

— Ты сам прекрасно знаешь, что это невозможно,— возразил Осип.— Даже на время. Нужно готовить границу. Для отправки делегатов назад, в Россию, после съезда.

— Именно поэтому тебе и нужно исчезнуть.

— Логика?

— Все очень просто, как ты сам не понимаешь? Здесь ты слишком примелькался. Раз они раскусили тебя, можешь не сомневаться, теперь не оставят в покое, каждый шаг будут контролировать. Ты для них стал вроде подсадной утки.

— Но кто-то должен заниматься границей?

— Чудак, ты и будешь ею заниматься! Сейчас уедешь куда-нибудь, допустим в Женеву, отсидишься там, а в нужный момент — незадолго до окончания съезда — по моему сигналу, вернешься в Берлин... нет, Берлин лучше исключить... в любой другой город, может быть в Лейпциг. В конце концов, безразлично, где устроить перевалочный пункт. Поверь, так разумнее.

Осип больше не возражал: доводы Литвинова были неотразимы. Впрочем, дело даже не в этом. Осип и сам, еще до встречи с Литвиновым, пусть смутно, но понимал, что невольно становится приманкой для шпиков — опаснее же этого трудно что-нибудь представить; допускал и то, что придется умерить несколько пыл, возможно, даже

покинуть Берлин. Но своим ощущениям все же остерегался довериться: у страха глаза велики; поэтому и с Литвиновым не торопился соглашаться. Теперь сомнений не оставалось: да, так разумнее, главное, полезнее для дела.

— Деньги уже поступили? — спросил Осип.— Те, из Питера.

— Да, вчера еще. Утром получишь и сразу уезжай. Транспортный пункт пока заморозим?

— Нет, зачем же. Яков в курсе всех дел, справится.

— Житомирский?

— Да.

— Толковый работник?

— Весьма.

Несмотря на поздний час, Осип отправился к Житомирскому: завтра для встречи уже не будет времени. Вместе прикинули, куда в отсутствие Осипа следует направить литературу.

— Надолго? — несколько помявшись, спросил Яков.— Уезжаете надолго?

Вопрос не содержал в себе ничего предосудительного, так что не от чего было смущаться...

— Думаю за две недели обернуться,— сказал Осип.— Ну а если, паче чаяния, задержусь, действуй по своему усмотрению.

— А куда вы едете? — спросил еще Яков.

— Ну и вопросик! — рассмеялся Осип.

— Нет, если секрет, то... Простите, я не хотел...

— Да не в этом дело — секрет ли, нет! Просто есть вещи, о которых не следует спрашивать. Запомни на будущее: каждый знает только то, что ему положено знать. Ну, ну, не тушуйся, бывает...

Житомирский нравился Осипу. Очень, разумеется, еще «зеленый», но — с массой достоинств. Хороший работник получится из него со временем...

8

Через день Осип уже был в Женеве.

Славный город! Несуматошливый, по-провинциальному тихий, ласковый. После Берлина — другая словно планета. А тут вдобавок еще пронзительно синее небо, апрельская дурманящая теплынь, белоснежные яхты на безупречной глади озера.

Вот уж где действительно можно дышать полной грудью!

Вскоре сообразил: в этом, верно, все и дело — здесь легко и свободно дышится; не только в буквальном смысле. Лишь теперь он почувствовал, до какой степени устал — от слежки, от бесчисленного множества дел и забот. Лишь теперь вполне осознал, какая все же непомерная тяжесть была на нем все последнее время. И даже странно стало, что там, в Берлине, ничего такого он в себе не ощущал; тянул свой воз, не кряхтел — вроде так и нужно.

Нет, нет, он вовсе не ропщет на судьбу, какая чушь, иной судьбы он и не хочет для себя! Тут другое. Просто в любом деле — будь оно хоть трижды желанным и любимым — человеку время от времени, видимо, нужна передышка; и как же удачно все сошлось, что выпала ему эта поездка в Женеву — именно сейчас, когда он подошел, быть может, к пределу своих возможностей...

Да, что ни говори, а в жизни совершенно необходимы такие вот *остановки*. В череде неотложных забот, во вседневных хлопотах, увы, приходится чаще думать о близком, о сегодняшнем — хоть необходимое из виду не упустить! Зато теперь Осип дал себе волю...

Женева — так получалось — занимала в его жизни какое-то особое место. Третий раз он здесь, и каждый приезд откладывался в сознании как некая вешка на пути: не просто приметная — переломная.

Сперва это был съезд Заграничной лиги, где Осипу

предстояло понять, решить, с кем он — с большевиками, меньшевиками? Нелегко дался ему тогда этот выбор — может быть, понимал он теперь, самый важный, самый решающий в его жизни выбор. Неловко сейчас и подумать, но вполне могло ведь и так все повернуться, что, поддавшись на уговоры Блюма, он пошел бы за Мартовым... чего скрывать, личные отношения не мало значат в наших поступках. Но нет, свой выбор он сделал сам. Особенно-то гордиться тут, понятно, нечем, но отметить это все же, наверное, следует: как факт, как данность. Тем более что тогда, в октябре девятьсот третьего, по горячим следам Второго съезда, он даже отдаленно не представлял себе, в какое болото зайдут меньшевики, к каким недостойным методам прибегнут, лишь бы верховодить в партии. Время показало, что отнюдь не частности, не какие-то оттенки во мнениях разделяют большевиков и меньшевиков — несовместимость позиций по кардинальным вопросам.

Чем дальше, тем отчетливее становилось, что Российская социал-демократическая партия лишь по видимости была единой, в действительности существовало две партии. Но сколь различно было их положение! Воспользовавшись тем, что почти все сторонники Ленина находятся на подпольной работе в России, Мартов и Плеханов захватили «Искру», затем и ЦК прибрали к рукам. В этом немало помогли им примиренцы — появились и такие люди в партии, даже в самом ЦК; движимые добрым на первый взгляд побуждением примирить обе фракции, они почему-то понимали это примирение таким образом, чтобы сдать все позиции меньшевикам, нимало при этом не считаясь с решениями съезда и волей подавляющего большинства местных комитетов в России. Поистине: благими намерениями устлана дорога в ад...

Особенно рьяно проявил себя на этом «примиренческом» поприще Носков, ставший вместо большевика Ленг-

ника (уехавшего в Россию и там арестованного) представителем ЦК за границей. Это он кооптировал, против воли Ленина, в ЦК примиренцев — невзирая на то, что по уставу партии такая кооптация допустима лишь при полном единогласии членов ЦК. Это он запретил партийной типографии печатать брошюры, написанные сторонниками большинства. Это он, наконец, попытался на свой лад перекроить работу берлинской транспортной группы, во главе которой стоял Осип.

Последнее произошло в момент, когда и без того положение — хуже не бывает. Русская агентура, с полного одобрения берлинской полиции, глаз не сводит с каждого русского; администраторы «Форвертса», насмерть перепугавшись, не пожелали больше терпеть в своем здании склад с русской литературой; арестованы немецкие товарищи, помогавшие Осипу, и уже затевался Кенигсбергский процесс. Одно к одному, словом. Ценой невероятных усилий Осип добился того, что все это время транспортный аппарат действовал бесперебойно. Как и прежде, в основном переправлялась «Искра» — новая «Искра», уже переродившаяся; делал это Осип с тяжелым сердцем, через силу, но делал: не в его власти было остановить мутноватый этот поток. Но вместе с «Искрой» в каждую партию вкладывал также литературу, написанную с твердых искровских позиций. Вот это-то и не устраивало примиренцев. Носков направил в Берлин, якобы на помощь Осипу, меньшевика Коппа. Ну уж помощничек! Еще не успев даже толком вникнуть в дела, он тут же потребовал прекратить отправку большевистской литературы в Россию. Позвольте, сказал Осип, но разве работы сторонников большинства не являются партийной литературой? Прежде всего это полемическая литература, говорил Копп, а она теперь не нужна, не тот момент. Осип потребовал разъяснения — что это за такой особый момент сейчас, при котором члены партии не вправе отстаивать свои

взгляды? Копп ничего вразумительного не мог сказать. Тогда Осип заявил, что как отправлял, так и впредь будет отправлять в Россию *всю* партийную литературу, без малейшей оглядки на то, что это может кому-то не понравиться.

Вскоре Копп стал проявлять повышенный интерес к связям транспортного пункта: через кого, в каких именно местах границы происходит передача транспортов; адреса, явки, пароли. Осип сказал ему, что эту часть работы он оставляет за собой — потому хотя бы, что многое здесь основано на личном доверии к нему, Осипу, тех или иных лиц. Но не исключено, добивался своего Копп, что мне придется заменить вас, совсем не исключено, так не лучше ли передать связи заблаговременно?

Осип и прежде догадывался, что вовсе неспроста подослан к нему Копп, но и при этом ему не приходило в голову, что у Коппа могла быть какая-нибудь иная цель, кроме как нейтрализовать Осипа. А тут вон, оказывается, каков замах! Ну уж нет, господа хорошие, не получите вы от меня такого подарка: берлинский транспортный пункт, может быть, единственный сейчас ручеек, по которому идет большевистское слово. Притворившись обиженным, Осип спросил в тот раз: вы не находите, уважаемый, что это не очень по-товарищески — заживо хоронить меня? Коппу пришлось оправдываться: дескать, вы не так поняли меня, просто есть мнение, что вы слишком долго занимаетесь транспортными делами, возможно, за вами следят... впрочем, тут и толковать не о чем, это элементарно, азбука конспирации! К тому же, насколько я знаю, вы давно рветесь на работу в Россию, поэтому меня изрядно удивляет, что... Осип прервал его: у вас неверные сведения на сей счет, меня вполне устраивает *эта* работа!

Врал, конечно. Ни о чем так не мечтал, как оказаться по ту сторону границы; там, на родине, всегда так считал, он сможет принести гораздо больше пользы. Но нет,

дудки, сейчас он не покинет Берлин: не устраивает его такой преемник, ну просто никак не устраивает! Спустя примерно месяц, поняв, должно быть, что ему не удастся завладеть связями, Копп вообще оставил работу в транспортном пункте, кажется, из Берлина даже уехал.

У Осипа имелись, казалось, все основания быть довольным тем, как идут дела. Само собой, не о Коппе тут речь, не о том, что хоть он перестал палки в колеса ставить, вернее, не только об этом. Главное — заметно легче стало работать; явно что-то переменилось вокруг.

Прежде всего, был выигран Кенигсбергский процесс, и — как следствие этого — поумерила свою прыть русская агентура. Тильзит вновь стал важным перевалочным пунктом литературы (временное отсутствие его ощущалось весьма болезненно). Фердинанд Мертинс, с исключительной твердостью державшийся на процессе, и теперь крепко помог; когда Осип, не желая больше подвергать его риску, отказался от его предложения, как и прежде, направлять на его имя посылки под видом кожевенного товара, Мертинс связал Осипа с управляющим одной крупной тильзитской типографии, на адрес которой можно было уже открыто посылать литературу.

Существенно изменился и состав отправляемых в Россию транспортов. К этому времени сторонниками большинства было издано несколько книг и брошюр о Втором съезде партии, о борьбе с меньшевиками, среди них — «Шаг вперед, два шага назад» Ленина, «Борьба за съезд» Малинина, «Совет против партии» Воровского, «Долой бонапартизм!» Ольминского, работы всё основательные и, что немаловажно, зубастые, боевые,— отличное противоядие новой «Искре»! И наконец (если говорить только о существенном), появился у Осипа отменный помощник, Яша Житомирский. Студент-медик, учится здесь, в Берлине; некоторое время сильно колебался, к кому примкнуть, в конце концов выбрал большевиков. Редкой

исполнительности и расторопности человек, Осип не мог нарадоваться на него...

Да, все, казалось, шло как нельзя лучше. Тем не менее Осип не испытывал удовлетворения от своей работы: благополучие было чисто внешнее. Механизм отлажен, шестеренки не заедают, но — во имя чего крутится вся эта машина? Как ни раскинь, а получается, что берлинская транспортная группа фактически работает на меньшевиков, ведь не секрет, что основной объем в перевозках занимает «Искра»... Доколе, спрашивается, терпеть это? Доколе мириться с тем, что центральный партийный орган превратился в орган борьбы против партии? И это сейчас, когда сам исторический момент предъявляет к партии особые, повышенные требования! Когда революционный пролетариат России вплотную подходит к прямому столкновению со своими врагами! Положение нелепое, невозможное, невыносимое... Нужна своя, большевистская, газета, необходимо созывать новый съезд, который внес бы определенность, а главное, подготовил бы партию к предстоящим революционным боям,— Осип в то время уже знал о созданном по инициативе Ленина Бюро комитетов большинства, знал, что это бюро ведет подготовку к III съезду, но нетерпение его было столь велико, что он, даже и понимая всю сложность такой подготовки, готов был упрекнуть женевских товарищей в чрезмерной медлительности.

В ноябре 1904 года Крупская вызвала Осипа в Женеву. Для чего — он не знал. Тем более не мог знать того, что и этому его приезду в Женеву тоже (как и первому) суждено будет стать этапным моментом в его жизни...

Собрание большевиков. Ленин руководит собранием.

Ставится на обсуждение вопрос об издании большевистской газеты «Вперед» — спешно, безотлагательно. Дело не в том даже, что нынешний ЦК изгнал большевистские брошюры из партийной типографии, превратив ее таким

образом в кружковую типографию, и всячески препятствует доставке в Россию литературы большинства, занимаясь тем самым оголтелой подделкой общественного мнения. Более существенно то, что огромное большинство комитетов в России порвало отношения с меньшевистской «Искрой», отказалось поддерживать связи с редакцией. В результате сложилось более чем странное положение: партия — без органа, центральный орган — без партии. Издание газеты «Вперед» исправит положение, поможет в борьбе за выдержанное революционное направление, против смуты и шатаний в вопросах и организационных, и тактических...

Целый год Осип не видел Ленина — со времени съезда Заграничной лиги. Тогда Владимир Ильич был мрачен, выглядел больным. Не то, совсем не то теперь: предельно собран, бодр, сгусток энергии... Так оно и бывает, думал Осип: всякий кризис одних надламывает, других закаляет; только в момент тяжкого испытания (а это ли не испытание — удар в спину, который нанесли недавние друзья и, казалось, единомышленники!) и познается по-настоящему человек... Весь этот год было трудно и Осипу, иногда совсем невыносимо — при всем том, что он отчетливо понимал свое место в партии: рядовой работник, более или менее старательный исполнитель, не более того. Что же должен был испытывать Ленин, человек, больше которого никто не сделал для создания единой партии, видя, как буквально на глазах разрушается с таким трудом воздвигавшееся здание?! И сколько сил надо было найти в себе, чтобы не пасть духом, не сломиться и с новой, совершенно невиданной энергией взяться за дело. На подобное способен лишь тот, кто думает не о себе, а о деле, лишь тот, кто ясно видит перед собой конечную цель, которая заведомо выше его самого... Это урок, наглядный урок тебе, подумал Осип, это надо запомнить...

Решение о газете, о скорейшем ее выпуске было при-

нято всеми участниками собрания единодушно и с радостью. Отправились затем в кафе; пили пиво, пели песни... конечно, и меньшевиков почем зря честили, а как же! Неожиданно с улицы донесся какой-то веселый шум. Кто-то пошутил: дескать, уж не по поводу ли нашей газеты такое ликование? Оказалось (кельнер объяснил), нынче большой национальный праздник — День эскалады: женевцы отмечают карнавалом бегство войск герцога Савойского, который триста лет назад пытался приступом взять Женеву. О, карнавал? Быстрей на улицу, марш, марш! Музыка, огни, разноцветные ленты серпантина, безудержное, прямо-таки детское веселье. Все это как нельзя больше соответствовало нашему настроению, помнится, мы взялись за руки и, притопывая в такт музыке, влились в общий хоровод. А когда встречали влюбленную парочку в масках, тотчас окружали этих молодых людей и не выпускали из своего кольца до тех пор, пока не заставляли их поцеловаться. А Ленин! Как он смеялся, каким заразительным весельем звенел его смех...

Да, таким вот — радостно памятным — был для Осипа второй его приезд в Женеву. Ведь то главное, что было решено на том собрании — создание газеты, которая даст ясные и определенные ответы на все вопросы, выдвигаемые жизнью,— самым тесным образом было связано с его, Осипа, повседневной работой. Теперь и пребывание его в Берлине обретало новый смысл...

Первый номер газеты «Вперед», отпечатанный на тончайшей бумаге, вышел спустя три недели. В передовой статье «Самодержавие и пролетариат» (Осип знал, что она написана Лениным) говорилось: «На русский пролетариат ложится серьезнейшая задача. Самодержавие колеблется. Тяжелая и безнадежная война, в которую оно бросилось, подорвала глубоко основы его власти и господства... Пролетариат должен воспользоваться необыкновенно выгодным для него политическим положением. Пролета-

риат должен... встряхнуть и сплотить вокруг себя как можно более широкие слои эксплуатируемых народных масс, собрать все свои силы и поднять восстание в момент наибольшего правительственного отчаяния, в момент наибольшего народного возбуждения...» Так с первых же своих строк новая газета во всеуслышание заявила, что ее направление есть не что иное, как направление старой «Искры» — по тону, по духу, по задачам. С этого момента Осип прекратил отправку «Искры» — в Россию широким потоком пошла теперь газета «Вперед». Осип привел в действие все каналы и все способы транспортировки: и в письмах рассылал во все концы России, и заделывал, спрессовывая почти до твердости картона, в картины, в переплеты «невинных» книг, и одевал всех, кто едет *домой*, в «панцири»; но больше всего отправлял, конечно, *тяжелым* транспортом — через контрабандистов.

И вот наконец нынешнее посещение Женевы — впервые по своей надобности, не по вызову.

Не совсем так, конечно: «по своей надобности». Рыжая ищейка вынудила! И опять не так. Будь на то его воля, да разве сюда, в Женеву, поехал бы он? Россия — вот куда тянуло его неудержимо! Тут не просто ностальгия. Мысль, и прежде не дававшая ему покоя — о том, что на практической работе он принесет куда больше пользы — теперь, как никогда, пожалуй, отвечала также и реальным потребностям движения. На дворе как-никак, друзья, одна тысяча девятьсот пятый год! Революция!

Осип твердо решил: он добьется, что его пошлют в Россию, чего бы то ни стоило, добьется этого!

Нет, сперва он, конечно, сделает все то, что при сложившихся условиях лучше других может сделать именно он. После съезда он встретит делегатов в Лейпциге, затем оттуда переправит их поодиночке через прусскую границу. Ну а потом и сам уж воспользуется одним из своих пограничных «окоп»...

Все эти дни в Женеве, пока проходил в Лондоне III съезд, Осип был предоставлен самому себе. При желании мог, разумеется, повидать кое-кого из своих не столь давних знакомцев. Здесь жили и Плеханов, и Мартов, и Блюменфельд; многие и другие сторонники меньшинства были сейчас здесь (Осип знал, что, отказавшись участвовать в работе III съезда, меньшевики устроили в Женеве свою конференцию). Но не было у Осипа такого желания — специально искать их. Осип исправно читал новую «Искру», пересылкой которой до поры до времени поневоле приходилось заниматься, поэтому слишком хорошо знал, каково нынешнее *верую* сторонников Плеханова и Мартова. Смеху подобно: революция в разгаре, а они — как с Луны свалились — все призывают укреплять в массах сознание неизбежности революции! Когда же речь заходит о путях революции, о том, какова роль в ней пролетариата, тут и вовсе диковинные вещи обнаруживаются: оказывается, не главенствующая роль, а подчиненная (буржуазии, разумеется, подчиненная). И эти люди считают себя членами рабочей партии!..

* * *

«Женева, 13 июня 1905

Настоящим мы назначаем уполномоченным Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии т. *Фрейтага* и просим другие организации и партии оказывать ему всяческое содействие.

От имени Центрального Комитета Российской социал-демократической рабочей партии *Н. Ленин (Вл. Ульянов)*».

* * *

Осип готовился к отъезду в Одессу.

Собственно, вся и подготовка-то — передать дела по транспортному пункту. В преемники выбрал Житомирского. Дельный человек; четок, исполнителен, имеет вкус к кон-

спирации. Очень спокоен, не склонен к импульсам, рассудителен. Еще — предельно корректен, мил и мягок в обращении, словом, из тех людей, с которыми общаться легко и приятно... Если чего и не хватало в нем Осипу, так это более определенной очерченности, острых углов, что ли, резкости; но это, понимал он, даже и нечестно — примерять всех на одну колодку, тем более на свою... нет, братец, говорил себе Осип, если серьезно, то и сам ты ой как далек от совершенства... Нет, нет, все это пустое.

Дней пять оставалось Осипу до отъезда. Как вдруг однажды, выглянув ненароком в окно последней своей в Берлине конспиративной квартиры, он с чувством, близким к мистическому ужасу, обнаружил, что напротив его дома стоит и, ничуть не таясь, нахально смотрит прямо на Осипа рыжий шпик — тот самый; стоит и, по обыкновению, скалит зубы, скотина! Осип подозвал Житомирского:

— Запомни эту образину, Яша.

— Кто это?

— Помнишь, я рассказывал о шпике, который привязался ко мне у картинной галереи? Знаешь, по-моему, он гений...

— Гений? А на мой взгляд, недотепа. Такую коломенскую версту и за десять верст увидишь!

— Нет, это какой-то особый шпик. У него своя тактика, пикак раскусить ее не могу. Одно лишь знаю: страху нагонять он умеет! А каков нюх? Нечто сверхъестественное. Ну скажи на милость, как он мог выйти на эту квартиру? Только я да ты знаем о ее существовании. Выследил? Тоже невозможно: мы уже двое суток не выходим на улицу. Значит, интуиция, что ж еще! Одно слово, гений...

— А совпадение? А случайность? Такое тоже ведь бывает. Пришел по личному своему делу. Или, допустим, выслеживает какого-нибудь анархиста, живущего, быть может, как раз над нами.

— Дорогой мой Яков,— сказал Осип.— Нет ничего опаснее в нашей работе, чем уповать на дурацкое счастье: авось пронесет, авось образуется... Я лично предпочитаю в таких случаях рассчитывать на худшее — это, знаешь ли, как-то заостряет нервы, заставляет быстрее соображать. Впрочем,— оборвал себя, рассмеялся,— чужой опыт никого еще ничему не научил, прости.

— В принципе,— с понравившейся Осипу серьезностью сказал Житомирский,— я согласен с этим: береженого, видно, и правда кто-то бережет. А сейчас... Я хотел бы проверить ваше предположение. Давайте сделаем так: я сейчас выйду, специально пройду мимо него; если он охотится за нами, то, естественно, потопает следом... ну а вы в это время исчезнете отсюда! Сразу двух зайцев убьем.

— Яша, милый, да ты что, неужели серьезно? О боже,— воздев руки, шутливо воскликнул Осип,— и на этого легкомысленного человека я оставляю свой любимый транспортный пункт! Горе мне, о горе!..— И вновь не удержался от поучения: — Нет, Яша, если кого и нужно сейчас беречь, так это тебя. Без меня теперь, худо-бедно, обойтись можно, без тебя — нет. Пожалуйста, крепко запомни это...

Границу Осип перешел ночью, ползком. В кармане его пиджачка был паспорт на имя Покемунского — по случайному совпадению земляка, уроженца Вилькомирского уезда.

В середине июля Осип приехал в Одессу.

Глава пятая

1

Из Женевы в Одессу. Н. К. Крупская — С. И. Гусеву (июль 1905 г.): «Вы просите прислать людей, а из ле-

гальных газет мы узнаем, что явка ваша не действует. Думаем послать к вам *Пятницу...*»

* * *

Н. К. Крупская — М. И. Ульяновой (14 августа 1905 г.): «Фрейтаг поехал в Одессу».

* * *

Н. К. Крупская — С. И. Гусеву (17 августа 1905 г.): «К вам поехал Пятница, но по старой явке, не знаю, найдет ли. Из Питера ему написали, что явка старая действует...»

* * *

Из Одессы в Женеву. С. И. Гусев — В. И. Ленину (конец августа — начало сентября 1905 г.): «Состав комитета подобрался прекрасный. Берга и Фрейтага нечего вам рекомендовать — великолепные работники...»

* * *

С. И. Гусев — В. И. Ленину (сентябрь 1905 г.): «Какой великолепный организатор и агитатор Фрейтаг. Вот идеальный работник, вот партийный человек до мозга костей. Прямо не налюбуюсь на него...»

2

Поднялся Осип чуть свет.

Почти и не спал нынче, лишь время от времени окунался в недолгую дрему. Лежал покойно, с открытыми глазами и думал, думал, и отрада в душе от этих дум, прямо высшая какая-то благость; может, оттого и поднялся легко, с ясной головой и тем же предвкушением радости, которое не покидало всю ночь.

Уже развиднелось, когда он вышел из дому. Было воскресенье, 16 октября — *главный* день.

Все решилось с неделю назад. Одесский комитет партии, окончательно определив дату массовой демонстрации — 16 как раз октября, назначил Осипа быть ее руководителем. Почетно, конечно, что тут говорить, но и ответственность невероятная. Осип вполне отдавал себе отчет в том, что́ означает такое руководительство; разумеется, не просто во главе колонны гордо вышагивать, а прежде всего так запустить и отладить *машину*, чтобы в нужный момент и в нужном месте сошлись все эти сотни и тысячи людей, не разминулись друг с другом и чтобы каждый из них отчетливо сознавал, во имя чего встанет под красное знамя.

Осип весь ушел в работу: с раннего утра беготня по городу, из конца в конец, и миллион дел разом, и все надо удержать в голове; теперь, когда безумные эти дни уже позади, Осип мог сказать себе, что такого напряжения, такой полной, абсолютной траты сил никогда, пожалуй, еще не было в его жизни. Вообще-то людям свойственно почитать дело, которому отдаешь душу, самым важным на свете, но сейчас Осип был уверен, что не заблуждается, не обольщается, что не только поэтому — не из-за личной своей причастности к этому делу — считает предстоящую демонстрацию самым значительным и весомым событием в деятельности комитета. Демонстрация эта наглядно покажет, чего стоит вся работа большевиков по организации и сплочению одесского пролетариата. Демонстрации бывали и раньше, но — какие? Стихийные, случайные, малочисленные! В отличие от них, сегодняшняя не только будет заранее подготовленной, организованной, но, главное, пройдет под определенными — тоже заранее выверенными — лозунгами...

Идти Осипу нужно было через весь почти город: жил на Молдаванке, а путь держал к центру. Там, на углу

Дерибасовской и Преображенской, напротив сквера, соберутся люди.

...Вчера разговор был с Гусевым.

— Что, устал? — спросил вдруг Гусев.

Перед этим Осип докладывал ему, как секретарю Одесского комитета, о последних приготовлениях к демонстрации; стараясь не поддаваться эмоциям, говорил нарочито сухо, по-деловому: только факты, цифры, фамилии, и вот эту-то деловитость тона Гусев, должно быть, понял по-своему.

Вопрос его был неожиданным для Осипа: как-то не задумывался. Наверное, и правда устал; столько беготни, столько встреч, столько разговоров — как не устать? Но — вот ведь странно как! — при всем том он вовсе не чувствовал себя опустошенным (как это бывает обычно при сильной усталости). Скорее наоборот: было ощущение какой-то особой полноты жизни, желанной полноты. А впрочем, чему тут и удивляться? Когда делаешь то, о чем мечтал и к чему так стремился, разве придет в голову вести бухгалтерский подсчет потерь! Чушь, все воспринимаешь слитно, и именно как радость, как счастье!

Но Гусеву сказать так постеснялся: как-то очень уж патетически получалось. Сказал только:

— Пожалуй, и верно, устал.

— Что, в заграницах-то полегче было?! — шутливо поддел Гусев.

— Нет,— не согласился Осип. Подумал, повторил: — Нет, ты неправ. Легче — здесь. И знаешь почему?

— Дым отечества?

— Не только. Здесь, в России, видишь результаты своей работы. Понимаешь?

— Признаться, не очень. Это что, обязательно — видеть результат? Вот ты занимался транспортом. Через твои руки проходила литература, которая, по справедливости, страшнее динамита. Взять ту же хоть «Искру» —

прежнюю. Мне ли говорить тебе, скольким рабочим она открыла глаза, подвигла на революционное действие!

— Люди по-разному устроены. Умом-то я всегда понимал, что моя работа приносит пользу, возможно и немалую, и что результаты ее непременно скажутся — в будущем, в более или менее отдаленном будущем. Но в этом-то вся и штука: что лишь со временем, в будущем. Мне в Берлине мучительно недоставало ощущения непосредственной пользы. Я понятно говорю?

— Более чем.

— Я нетерпелив по натуре своей. Это недостаток, большой недостаток, я знаю, да что тут сделаешь? Но где-то я вычитал или слышал от кого-то: нужно уметь пользоваться не только своими достоинствами, но и недостатками.

— Занятная мысль.

— Прежде всего верная, по-моему. Но я продолжу. В России — в эти три месяца, что я в Одессе,— я словно бы ожил. Работать в гуще людей и знать, что от твоего слова, от умения убедить, организовать, повести за собой зависит успех,— по мне ничего другого и не надо.

Гусев помолчал, потом сказал вдруг:

— Я рад, что тебя послали сюда.

— Я тоже.

— Одесса не самый легкий хлеб на земле.

— Трудный орешек, да.

— Ты молодцом, Осип,— сняв свои очки с толстыми стеклами, совсем уж неожиданно сказал Гусев.

О да, вспомнив вчерашний этот разговор, повторил сейчас Осип, Одесса и впрямь трудный орешек, очень. Из Берлина этого было не понять, многое оттуда виделось иначе, с некоторым даже искривлением...

Хорошо помнится: когда узнал, что ЦК направляет его в Одессу, в этот совершенно неведомый ему город, а не в Вильну, скажем, или в Москву, или Екатеринослав,

ничуть не удивился такому решению. Там, из заграничного его далека, все казалось таким простым, таким ясным: полнейший завал в Одессе, тамошние большевики не сумели воспользоваться даже приходом в июне броненосца «Потемкин», не подняли город на восстание... Причина такой пассивности? Неумелость членов комитета, что же еще! Характерный штрих: смогли ведь меньшевики довести число своих сторонников до 750, в то время как за большевиками шло лишь 300 человек. Из всего этого с непреложностью вытекало — надо *спасать* Одессу; и вот из Питера спешно направляется сюда — секретарем городского комитета — Гусев, и Шотман едет, вот и Осипа послали... Словом, довольно легко все виделось: придут-де в комитет новые люди, придут — и мигом поправят дело. Но то, как виделось раньше, издали, имело мало общего с действительным положением вещей. Все равно что смотреть в перевернутый бинокль — тот же вроде ландшафт, да не тот, лишь приблизительный контур; что-то, конечно, угадывается, но не все, далеко не все, и главное — нет деталей, подробностей, без которых иные «угадывания» способны лишь навести на ложный след, создать обманную, искривленную картину.

Слов нет, немало огрехов можно сыскать у прежних комитетчиков. Однако же обвинять их в неспособности руководить движением тоже не след. Толковые люди стояли во главе комитета, если угодно, даже талантливые, и опыта подпольной работы им было не занимать: Лидия Книпович, Левицкий, Шаповалов! Но не все зависело от них. Было, по крайней мере, две причины, наложившие свой отпечаток на дела комитета.

Первая — особые, специфические одесские условия. Кто бы мог подумать, что Одесса, с ее немалым числом жителей,— город скорее торговый, чем промышленный. Крупных предприятий практически нет, в основном мастерские, и пролетариат не только сравнительно малочис-

лен, но вдобавок еще распылен. Местные интеллигенты тоже были особого рода: вся их оппозиционность сводилась к произнесению пламенных речей в пользу умеренных действий,— удивительно ль, что они с такой охотой потянулись к меньшевикам, щедро ссужая их деньгами?

Другая причина, мешавшая делу, заключалась в несоответствии старых приемов и методов работы нынешней революционной обстановке. Ведь что собою представлял партийный комитет в условиях подполья? По сути, замкнутый, строго законспирированный кружок. Члены комитета не выбирались, а кооптировались. Делалось это, понятно, не из любви к сектантству, а в силу необходимости: чтобы «засекретить» руководителей организации, обезопасить, насколько возможно, от провалов. Этой же задачей определялась и структура организации — любой, Одесской в том числе. Обязанности между членами комитета, как правило, распределялись так: один секретарствовал, другой заведовал «техникой», третий — интеллигентской секцией, и только четвертый или пятый являлся *организатором* всего города, то есть исполнял всю остальную работу — руководил агитацией, пропагандой, зачастую и литературной группой, осуществлял непосредственную связь с рабочей массой. Этот единственный член комитета, известный широким кругам, естественно, не мог долго оставаться на одном месте, после двух-трех месяцев работы он должен был улетучиваться (разумеется, если жандармы еще до этого срока не позаботились изъять его из обращения). Подобный тип организации, при всех своих минусах тем не менее оправдавший себя в нелегальных условиях, изжил себя во время начавшейся революции, когда потребовалось куда более близкое соприкосновение комитета с массой, когда агитация и пропаганда должны были удесятериться.

Одесский комитет вовремя не сумел перестроиться. Впрочем, «не сумел» едва ль то слово, какое нужно: в

нем слишком ощутим привкус осуждения. Нет, Осип не осмелится бросить камень в тех, кого ему и его товарищам пришлось сменить. Это *сегодня* мы точно знаем, что и как нужно. Но сегодняшнее было бы невозможным без вчерашних поисков, и ошибок, и разочарований. Вечная история: птичка на голове великана видит дальше самого великана; но дает ли это ей право смотреть на великана свысока?.. Если мы сейчас чем-нибудь и сильны, то прежде всего опытом, выстраданным нашими предшественниками.

Тут и другое не худо поиметь в виду иным любителям чернить все то, что было до них. Найдется ль где еще организация, которая была бы так обескровлена, как большевики в Одессе ко времени потемкинских дней? Часть членов комитета была арестована, другие принуждены были во избежание арестов сами оставить город. Вот и найди здесь правых, виноватых...

Теперь проще, куда понятнее.

А и споро же работа пошла! У нас, у нового состава комитета... Было трудно, каторжно трудно; Осип на своей шкуре познал, что такое работа в России: адский труд, и все равно жилось эти три месяца так счастливо, так весело, с таким полным ощущением своей нужности, незаменимости, как дай-то бог и оставшуюся жизнь прожить.

Собираясь вместе, ругались отчаянно. Не из упрямства и уж тем более не из желания первенствовать. Поиски истины — вот что двигало каждым.

К тому времени, как Осип приехал в Одессу, здесь уже произошла перестройка структуры большевистской организации. Город был разделен на три района: Пересыпский, Городской и Дальницкий; Осип был назначен организатором Городского района. Такое построение партийной организации давало возможность охватить своим влиянием рабочих даже мелких предприятий. Осип,

помимо общего руководства делами района, особо взял еще под свою руку партячейки двух наиболее крупных фабрик — табачной Попова и чаеразвесочной Высоцкого. Многих и многих рабочих Осип по именам знал, сам тоже хорошо был известен фабричному люду — вот он, решающий аргумент в пользу новой организации всей работы! Примечательно, что изобретение это не суть одесское только, и в других, доходят сведения, городах подобное происходит, притом вполне независимо друг от друга: как повсеместный отклик на потребности дня.

И так во всем. Революция, что ни час, задает все новые вопросы, хочешь не хочешь, а надобно отвечать на них — так или иначе. Одна лишь загвоздка тут: как заранее угадать, что истинно, что ложно? Все ведь внове, ни на что прежнее не обопрешься. Вот и спорили чуть не до хрипоты...

Неожиданно всплыл, например, вопрос об отношении к профессиональным союзам; отнюдь, оказалось, не академический вопрос. Привычный, годами устоявшийся взгляд на вещи таков, что профсоюзы с их узкими, цеховыми интересами уводят пролетариат от политических задач. Так оно, верно, и есть; не случайно же именно на почве профессиональных союзов пышным цветом расцвела зубатовщина. Долгие годы социал-демократы только то и делали, что вскрывали узость, недостаточность деятельности профсоюзов. Но сейчас другие настали времена, слишком другие, чтобы, готовя пролетариат к вооруженному восстанию, пренебрегать этой пусть первичной, элементарной, амебной, но все же классовой формой организации.

О, какие пылкие дебаты развернулись на заседаниях комитета! Стоило Гусеву внести на обсуждение резолюцию о том, что мы должны взять на себя руководство профессиональным движением (нисколько при этом не упуская из виду, что это вторая задача в настоящий мо-

мент, а первая — подготовка вооруженного восстания), как тут же последовали весьма энергичные возражения — со стороны Правдина и Готлобера. Помилуйте, говорили они, да ведь брать на себя руководство профессиональным движением означает брать на себя и ответственность за все его огрехи, включая стихийные, неуправляемые бунты. Хотя Осип и не был согласен с их конечными выводами, но в то же время не мог не признать, что их разбор отрицательных сторон профессиональных союзов отнюдь не беспочвен; собственно говоря, в их доводах особо и нового-то ничего не было: что профсоюзная водица подчас мутновата — кто в том сомневается? Но здесь особенности текущего момента прежде всего надобно взять в расчет, иначе и впрямь в трех соснах заплутать можно. Тут вот чего следует опасаться, ведя подготовку к вооруженному восстанию,— что забвение или полный отказ от профессионального движения может легко привести к отрыву от широкой массы. Да, профессиональная борьба узка, ограничена, но нельзя забывать, что это первая ступень той лестницы, по которой пролетариат идет к социализму.

Помнится, Осип горячо поддерживал резолюцию Гусева. Нужно, сказал он тогда, идти во все профессиональные союзы, ибо это лучшая из всех существующих ныне трибун для нашей агитации. Еще он сказал: никто ведь не считает, что, беря руководство профессиональными союзами, мы должны подчиниться «узкопрофессиональным» тенденциям, сузить себя до профессионализма; наоборот, в своей агитации мы должны постоянно подчеркивать неотделимость профессионального движения от политической организации, от широкого политического движения... Правдин в запальчивости бросил: жизнь покажет, как жестоко вы заблуждаетесь! Жизнь показала: жестоко ошибались они, Правдин и Готлобер. И сегодняшняя демонстрация — разве пришла бы кому-нибудь в го-

лову мысль замахиваться на нее, если бы расчет был лишь на близкий к партии сознательный авангард пролетариата, если бы большевики не подчинили своему влиянию также и профсоюзы?

Так уж получилось, что эту демонстрацию и предшествовавшую ей в пятницу 14 октября политическую забастовку большевики проводили одни — без меньшевиков, без бундовцев, без эсеров (хотя еще с месяц назад была достигнута договоренность о совместных действиях, когда речь идет о крупных политических акциях). Никто из них не возражал ни против забастовки, ни против демонстрации. Но почти всех их, видите ли, не устраивали сроки. Бундовцы заявили, что, поскольку еврейские рабочие получают жалованье в пятницу, они вряд ли станут бастовать в этот день. Хорошо, предлагают большевики, давайте проведем забастовку в субботу. Нет, подают на сей раз голос меньшевики: в субботу жалованье получают русские рабочие — тоже, поди, не согласятся бастовать. Эсеры в свою очередь выставили какие-то контрдоводы: их не удовлетворяли лозунги забастовки. Словом, большевикам пришлось целиком взять на себя проведение и забастовки, и демонстрации. И что же? Забастовка прошла на редкость дружно, захватила все основные отрасли производства (и получение жалованья, выходит, ничуть не помешало!). Теперь предстоит главная проверка революционности одесского пролетариата — нынешняя вот демонстрация. Как сказано в мудрой древней книге — всему свой час и время всякому делу под небесами: время бросать в землю семя и время собирать плоды... Каков-то будет урожай?

...Чем ближе к центру — все гуще людей становилось. Радостные толчки — в крови, в висках: неужто *туда*? А ну как и правда — туда? От Осипа ничего теперь не зависит, ровно ничего. Все, что можно было сделать, уже сделано; не только вчера, или позавчера, или позапозавчера: во

все последние месяцы. И если, говорил себе Осип, мы не просто небо коптили все эти месяцы, если наши усилия оставили хоть какой-то след — чего ж тогда удивляться тому, что люди именно туда устремились сейчас — к Дерибасовской и Преображенской? Оживленный, на самых верхних тонах, говор, шутки, смех; так на богомолье не идут, нет...

Первое чувство, какое испытал Осип, появившись в Одессе, было удивление. Все здесь было не так, как везде. Буйство красок, необузданность, чрезмерность речи, жестов, никакой затаенности, все напоказ: слезы, счастье. Осип ощущал себя зрителем какого-то вселенского спектакля; поначалу только зрителем, потом все чаще уже прямым участником. Одесситы определенно были по душе Осипу: он и вообще любил легких на острое словцо, неунывающих людей...

Народу на углу назначенных для сбора двух главных улиц накопилось (это Осип увидел еще издали) гораздо больше, чем можно было ожидать, сквер явно уже не в состоянии был вместить всех пришедших, а люди все подходили и подходили. Вчера, когда на заседании комитета в последний раз обговаривали детали демонстрации, твердо намечены были лишь две вещи: что начать шествие желательно в девять утра и — второе — что двигаться следует по направлению к Херсонской улице. Назначили сбор на девять, но могли назначить на час позже или раньше — это несущественно, главное здесь, чтоб люди сошлись к определенному времени. До девяти оставалось больше получаса, но Осип, увидев, сколько собралось народу, решил, что — пора. Он взял у какого-то парня знамя на длинном древке и, широко развернув красное полотнище, вышел на самую середину перекрестка и крикнул, слегка помахивая над головой знаменем:

— Начинаем, товарищи! Строимся по четыре! Вперед, товарищи!

И первый зашагал к Херсонской, бывшей как бы продолжением Преображенской улицы. Херсонская вовсе не случайно была выбрана. Здесь помещался университет, сейчас там во всех аудиториях шли митинги, и участники их — студенты — должны были присоединиться к демонстрации. Так все и вышло: студенты дружно влились в растянувшуюся на добрую версту колонну, лозунги, звучавшие и раньше, поддержанные молодыми тренированными глотками, раздавались теперь почти беспрерывно: *Долой самодержавие, да здравствует Учредительное собрание, даешь вооруженное восстание!* Но демонстрация, вопреки последнему призыву, была мирная — в комитете вопрос о вооружении рабочих даже не ставился (хотя при желании кое-какое оружие сыскать, конечно, было б можно); лозунг о вооруженной борьбе был скорее программный, устремленный в более или менее отдаленное завтра. А сейчас было важно хоть на несколько часов захватить центр города, во весь голос заявить о своих нуждах и требованиях. И — еще важнее — показать, какая мы, если соберемся вместе, *сила.*

Сила, что говорить, была внушительная; брось только клич — весь город на кирпичики разнесут, хоть и голыми руками. И это крепко, должно быть, почуяли обитатели высоких, с богатой лепниной по фронтону, ныне будто вымерших домов, уставившихся на демонстрацию пустыми глазницами окон.

Со стороны Дерибасовской донесся вдруг цокот множества копыт. Верховые казаки шли крупным наметом: словно открытое пространство было перед ними, а не живая человеческая масса! Как нож в слегка подтаявшее масло, так и они — легко, совсем играючи — вошли в колонну, располосовав ее надвое. Люди расступались, пропуская отборных лошадей, сами сторонились, тесня друг друга, но казакам, похоже, этого мало было: направо и налево свистели нагайки. Казаки действовали с хорошо

отработанной умелостью; было ясно, что цель их — не просто рассеять демонстрантов, не просто согнать их с главной улицы на боковые, основная их цель — хорошенько испугать людей, чтобы впредь им неповадно было *демонстрировать...*

Задача, стоявшая перед демонстрацией, была выполнена, и Осип дал команду расходиться; оказывать сопротивление вооруженной силе пора еще не настала... Кто-то уходил, убегал во дворы, в соседние улицы, но не все; часть людей, крепкие мужички в основном, явно не торопились покинуть центральную эту улицу, собирались в плотные кучки, словно б сговариваясь о чем-то. Осип устремился к решительно настроенным мужчинам, которые теснились у чугунной решетки сквера. Предчувствие — что здесь нечто затевается — не обмануло. Боевые мужички уже выдергивали прутья из ограды, уже выворачивали торцовый булыжник, тотчас, разумеется, швыряя все это в наседающих казаков; а когда обнаружилось, что камнями не спасешься — принялись опрокидывать трамвайные вагоны, застрявшие на перекрестке.

Теперь Осип ничего не мог уже поделать: разве остановишь *стихию?* Он остался на импровизированной этой баррикаде и тоже, как все, кидал камни в казаков; иначе нельзя было, иначе казаки сомнут, свалят, затопчут. То, что делали сейчас рабочие, было актом защиты, а не нападения. Рядом с Осипом был красивый чубатый парень, который показался знакомым.

— С табачной фабрики?

— Точно,— обрадовался парень.— Как есть — с табачной! А я-то тебя сразу признал. Ты товарищ Яков, верно?

— Верно.

— А я Микола... Сейчас мы им покажем, гадам! — Микола рассмеялся задорно, со всего размаха швырнул

булыжник. Попал, не попал — не имело значения, главным для него было — что кинул.

И в этот момент, глядя на Миколу, Осип, кажется, понял вдруг нечто очень важное: не здесь ли вся разгадка того, что происходит сейчас? Людям надоело только защищаться, возникла потребность, быть может неосознаваемая, самим вершить свою жизнь и свою судьбу. Решиться кинуть камень, зная, что в ответ может грянуть ружейный залп, одно это о многом уже говорит. И как знать, может быть, мы были неправы, посчитав, что еще не приспело время для вооруженной борьбы?..

Казаки на диво быстро ускакали, не сделав ни единого выстрела. По всему выходило, что власти ограничились разгоном демонстрации. То ли другой задачи и не ставили перед собой, то ли побоялись встретить более серьезный, нежели булыжниками, отпор. В любом случае можно было считать, что демонстрация удалась. Это было мнение не одного Осипа, так же высказались и все остальные организаторы районов, когда часов в двенадцать дня собрались на явке у Гусева; был пока предварительный разговор, по свежему, что называется, следу, окончательно подбить итоги дня договорились вечером.

3

Явка Городского района, куда направился Осип, была в противоположной стороне от комитетской явки, на Молдаванке, так что идти опять, как и утром, пришлось через весь город. Что прежде всего бросалось в глаза — большое оживление на улицах. Людям словно бы тесно стало в своих комнатках, своих дворах — высыпали на тротуары, на мостовую и громко, как умеют только одесситы, и так же весело доказывали что-то друг другу;

тема разговоров одна — сегодняшняя демонстрация. На всем своем пути (это тоже невольно обращало на себя внимание) Осип не встретил ни единого городового, не то что казаков.

Районная явка помещалась на Южной улице. Осип уже сворачивал к нужному дому, как вдруг из-за угла вылетел конный отряд, но не казаки, а полицейские; с нагайками в руках, они вихрем промчались мимо, на ходу устроив глупейшую пальбу по сторонам... Со звоном брызнули стекла, вскрик ужаса, пронзительный детский плач... Ни раненых, ни убитых, к счастью, не было. Что это? — спрашивал себя Осип. Пьяные безумцы, отчего-то возжаждавшие крови? Или запоздалая месть за давешнее, утреннее? Полицейская околоточная доброхотность или же приказ свыше?

Вечером, когда вновь собрались у Гусева, стала складываться довольно определенная (и достаточно зловещая) картина. Сценка со стрельбой в мирных прохожих, свидетелем которой случилось быть Осипу, была, как выяснилось, вовсе не единичной. Такие же бандитские налеты происходили и в других частях города, притом лишь там, где жила беднота, и не везде стрельба была просто шумовым эффектом: были многочисленные жертвы — десятки убитых.

Скорбные эти вести наложили свой отпечаток на заседание комитета — оно проходило нервно, резко. Раздавались даже голоса: а следовало ли вообще проводить демонстрацию, если она привела к таким жертвам? Были и другие, прямо противоположные голоса: вся беда, мол, в том, что демонстрация — мирная, безоружная, вот полиция и уверовала в свою безнаказанность. Осип не брался судить, кто из них прав больше, кто меньше; честно сказать, он вообще не очень понимал, как можно о чем-то судить да рядить, хладнокровно взвешивать, когда кровь пролилась, безвинных людей кровь... Если о чем и

стоит думать сейчас — так о том лишь, как быть теперь дальше. Еще вчера всем им, комитетчикам, казалось, что браться за оружие — рано; верно, так оно и было в действительности — вчера. А сегодня? Вернее, после сегодняшнего?..

Правдин, организатор Пересыпского района, посчитал такую постановку вопроса чисто эмоциональной. Уместно ли, говорил он, призыв к вооруженному восстанию ставить в зависимость от бандитского нападения озверевших молодчиков? А если бы не было этого нападения и этих выстрелов? Не уподобляемся ли мы тому мальчишке, который, получив затрещину, обуреваем единственным желанием непременно дать сдачи? Нужно быть последовательными, заключил он, и браться или не браться за оружие, сообразуясь только с действительной необходимостью.

С точки зрения чистой логики стройные силлогизмы Правдина были, пожалуй, безупречны. Но не худо бы проверить, сказал, возражая ему, Осип, не получается ли так, что логика сама по себе, а жизнь — в данном случае — тоже сама по себе? Последовательность, к которой призывает Правдин, конечно, прекрасная вещь, но лишь до той поры, пока она не превращается в прямолинейность. Если сообразоваться только с предварительными планами, не прислушиваясь к зову дня, мы рискуем безнадежно отстать от движения, руководить которым берем на себя смелость.

Осип говорил то, что думал, и говорил со всей искренностью и убежденностью. Но это слишком непростой был случай, чтобы быть уверенным в полной своей правоте. Он хорошо понимал, что малейшая неточность в оценке происшедшего сегодня, скоропалительный, ошибочный вывод чреваты самыми роковыми последствиями.

Единственный, кто молчал во время жарких этих дебатов, был Сергей Иванович Гусев. С первого взгляда он

производил впечатление человека вялого, медлительного, даже флегматичного. Не было ничего обманчивее такого впечатления. Просто его отличала невероятная выдержанность, в самые отчаянные моменты он не терял голову, был предельно хладнокровен. Но Осип знал: это спокойствие и эта выдержка сочетаются в Гусеве с огромным внутренним горением, с неистовым темпераментом и страстностью не ведающего страха бойца... Что скрывать, Осип был влюблен в старшего своего товарища и теперь, как всегда, с нетерпением ждал его слова. А Сергей Иванович все сидел молча и делал какие-то записи по ходу заседания. Когда все высказались, он поднялся с места и глуховатым своим голосом негромко сказал:

— Я тут набросал проект воззвания. Скажу сразу, что я за вооружение рабочих. Но прежде хочу коснуться одной очень и очень важной мысли Правдина. Своим вопросом он обнажил самую суть проблемы. Действительно, а если бы, предположим, не было нападения и не было бы убитых — что тогда? Стали бы мы и в этом случае призывать нынче к вооруженной борьбе? По логике вопроса получается, что отрицательный ответ на него как бы автоматически свидетельствует о случайности, непродуманности, скоропалительности любого решения в пользу восстания. Но ведь это не так. Не стоит опускать стыдливо глазки, скажем прямо: не будь сегодня жертв — едва ли кому пришло бы на ум звать к оружию. Но события, мы воочию в этом убедились, развиваются иной раз независимо от наших планов и намерений. Сегодняшняя трагедия вынуждает нас форсировать вооруженную борьбу. Согласен, это сложно. Согласен, мы психологически не готовы к столь быстрому изменению ситуации. Согласен, в подготовке к восстанию — в силу сжатости сроков — мы многое, и это прискорбно, можем упустить. Но другого выхода, я полагаю, у нас нет. Нерешительность, медлительность могут погубить все дело...

В этом он был весь, Гусев. Когда задумывалась какая-либо акция, он всегда стремился разработать тщательный план действий и добивался неукоснительного его выполнения. Но в случае неожиданного поворота дела он не боялся молниеносно перестроить весь план и найти новое решение. Да, он никогда не держался за вчерашнее лишь потому, что оно привычнее; всегда и во всем главным для него были требования наступившего момента, сегодняшней ситуации.

Листовка, которую он тут же прочел, была составлена сжато и ярко. В ней — призыв к рабочим продолжать забастовку и одновременно вооружаться кто чем может, ибо борьба с самодержавием, несомненно, переходит в вооруженную. Текст листовки был принят единогласно, и на следующий день, отпечатанная за ночь в подпольной типографии, она распространялась по всем рабочим окраинам. Еще комитет решил превратить похороны жертв полицейского произвола в новую политическую демонстрацию. Гусева и Осипа уполномочили вести по этому вопросу переговоры со всеми революционными организациями: одними своими силами было не справиться.

Весь день 17 октября ушел у Осипа на встречи и разговоры с лидерами различных партий и фракций (левого толка, разумеется) — не только с меньшевиками и бундовцами, которые, худо-бедно, а все же были социал-демократами, но и с националистами из армянской дашнакцутюн и откровенно сионистского Поалей-Циона. Предложения большевиков встретили полную поддержку: общая беда заставила забыть о партийных раздорах. Был создан федеративный комитет, который выработал план похорон и как первую неотложную меру постановил выставить в больнице на Молдаванке, куда свезли всех убитых, постоянный вооруженный патруль, дабы полиция в стремлении замести следы своего злодеяния не выкрала тела жертв.

Рано утром, затемно (вторник был уже, 18 октября) Осип первым делом завернул в больницу: как прошла ночь? Патрульные (пятеро, по человеку от каждой партии) явную нехватку вооружения — один револьвер на всех — восполняли повышенной бдительностью. Сколько Осип ни доказывал им, что он свой, к моргу его так и не пустили. Оно и хорошо: чужих тем более не допустят...

Осип направился на явку к Гусеву. Фактическая безоружность патрульных наводила на невеселые размышления. Лозунг «вооружайся кто чем может» при ближайшем рассмотрении не так-то уж и хорош. Мало иметь оружие — надо точно знать, сколько его и в чьих оно руках. Самое лучшее — собрать все имеющееся оружие в комитете, чтобы организовать боевые рабочие дружины. Да, все больше утверждался в этой мысли Осип, иначе нельзя; в противном случае, без надежной самообороны, даже и предстоящие похороны могут превратиться в новую бойню...

Но что это? Крики «ура»... «Марсельеза»... множество праздных людей... веселые, счастливые лица... все друг друга поздравляют с чем-то, обнимают... и какой-то господин в котелке даже лезет к Осипу с лобызаниями... Что такое?

— Как?! — в свою очередь изумился господин в котелке.— Вы ничего не слышали? Люди, вы только посмотрите, этот человек еще не знает, что царь наш батюшка даровал нам свободу!..— И сунул Осипу свежий газетный листок, на котором аршинными буквами было начертано: «Высочайший манифест».

Осип быстро пробежал глазами крупно набранный текст. Божиею милостию, Мы, Николай Вторый... Смуты и волнения... Великий обет царского служения... Для выполнения общих предначертаемых Нами... Так, вот наконец суть: *даровать* населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосно-

венности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов... Дан в Петергофе, в семнадцатый день октября... Вчера, стало быть.

Вчера, повторил Осип. Возможно, в то самое время, когда мы решали у себя в комитете вопрос о переходе к вооруженной борьбе — борьбе, в сущности, за те именно свободы, которые отныне *дарованы* царем народу. Вопрос в том только — дарованы или *вырваны?* И еще: пока что помянутые свободы лишь провозглашены, мертвые письмена на клочке бумаги, а что станется, когда до дела дойдет?.. Осип и рад бы верить цареву манифесту, но не мог, решительно не мог. Вполне возможно, что это вообще ловушка для простаков, рассчитанная на то, чтобы выявить, а затем изъять революционные элементы России...

Но надо было видеть в этот час одесскую улицу! Кругом бурлила разномастная толпа. И какая неподдельная радость на лицах, сколько искреннего воодушевления! Под крики всеобщего восторга то здесь, то там произносились пылкие речи, единственный смысл которых сводился к изъявлению все того же восторга, откуда-то взявшаяся красная материя с треском разрывалась — на знамена, на банты. Возбуждение толпы достигло, кажется, предела. Оно неминуемо должно было переплавиться в какое-нибудь дело, в действие. И верно: уже раздавался чей-то призыв — к тюрьме! узников, наших безвинных братьев освободить! И сотни глоток — к тюрьме! освободить! Но рядом и другой клич — к думе! на митинг! пусть дума берет власть! И вот толпа ощутимо уже разделилась, раскололась на две части. Осип был среди тех, кто шел к городской думе: живо вдруг вспомнилось, что в Париже инсургенты первым делом захватили именно думу... или как она у них там называлась — Ратуша, должно быть?

То, что живой, текучей массой двигалось сейчас и

думе, при всем желании нельзя было назвать демонстрацией, или даже кортежем, или просто шествием,— слова эти, при некоторых отличиях в оттенках, все же предполагают известную упорядоченность. Здесь же не было и намека на колонну, шли не в шеренгах, а скопом, гурьбою, гуртом: очень похоже на вечерние летние променады по Дерибасовской, разве что теперь народу много больше и все идут в одну сторону.

Дерибасовскую не узнать было. Улица знати и толстосумов, лучшие дома, тяжелые портьеры, скрывающие частную, за широченными итальянскими окнами текущую жизнь,— на сей раз лучшая улица лучшего, как полагают одесситы, города в мире преобразилась неузнаваемо. От чопорности, от солидности и следа не осталось: все открыто, все нараспах — двери, окна! Особенно живописную картину (цыганский табор, да и только) являли собою балконы, увешанные всевозможными коврами и занавесями красных тонов,— и кто бы мог подумать, что здесь живут такие отчаянные революционеры!

Встречного движения не было, куда там — ни пройти ни проехать. На панелях, вдоль домов теснились люди, среди них и военные попадались — их заставляли снимать фуражки перед красными знаменами.

Но вот и дума. Тотчас — будто кто специально караулил этот момент — над ней взвился красный флаг. На площади перед думой открылся митинг, трибуной для ораторов служили ступени парадной лестницы. Говорили много, говорили длинно, случалось и так, что разом пытались говорить несколько человек. Пришлось Осипу взяться за председательский колокольчик — хоть какой-то порядок в речах наметился.

Спустя какое-то время появились казаки — небольшой отряд. Осип не сразу заметил их, лишь в тот момент, когда обнаружил вдруг, что остался почти один со своим медным колокольчиком; просто непостижимо было, как столь-

ким людям так молниеносно удалось исчезнуть. Осип просто отметил это — отнюдь не в осуждение; после того, что произошло в воскресенье (и разгон демонстрации, и выстрелы потом, вечером), любая предосторожность нелишняя. И все-таки два обстоятельства в этой связи явно заслуживали особого внимания. Первое: что хотя и объявлена полная и неприкосновенная свобода, а публика тем не менее вмиг схлынула, как говорится, на манифест надейся, а сам не плошай; нет, стало быть, доверия у людей, какие бы пылкие речи во славу свободы ни произносились. И второе: казаки-то, между прочим, стороной проскакали; впечатление такое, что они сами больше всего боятся сейчас встретиться с толпой, лицом к лицу столкнуться,— добрый признак, не так ли? Публика тем временем прихлынула назад, и речи продолжались с прежним энтузиазмом. Но Осипу стало уже ясно, что эти словопрения ни к чему путному не приведут. Передав «бразды правления» бородатому студенту (тот был совершенно осчастливлен этим), Осип вошел в здание думы.

В коридоре, в комнатах царило запустение, везде валялись бумажные клочки, было накидано все, разбросано. Что вовсе показалось странным — в некоторых помещениях были сняты с крюков и теперь валялись на полу портреты Николая II, иные из них даже разорваны... не иначе, кто-то вообразил, что предоставление народу свобод равносильно отречению государя от престола...

В одной из комнат заседали члены городской управы. Прислушавшись, Осип обнаружил, что отцы города решают сейчас вопрос, каким должен быть значок для милиционеров.

— Господа,— сказал Осип (и самое удивительное, его вмешательство было воспринято как должное, решительно никого не удивило),— господа, поскольку речь зашла о значках, надо полагать, что все остальные вопросы, связанные с созданием милиции, уже решены?..

— А разве есть еще какие-то вопросы? — воскликнул плотный человек с тонкими, по последней моде, усиками — адвокат Янков, всему городу известный пустобрех.

Осип со всей учтивостью, на какую только был способен, взялся объяснять думским мудрецам, что не худо б сперва решить, кто приколет к своей груди милицейский значок, форма которого с таким завидным рвением дебатируется сейчас, и второе — имеется ли в думе оружие, которое будет вручено новым блюстителям порядка?

Здесь-то и стали выясняться прелюбопытные вещи. Во-первых, что милиционеров члены управы намеревались заполучить через домовладельцев из числа наиболее состоятельных квартиронанимателей, и, во-вторых, что милиционерам вовсе, оказывается, не нужно оружие. Значки вот нужны непременно, а оружия — ни-ни, зачем оружие, если манифест гарантирует неприкосновенность личности?

Осип предложил создать рабочую милицию, а вооружить ее (если мы действительно хотим порядка на наших улицах) через революционные организации. Его поддержали человека два-три, да и те из публики были, члены же управы твердо стояли на том, что, чем меньше у рабочих оружия, тем лучше; впрочем, заявил один из городских заправил, если бы и потребовалось кого-то вооружать — помилуйте, откуда у нас деньги! Мы бедны, как... кладбищенские крысы! При этом Мищенко (так звали этого оратора, владельца пивного завода) поигрывал массивной, не медной, надо полагать, цепочкой от часов...

В дверях Осип вдруг заметил Гусева, должно быть только что появившегося здесь. Подошел к Гусеву, тот сказал: тут ничего не добьешься, пустая трата времени. Да, кивнул Осип, из них ничего не выжмешь, я убедился. Пока шли вместе к выходу, Гусев рассказал о главном: по слухам, на Молдаванке начался погром. Надо

посмотреть, так ли это. Еще надо всеми возможными силами помочь несчастным. Молдаванка входила в Городской район, которым руководил Осип.

— Я сейчас же отправлюсь туда,— сказал он.

— Только вот что,— вдогонку сказал ему Гусев,— в любом случае в семь вечера будь в университете, соберемся, обсудим всё.

— Комитет?

— Нет, собрание всех членов. Положение слишком серьезное.

— Я постараюсь оповестить своих.

Явка районного комитета помещалась на Почтовой улице, туда прежде всего и поспешил Осип. Ему повезло: застал в комитете члена райкома Якова, по кличке Экстерн, и ближайшую свою помощницу Соню Бричкину. Они подтвердили: да, на Молдаванке погромы.

— Сколько у нас наганов? — спросил Осип.

Яков достал из кухонной полки три револьвера.

— По-моему, это безумие,— сказал он.— Тремя наганами эту орду не остановить.

— Посмотрим,— сказал Осип и, сунув один из наганов в карман, другой передал Экстерну.

— А мне? — сказала Соня.

— Нет,— сказал Осип.— Во-первых, это не женское дело...

— В таком случае революция вообще не женское дело! — строптиво дернула своей хорошенькой головкой Соня: эта юная особа, уж точно, за словом в карман не полезет.

— А во-вторых,— невозмутимо продолжил Осип,— тебе поручается оповестить товарищей, что сегодня в семь вечера собрание в университете, общее городское собрание.

— Ой, слишком мало времени! — воскликнула Соня.— Боюсь, не успею.

— Ты уж постарайся,— попросил Осип.— Я обещал Гусеву.

Третий наган Осип сунул за пояс (как — ярко вспыхнуло вдруг в памяти — самодельный деревянный пугач в далеком детстве).

Первых бандитов Осип, Экстерн и присоединившиеся к ним по пути еще трое рабочих (из так называемой периферии, куда входили пусть и не члены партии, но все же близкие к движению, верные, надежные люди) повстречали на Треугольной улице. Было бандитов около тридцати. Пьяные, озверелые, они гонялись за женщинами, за детьми, били всех, особенно нещадно мужчин; звон стекла, вопли, треск, грохот — дикая, страшная картина. Куда же, интересно знать, полиция смотрит? По команде Осипа пальнули в воздух из всех своих трех револьверов (третий достался Федору, рабочему с фабрики Высоцкого). Погромщиков будто ветром всех посдувало. Но ненадолго. Через несколько минут — видимо, привлеченные выстрелами — прибежали солдаты во главе с бравым унтером. Осипу и его товарищам пришлось отойти за угол. Вскоре ушли и солдаты; и только они ушли — тотчас вновь появились громилы. Три нагана не бог весть какая грозная штука, но стоило ведомой Осипом пятерке рабочих сызнова прибегнуть к выстрелам — громилы исчезли. Правда, и на этот раз рановато было торжествовать победу: давешние солдаты тут как тут и, повинуясь приказанию унтера, направили свои винтовки в сторону стрелявших...

Итак, все становилось на свои места. Не мирное население охраняли солдаты, а пьяное отребье, банду насильников!..

Последующие события — события ближайших часов и дней подтвердили эту догадку. Даже Федеративный комитет, созданный по инициативе большевиков из представителей всех революционных организаций, даже воо-

руженные отряды самообороны, сформированные комитетом, ничего не могли сделать. Всякий раз, когда революционные отряды брали верх над погромщиками, тут же появлялись полиция, или казаки, или драгуны, или пехота и — тоже не раз бывало — открывали огонь по рабочим. Было много жертв — слишком неравные силы! Можно справиться с бандами черносотенцев — невозможно, по крайней мере на нынешнем этапе, одолеть регулярные правительственные войска. Приходилось подумывать об отступлении: борьба с самодержавием предстоит долгая и упорная, необходимо сохранить кадры.

Погром закончился через три дня. Теперь ни у кого уже не оставалось сомнений в том, что и здесь, в Одессе, и во всех других городах, где погром тоже длился эти трое суток, ровно трое, не может быть и речи о какой-то случайности. Логично предположить, что «Союз Михаила Архангела» получил некую команду. Но от кого? Уж не от самого ль царя? Похоже, весьма! На то похоже, что, ставя роскошный свой росчерк на этом гнусном листке с пустыми обещаниями, он хорошо уже знал, какие «свободы» назначает своим верным подданным...

Погром закончился — усилились бесчинства полиции. Пьяные патрули задерживали и обыскивали кого им вздумается, тащили в участок, били; часы, кольца, кошельки мирных жителей становились их добычей... Все это творилось не иначе как для того, чтобы наглядно продемонстрировать, чего на самом деле стоит «действительная неприкосновенность личности»...

Однажды и Осип едва не попался. Больше недели не видел он Итиных, одесских своих друзей, зашел на минутку узнать, живы ли, целы ли. По нынешним временам любого лиха ждать можно. Жили Итины в центре города, на углу Екатерининской и Успенской. Сидели, тихо-мирно пили чай, разговаривали о недавних событиях, как вдруг стекла посыпались на пол и пули, одна

за другой, полетели в потолок. Квартира Итиных была на третьем этаже, а стреляли снизу, с улицы — оттого пули ушли в потолок, никого не задев. Бросились к окнам и, затаившись в простенках между ними, наблюдали за происходящим внизу. Ничего хорошего: дом оцеплен солдатами и городовыми, даже пушку легкую привезли, наставили на парадную дверь. Было ясно, что дом будет подвергнут обыску...

Нет, Осипа не прельщала перспектива встретиться с осатаневшими держимордами. Не только потому, что он не живет в этом доме, а значит, его наверняка заберут в участок для установления личности. Другой еще страх прибавлялся: у Осипа был при себе наган; стоит полицейским обнаружить его — пиши тогда пропало, туго и ему придется, и, что дополнительным гнетом висело, Итиным... помилуйте, они-то за что пострадают? Осип решил уйти, но его объяснение — что недосуг, мол, ждать ему облавы, совсем в обрез времени — не удовлетворило добрых его хозяев, они тотчас выставили вполне здравые резоны против его ухода. Пришлось рассказать о нагане; Итин предложил спрятать оружие в «секретную» шкатулку своего поставца, мило пошутил при этом: «Эту шкатулочку, поверите ли, я сам не всегда могу найти!», но Осип конечно же не мог подвергать риску своих хозяев.

Мог не мог, а — пришлось: тем временем уже невозможно стало покинуть квартиру, ломились в дверь полицейские. Офицер, возглавлявший патруль, бросился в гостиную с изрешеченным пулями потолком:

— Кто отсюда стрелял в патруль?

Итин (само спокойствие) негромко сказал, что окна, взгляните сами, уже замазаны на зиму, значит, если бы, допустим, мы даже стреляли из форточки, то пули попали бы в окна дома напротив, но никак не в патруль, который находился внизу посреди улицы. Трудно сказать, удалось Итину убедить офицера или нет (а скорее всего,

считал Осип, его и убеждать-то не в чем было, ему ль не знать, что вся эта стрельба не более как им самим затеянная провокация), но тотчас начался обыск, а после того как все было перевернуто вверх дном, и допрос жителей всего дома, которых согнали в просторную гостиную Итиных и оттуда поодиночке вызывали в кабинет — согласно записям в домовой книге.

Это и спасло Осипа — то, что полицейские чины и мысли не допускали, что в доме могут оказаться посторонние. Людей набилось в гостиную слишком много, чтобы солдатик, карауливший у дверей, мог заметить, что кого-то там не выкликнули... но это потом, постфактум, так сказать, Осип хладнокровно взвешивал все шансы спасения, тогда ж, во время того обыска и допроса, признаться, не до рассуждений было, преизрядно страху набрался...

Октябрьские события поставили перед комитетом новые задачи, можно даже сказать, неожиданно новые. Главный урок — бессилие революционных организаций, вызванная разобщенностью слабость социал-демократов всех течений. Движение расплескивалось на множество ручейков, вместо того чтобы являть собою единый полноводный поток.

На повестку дня встали два неотложных вопроса. Первый из них — перестроить всю организацию на выборных началах; это даст возможность расширить и укрепить партийные связи. На ближайшем собрании Осип сделал — по поручению Гусева — информационный доклад о построении местных организаций германской социал-демократической партии (там выборность осуществлена повсеместно, снизу доверху). Опыт хорош, для Германии даже отменно хорош, но едва ли его можно механически переносить на русскую почву, у нас отсутствует важнейшее условие его существования — легальность партии. Было бы совершенным безумием по-

верить в свободы, обещанные царским манифестом,— большевики твердо решили официально не легализовать свою организацию. Однако наряду с сохранением нелегального аппарата следовало использовать все легальные возможности для создания открытых и полуоткрытых партийных организаций, вовлечь в партию как можно больше новых членов, прежде всего из рабочих.

Но одного усиления своих только рядов все равно было недостаточно для того, чтобы во время решающей схватки с царизмом повести за собой весь рабочий класс. Наступил момент, когда стало ясно, что раскол социал-демократии, какими бы вескими причинами он ни был вызван, противоречит интересам революции, ибо ослабляет демократические силы. Вопрос об объединении большевиков, меньшевиков, что называется, назрел. Это не чья-то прихоть — знамение времени, если угодно. Вот и Лева Владимиров, большевик, привез из Питера призыв ЦК объединиться с меньшевиками, не дожидаясь слияния двух центров сверху...

Говоря откровенно, Осип не был готов к такому, психологически не готов (Гусев, к слову сказать, тоже). Им казалось, что делать это без ведома и согласия ЦК не следует. Но революцию не интересует чья-то там психология, она не спрашивает, готовы ли к ней те или иные личности: ее дело *ставить* вопросы...

Занялись выработкой условий объединения. Ничего особенного, ничего сверхъестественного: последовательное осуществление паритетности, в объединенном комитете пять человек от большевиков, пять от меньшевиков. По примеру многих других городов в Одессе также возник Совет рабочих депутатов, председателем его был избран Шавдия, студент из меньшевиков. Совместными усилиями комитета и только-только созданного Совета в декабре была проведена всеобщая политическая забастовка — всеобщая не только по названию, а и по самой

сути своей. Вся жизнь в городе остановилась: стали заводы и фабрики, не было торговли, не горело электричество, даже аптеки бастовали. И это несмотря на то, что властями было объявлено военное положение, грозившее всяческими карами за участие в забастовке!

Как считал Осип, один только шаг оставался, чтобы забастовка переросла в вооруженное восстание. Рабочие массы ждали лишь призыва взяться за оружие, но революционные организации (в том числе и социал-демократический комитет, наполовину состоявший теперь из меньшевиков) не проявили нужной решимости, много времени ушло на взвешивание всех «про» и «контра», а потом пришла весть из Москвы, что вспыхнувшее там восстание подавлено и много крови пролилось,— вопрос о восстании сам собой сошел на нет, тем более что к Одессе были подтянуты свежие, дополнительные войска, притом в количестве явно избыточном. Осип на протяжении всех этих споров (начинать восстание — не начинать) держался той точки зрения, что в революции бывают моменты, когда сдача позиций без борьбы несравненно больше деморализует массы, чем поражение в бою; собственно, это даже не его мысль была, а Маркса и Энгельса, мысль и ныне на все лады обсуждавшаяся в революционных кругах. Восстание, считал Осип, должно было явиться неизбежным следствием и единственно естественным завершением всех тех массовых столкновений и битв, которые вот уже год сотрясают страну. Нерешительность, проявленная во время декабрьских событий, очень скоро, куда скорее, чем можно было ожидать, и весьма чувствительно, ударила по рабочим. Если в октябре фабриканты безропотно выплатили рабочим жалованье за дни забастовки, то теперь те же фабриканты платить отказались категорически. Результат горький, но, пожалуй, неизбежный...

4

Сердце будто чуяло что-то: ни малейшей охоты не было идти на заседание!

Впрочем, сердце тут ни при чем; не вдруг, не в тот день понял Осип, что участие его в работе комитета Городского района все больше превращается в тягостную, постыдную обязанность. Здесь не каприз был, не прихоть. Что ни говори, а объединение с меньшевиками пока ни к чему доброму еще не привело. Зато дебатов прибавилось, тошно глядеть было, сколько времени уходит на все эти, частенько и вовсе пустопорожние словопрения. Порою складывалось даже впечатление, что не столько интересы дела движут спорящими сторонами, как стремление добиться перевеса своей точки зрения... не одним меньшевикам это свойственно, мы тоже не без греха.

Да, чертовски не хотелось идти в тот день на заседание райкома, как не раз и прежде не хотелось, как, можно быть уверенным, не захочется завтра... такие-то времена настали! А тут и повод благовидный не пойти. На этот как раз день — 2 января 1906 года — и на этот же примерно час, немного раньше только, не в восемь вечера, а в половине седьмого, Осип, еще до Нового года, назначил встречу с рабочими-гладильщиками (партийная их ячейка проспала прислать толкового докладчика, который осветил бы им текущий момент), о сборе же райкома Осипа известили лишь утром. Повод, однако, поводом, а заседание райкома пропускать не стоило. Теперь, когда всякий вопрос ставится на «голоса», от того, сколько человек с той и с другой стороны, зависит очень уж многое. Так что, ничего не поделаешь, идти надо, и Осип, как и раньше всегда бывало, преодолел эту свою неохоту и в назначенный час пришел на Госпитальную, где помещалась явочная квартира райкома (сразу после гладильщиков, туда тоже поспел).

Заседание еще не началось, когда в квартиру ворвались солдаты, несколько штатских, по обличью своему явные шпики, околоточные, все вместе водительствуемые жандармским ротмистром. Первая же реплика офицера показала, что он принимает собравшихся за членов исполнительного комитета Совета рабочих депутатов; он сказал:

— Долгонько ж мы за вами, господин Шавдия, охотились! За вами и за чертовым вашим исполкомом! Не соблаговолите ли представить своих, гм... прихвостней?

Один из шпиков сказал жандарму на ухо, но так громко, что все слышали это: «Не исключено, господин ротмистр, что где-нибудь здесь заседает и весь Совет...» Жандарм немедленно сделал стойку и, приказав солдатам стеречь пуще глаза своего *шантрапу* эту, вместе с околоточными и шпиками побежал по другим квартирам. А пока они рыскали по дому, Осип вполголоса сговорился с остальными членами райкома, что на допросе все они покажут одинаково: собрались, мол, потолковать об организации помощи безработным, никого, кроме Шавдии, не знают, поскольку собрание еще не открылось и потому никто не успел сообщить, от какой организации представительствует.

Тут же Осип преспокойно, ничуть не смущаясь присутствием солдат, стал вынимать из карманов и рвать на мелкие клочки бумаги, которые хоть сколько-нибудь могли объяснить, кто он и что. Его примеру последовали и другие; мало того, занялись еще уничтожением протоколов прежних заседаний райкома. Не прошло и пяти минут, как пол оказался заваленным бумажным сором... Солдаты, заняв посты у дверей и окон, невозмутимо взирали на происходящее. Зато возвратившийся вскоре ротмистр, увидев это, визжал и топал на солдат, которые посмели допустить уничтожение улик, на что те, нимало не чувствуя за собою вины, отвечали, что отданный им



приказ стеречь они «сполнили», а никаких других приказаний ими не было получено. Махнув на них рукой, ротмистр упавшим голосом спросил тогда: кто же именно рвал бумажки? А все, ответили солдаты, как есть все. Ротмистр велел солдатам собрать клочки (их тотчас подняли с пола, да только сомнительно, чтобы из кусочков этих что-нибудь путное можно было составить), затем всех арестованных вывели на улицу, которая, к удивлению Осипа, была буквально запружена войсками, и в стоявших наготове каретах доставили в губернскую тюрьму.

После обыска и предварительного опроса (фамилия, адрес) Осипа водворили в сырую и холодную одиночку в полуподвале. В согласии с имевшимся у него паспортом он назвался Покемунским; Осип многое знал о незнакомом ему владельце паспорта: имя его матери и отчество отца, профессию (по доброму совпадению тоже, как и Осип, он портной был), но главное — что истинный владелец этого документа никогда не привлекался по политическим делам. Адрес же свой Осип открыл не без раздумья. Дело в том, что на квартире у него лежали пачки с «Известиями Совета рабочих депутатов»: за ними должны были приехать из Николаева. Обнаружение газеты могло навести жандармов на то, что Осип является членом исполнительного комитета Совета (а судя по сегодняшнему поведению ротмистра, именно за депутатами Совета, а тем более за членами исполкома, идет ныне особая охота). Тем не менее Осип назвал свой адрес. Рассчитывал на то, что его соседи по квартире, узнав об аресте на Госпитальной (а такие новости разносятся быстро) или же просто увидев, что он не ночевал дома, догадаются очистить его комнату от всего лишнего, крамольного. Да, на сей счет Осип совершенно успокоился: товарищи так и поступят, несомненно; давняя договоренность имеется. Если что теперь и тревожило

Осипа в новом его положении, так одиночные, будто специально для них приготовленные камеры в подвале. По слухам, тюрьма не просто забита до отказа — переполнена, и если в этих условиях все же находят с дюжину одиночек для новых обитателей, это зловещий признак. Но наутро, когда Осипа и всех вчерашних арестованных перевели во второй этаж в общие камеры, а потом вывели на прогулку со всеми политическими и, таким образом, стало очевидно, что никто не собирается устанавливать для них особого режима, немного отлегло от сердца. Пожалуй, есть еще шанс вывернуться.

На допрос стали вызывать задержанных на Госпитальной лишь через пять дней. Осип увидел в этом лишнее подтверждение того, что власти не держат его и его товарищей в очень уж важных персонах.

Проводил допрос штабс-капитан в армейской форме: не жандарм, стало быть. Это одно лишь могло означать — что Осипу (вероятно, и остальным) готовят военный суд. Все логично: если в губернии введено военное положение, отчего бы не судить людей по неизмеримо более суровым законам военного времени?

У штабс-капитана было усталое, лишенное всего живого лицо, и — словно бы в полном соответствии с этой своей внешностью — он с бесстрастностью машины принялся задавать вопросы. Действовал он достаточно прямолинейно, без особых хитростей и уловок. Сразу же заявил, что арестованное собрание, в котором участвовал Осип, являлось исполнительным комитетом Совета рабочих депутатов, что это — преступная организация, наконец, что все задержанные будут преданы военному суду. Осип с искренним жаром принялся доказывать, что господин офицер очень сильно ошибается: мы собрались, чтобы обсудить, как лучше помочь безработным; у меня, например, была мысль устроить лотерею-аллегри. Одно другому не мешает, скучно возразил штабс-капитан; не

вижу причин, почему исполком не мог бы заниматься и этими делами.

Затем следователь потребовал назвать имена остальных участников собрания. Осип, разумеется, сказал, что, к великому своему прискорбию, затрудняется это сделать, поскольку не знаком ни с кем из них. Это неправда, терпеливо заметил следователь, не знаю, как другие, но уж Шавдия-то определенно вам знаком. Осип сделал удивленные глаза: Шавдия? Впервые слышу это имя! Не хотите ли вы сказать, устало проговорил штабс-капитан, что никогда не видели председателя Совета?.. Шавдия на всех собраниях и даже на уличных митингах выступал открыто как председатель Совета, его действительно — если не по имени, то в лицо — знают чуть не все одесситы. Осип сказал: да, я знал, что молодой интересный мужчина с бородой — председатель, но как его зовут, до сего дня не имею понятия... Шавдия его зовут, задумчиво глядя Осипу в переносье, сказал штабс-капитан, Вахтанг Шавдия. После этого, посидев с минуту молча, он отпустил Осипа, так ничего больше и не спросил, будто получил только что какие-то исчерпывающие сведения.

Не у одного лишь Осипа — у других членов райкома тоже сложилось мнение, что следствие располагает данными против Шавдии, остальных же держат так, «за компанию»...

Можно было ждать, что вслед за первым допросом последуют новые — до тех по крайней мере пор, пока не слепится «дело». Нет, ничего похожего. День шел за днем, неделя за неделей... Никого, даже Шавдию, не таскали больше на допросы. То ль забыли про них, то ли просто руки не дошли. Последнее, конечно, ближе к истине. Военные суды работали без роздыха, по любому пустячному поводу выносили свирепейшие каторжные приговоры; в этих условиях вовсе не резон было лишний

раз напоминать о себе, тем более торопить разбирательство дела.

А томиться в неволе становилось все невыносимее. Тут главное не то даже, что неволя, главное — что бездействие. Партия готовилась к IV своему съезду, которому, если не произойдет ничего неожиданного, предстоит стать объединительным. Газеты всех направлений трубят о предстоящем открытии I Государственной думы — новое циничное надувательство народа. Нет, положительно не время отсиживаться в Одессе! Даже и каторга казалась тогда предпочтительней: оттуда хоть бежать можно. Но как ни велико было у каждого желание поскорее вырваться из тюрьмы, действовали не очертя голову: стерегли подходящий момент.

В начале лета в тюрьме произошло событие не просто даже трагическое — чудовищное, леденящее кровь своей бессмысленной жестокостью. Случилось это после прогулки, все заключенные находились в камерах. Была жара, и все стояли у открытых окон, держась за прутья решетки. И вот мимо окон, на виду у всей тюрьмы, прошел, гулко печатая шаг, взвод солдат во главе с прапорщиком Тарасовым (армейская пехтура находилась здесь как подмога тюремщикам, которые не в состоянии были сами управиться с чуть не удвоенным против нормы «населением» тюрьмы).

— Левой, левой! — ровно на парадном плацу, командовал ретивый прапор.

Тут кто-то из обитателей первого этажа и крикнул — не очень, может быть, громко, но отчетливо:

— Долой самодержавие!

— Стой! — тотчас приказал солдатам их командир и, повернувшись лицом к тюремному корпусу, грозно спросил, у всех разом: — Кто крикнул «Долой самодержавие!»?

— Да хоть и я! — насмешливо проговорил кто-то

(судя по голосу, не тот, кто кричал давеча).— За то все мы и сидим тут, что против самодержавия!

Хохот прокатился по замкнутому корпусами тюремному двору...

— Нале-во! — скомандовал тогда своим солдатикам Тарасов, и те тоже к корпусу повернулись и по новой его команде вмиг ощетинились ружьями, взятыми на изготовку.

Жутчайшая тишина нависла — не только над тюремным этим двором, над всем миром, казалось. И в этом леденящем мороке — негромкий, вкрадчивый, как бы даже и просительный голос прапорщика Тарасова:

— Кто ты ни будь — анархист, социалист или просто честный человек,— стой на месте и не двигайся!

Прапорщик и говорил, и вообще держал себя, как безумный,— Осипу вовек не забыть остановившихся его глаз, и неестественную бледность лица, и шарнирную угловатость всех его движений.

— Ну стою — что дальше? — не без вызова, это надо признать, раздался все тот же голос с первого этажа.

— А дальше — скажи своему сосидельцу, чтобы он слез с подоконника!

— Ишь какой хозяин выискался! — Это, верно, сокамерник подал свой голос: не выдержал, тоже ввязался в дьявольскую игру.— Зови тюремного начальника!

— Пос-лед-ний раз — слезь с окна!

— И не подумаю!

Потом, восстанавливая события в их последовательности, Осип не без удивления понял, что выкрик сокамерника и обыденно, как реплика в деловом мирном разговоре, произнесенное прапорщиково *пли*, отделены были друг от друга считанными секундами, то есть следовали сразу же, непосредственно одно за другим, но в ту минуту эта пауза тянулась почти бесконечно; она успела вобрать в себя и белесое, выжженное полуденным жаром

небо, и часовых, каменно застывших на сторожевой вышке, и вымощенный брусчаткой квадрат тюремного двора, и оглушающий прерывистый перестук собственного сердца, и мертвенную, все усиливающуюся бледность прапорщика, и... Только потом, после всего этого и еще многого, чего не обозначить словами, раздалось будничное, без гнева даже, «пли», и тотчас, теперь уж несомненно тотчас, выстрелы, вернее сказать, единый, слитный залп. И в то же мгновение — еще выстрелы, должно быть, не стихли — адский стук во всей тюрьме и крики, топот. Уголовники отмычками пооткрывали все камеры, политические бросились на первый этаж; в одной из камер истекали на полу кровью, хрипели предсмертно двое — Беккер и Суховей, оба эсеры...

Случай дикий, неслыханный.

Забегали, заюлили начальники: и прокурор, которого до того хоть криком кричи — не дозовешься, припожаловал, и градоначальник житьем-бытьем заехал поинтересоваться; по-собачьи чуть не каждому в глаза заглядывают, заискивают. Объявили — Тарасов, мол, аресту подвергнут; солдат убрали из тюрьмы. Было ясно, что власти (и не только тюремные) пуще всего хотят умиротворить заключенных. В этой-то обстановке все члены райкома, что были заарестованы 2 января (исключая, правда, Шавдию, который справедливо считал, что против него у жандармов слишком веские улики и оттого лучше уж ему помалкивать до времени), все, сговорившись заранее, потребовали незамедлительно предъявить каждому обвинительный акт и назначить день суда, в противном же случае будет начата голодовка. То была не просто угроза. Из камер удалялось все съестное, на свиданиях брали только цветы и книги. И вот накануне дня, назначенного для голодовки, всех тех, кто писал прокурору, поодиночке стали вызывать в контору. У Осипа было спрошено: верно ли, что он намерен объя-

вить голодовку? Осип подтвердил: да, он так решил и от этого своего решения не отступится. Тюремный доктор в золоченом пенсне участливо предупредил о том, что голодовка может нанести большой ущерб здоровью. Что поделаешь, сказал Осип, у меня нет иного способа добиться справедливости...

Вечером Осипа вновь вызвали из камеры, на этот раз с *вещами*. В конторе были уже его товарищи. Обсудив положение, пришли к выводу, что, вероятно, их переводят в провинциальные тюрьмы, так как здесь, в губернской тюрьме, слишком накаленная обстановка и голодовка даже нескольких человек может вылиться в общий тюремный бунт. Но — совершенно неожиданно для себя — все они очутились вдруг на свободе, выпущенные под надзор до суда...

Осип до того обрадовался столь легко обретенной воле — целый день счастливым резвым щенком носился по городу. Без всякого дела: в этом добавочная притягательность была. Сколько раз и раньше с утра до вечера колесил, но все в спешке, в деловой беготне, и так уж получалось, что, по сути, и Одессы не видел, всей ее и правда удивительной красоты. Теперь как бы заново знакомился с улицами, просторными площадями, любовался знаменитой, гигантским амфитеатром от памятника дюку Ришелье до моря спускающейся лестницей и самим морем, сказочно синим в этот яркий летний день. Блаженное, ни с чем не сравнимое состояние восторга и счастья; и хотелось длить и длить его, до бесконечности...

Ан нет, Осип, оказывается, не очень-то хорошо знал себя. Уже на следующий день он почувствовал, что если немедленно не включится в работу, то свихнется от безделья и скуки. Лишний раз удостоверился, что покой и безмятежность попросту чужды его натуре, что единственно естественное для него состояние — безостановоч-

ное движение, занятость сверх головы, постоянная нужность делу и людям.

Положение Одесской организации было незавидное. За те полгода, что Осип находился в тюрьме, были арестованы чуть не все заметные большевики, а тем, кто чудом уцелел, пришлось во избежание неприятностей покинуть город. Первыми, с кем Осип возобновил связи, были рабочие-табачники, многие помнили его — по тому времени, когда он был организатором Городского района. Табачники помогли разыскать немало рядовых партийцев, весьма дельных работников, которые не были связаны друг с другом и потому не знали, к чему приложить свои руки и силы. Недавно вернувшийся из ссылки Константин Левицкий, коренной одессит, раздобыл просторную квартиру, и вот все мало-мальски активные большевики впервые после долгого перерыва собрались вместе; были намечены неотложные шаги по возрождению организации.

Тем временем следствие подошло к концу, и дело было передано военному прокурору, так что со дня на день следовало ждать вызова в суд. Перспектива отдать свою судьбу на волю скорого на расправу военного суда, понятно, не улыбалась Осипу. Да и глупо было — раз уж *пофартило* выскользнуть из тюрьмы — самому лезть тигру в пасть, заведомо зная, что несколько лет каторги тебе обеспечено (даже если и не дознаются, что ты никакой не Покемунский, а Таршис, который четыре года назад бежал из Лукьяновки).

Осип написал шифрованное письмо в Питер Крупской с просьбой указать, как быть ему дальше. Вскоре пришел ответ, но не из Питера, а из Москвы, от Гусева, который по поручению МК приглашал Осипа в Москву, пообещав через некоторое время прислать явки и денег на дорогу. «Некоторое время» — понятие растяжимое, оставаться же в Одессе было уже более чем рискованно:

пришел вызов в суд. Осип решил, что не имеет смысла переходить на нелегальное положение, и отправился в родной Вилькомир: с матерью наконец-то повидается, вон сколько не встречались, когда еще возможность представится; и, само собою, отсидится до урочного часа.

Особо на глаза местному начальству старался не попадаться, даже ближние соседи не все знали о его приезде, из дому выходил в сумерках. Предосторожности эти — хотя репрессии, свирепствовавшие в крупных рабочих центрах, еще не докатились до маленького уездного городка — вовсе не казались Осипу излишними; конспираторская жилка крепко сидела в нем. Тем не менее он связался с местной организацией РСДРП, которой руководил не так давно вернувшийся из армии унтер Осипов. Организация была довольно крепкая и хорошо связана с батраками и крестьянами близлежащих местечек... в отличие от бундовцев, которые опирались главным образом на городских жителей. Осипу пришлось несколько раз выступить на общих собраниях, которые происходили в городском саду. Помаленьку он уже втянулся в жизнь организации и, честно сказать, совсем не прочь был бы поработать здесь подольше, однако Гусев прислал явку, нужно было спешить в Москву. Он и отправился, с грустью оставляя новых товарищей. Но это уже в кровь у него вошло: сам себе не выбирал дороги...

5

Лишь одна явка была у Осипа — здесь вот, в Докучаевом переулке, угол Большой Спасской.

Через проходной двор виднелся вдали скверик, туда Осип и направился, посидел минут пять на садовой скамейке, рядом с двумя старичками, одетыми в чиновничьи вицмундиры. Занятый своим, совсем не вслушивал-

ся в их разговор, и только знакомое имя адвоката, у которого Осипу была назначена явка, заставило насторожиться. Имя это, Чегодаев, недобро произнесено было старичками. Они смаковали подробности *ареста:* Чегодаев, когда выводили его к карете, выглядел, оказывается, безупречно — в манишке и при бабочке; а супруга его, кто б мог подумать, проводить даже не вышла; и какая-то вовсе уж ерунда: не успела отъехать карета, садовник сразу же и навесил огромный замок на входные ворота — что бы сие значило? Замок этот отчего-то особенно занимал тех старичков...

Осип посмотрел на нужный ему дом, не удержался. Хотя едва ли можно было усомниться в осведомленности старичков, хотелось самому удостовериться во всем. На втором этаже, в крайнем окошке, должен был стоять горшок с геранью, если все в порядке. Герани на месте не было.

Есть от чего прийти в отчаяние: единственная в Москве явка и та провалена! А город чужой, ни одного знакомого. Хоть назад в Вилькомир возвращайся... Так бы, верно, и пришлось поступить, но тут госпожа фортуна, словно бы сжалившись над ним, подкинула ему неслыханную удачу. Подумать только: шел себе в три часа дня по Москве, настроение скверное, похоронное, глаза б ни на что не глядели, и действительно не смотрел по сторонам, ну просто ни малейшего интереса, одна только мысль точит: куда деваться? И вдруг кто-то окликает тебя — именем, каким сто лет никто не называл: «Тарсик, ты?!» Машенька Эссен, милая Зверушка, Зверь! Что говорить, выручила его эта нечаянная встреча, крепко выручила; а то так ведь и уехал бы из первопрестольной несолоно хлебавши...

Зверушка сообщила, что Гусев арестован и теперь секретарем в Москве Виктор Таратута, снабдила Осипа явкой МК, но не отпустила его, вместе с ним помчалась

на эту явку (в одном из переулков Арбата), познакомила с Виктором, а потом вызвалась проводить гостя в «коммуну», где на первых порах обычно находят себе приют новоприбывшие.

Виктор Таратута оказался красивым малым, усы стрелками вразлет; по виду лет двадцать пять, пожалуй. Об Осипе, выяснилось, был уже наслышан (от Гусева, надо думать). Неизвестно, что именно нарассказал ему Сергей Иванович, но очень скоро Осип понял, что Виктор Таратута явно переоценивает его возможности. В глазах молодого секретаря МК Осип был всемогущ, как сам господь бог.

— Ну, теперь все в порядке! — то и дело басил он, чрезвычайно довольный.— Раз ты приехал — полный порядок, значит, будет!

Оно, конечно, лестно — такая слава; да только страшновато брать ношу не по себе: а ну как не сдюжишь?

По решению комитета, вынесенному еще при Гусеве, в ведение Осипа передавался весь конспиративный технический аппарат Московской организации, в первую очередь тайная типография и паспортное бюро. Было неловко говорить Таратуте, что ни типографиями, ни подпольным изготовлением документов никогда доселе еще не приходилось заниматься: получилось бы — вроде цену себе набивает. Ну да ничего, жизнь сама покажет, что и как нужно будет делать.

Получив от Таратуты адрес и пароль тайной типографии, Осип в сопровождении Маши Эссен, добровольного своего гида, отправился в «коммуну», находившуюся где-то неподалеку; на Тверской-Ямской, сказала Эссен. Осипу понравилась идея «коммун». Суть ее в том, что несколько партийных активистов, как правило легальные товарищи, снимают квартиру из четырех-пяти комнат, здесь на день-два всегда могут найти приют люди с ненадежными документами.

На Тверской-Ямской Осипа ждала нежданная радость: одной из «хозяек» квартиры оказалась Соня Бричкина, товарищ по работе в Одессе... ничто так не греет на новом месте, как встреча со старыми друзьями! Обнялись по-братски, сели чай пить; Осипу не терпелось поскорей тайную типографию посетить, она уже действует, и, по словам Таратуты, очень даже неплохо, но лучше все же самому взглянуть, так ли там все, как надо; да только Соня никак не отпускала, вела себя как истая хозяйка, всякими вкусностями потчевала, а потом темнеть стало, смысла идти в магазин не было уже ни малейшего. Осип отложил эту свою затею до утра, а вечер на то употребил, что по схеме московских улиц привыкал к диковинным на слух названиям — Плющиха, Солянка, Божедомка, Сретенка, Сухаревка, Ордынка. Особенно интересовала сейчас Осипа Сретенка и прилегающая к ней округа; там, на Рождественском бульваре, в каком-то фруктовом магазине, как раз подпольная типография и размещалась.

Прежде чем войти в этот магазин с вывеской «Торговля восточными сухими фруктами и разными консервами», Осип тщательно обследовал месторасположение магазина. Рядом, за три дома, находилась шумная Сретенка, человек здесь что песчинка, не сразу отыщешь в толпе нужного. Что же до бульвара, на который магазин выходил своими окнами, то близость бульварных скамеек не очень-то радовала: легче легкого было вести оттуда наблюдение. Не очень ладно и то, что чуть наискосок от дома пост городового — вон возвышается живым монументом! А впрочем, тут же подумал Осип, как знать, может быть, близость городового как раз и на руку: кому придет в голову искать крамолу под носом у него? В Одессе, во всяком случае, такой фокус отлично сходил с рук; самая надежная явочная квартира (кажется, и по

сей день нераскрытая) — та, что на Почтовой,— окнами выходила во двор полицейского участка...

Расположившись на скамейке бульвара, Осип с полчаса наблюдал за входной дверью в магазин. За все это время лишь какая-то старуха в тяжелом, не по нынешней жаре салопе посетила заведение, но вышла оттуда быстро, едва ли купила что-нибудь. Если так всегда, подумал Осип, то торговлю... восточными фруктами и консервами при всем желании бойкой не назовешь. Но оно, положим, и к лучшему: чем меньше покупателей, тем меньше и перерывов в работе типографии...

Дверь с улицы вела в комнату, наполовину перегороженную прилавком; в глубоких блюдах выставлен имеющийся в продаже товар: рис, изюм, орехи, вяленая дыня и какая-то сушеная травка несомненно восточного происхождения. На высоком табурете невозмутимо, как буддийский божок, восседал приказчик с вполне рязанской ряхой, русой, стриженной под горшок головой, но с черными, явно крашеными и особо, на кавказский манер, колечками вверх закрученными усами.

Осип спросил фунт орехов и полфунта изюма. Приказчик сперва с недоверием посмотрел на него, но затем, уразумев, вероятно, что перед ним самый что ни есть взаправдашний покупатель, с неожиданной прытью бросился к весам и довольно споро свернул кульки, тщательно взвесил товар, назвал цену. Осип расплатился с ним, тот до копеечки вернул сдачу — только теперь Осип сказал пароль: велика ль будет, мол, скидка при оптовой закупке? Пароль был хороший: естественный; такой и при чужих смело говорить можно. И отзыв на пароль столь же незаметен: а это смотря какой опт, не угодно ль с хозяином переговорить... Осипу понравилось, как приказчик произнес свой ответ: словно бы не с глазу на глаз были они сейчас, а при людях, которые должны принять все за чистую монету. Осип ска-

зал: да, ему угодно поговорить с хозяином. Приказчик, по-прежнему ничем не выдавая своей игры, провел Осипа во вторую комнату, где находился некто, склонившийся над толстой конторской книгой. Взглянув на Осипа, он легко поднялся с места, шагнул навстречу.

— Здравствуйте, дорогой товарищ! Признаться, я вас вчера еще ждал. Мне Виктор говорил... Моя фамилия Аршак, но сейчас имею честь пребывать тифлисским мещанином (тотчас и акцент соответственный, без нажима впрочем, появился) Ласулидзе Георгием, на имя коего снята сроком на один год и четыре месяца настоящая лавка...

— Вы и живете по этому паспорту? — спросил Осип.

— Нет, что вы,— сказал Аршак.— Паспорт фальшивый, его никак нельзя показывать в участке. Он фигурирует лишь в арендном договоре.

Типография помещалась в подвале, куда из соседней комнаты вела деревянная лестница. Подвал был просторный, но низкий: в полный рост даже и Осип, отнюдь не богатырь, не мог выпрямиться.

Свои владения показывали два молодых веселых грузина — Яшвили и Стуруа, наборщики, они же и печатники, и резчики, мастера на все руки, словом. Было здесь до десяти наборных касс с различным шрифтом, много бумаги всяких размеров; но главное богатство типографии составляла «американка» — прекрасная, совершенно новенькая печатная машина, весьма скоростная, за десять часов, похвастались грузины, удается отпечатать до четырех тысяч листовок! Машина стояла прямо на земляном полу: так лучше, объяснили Осипу, меньше шума. Осип попросил запустить машину: нет, грохота все равно хватает. Спросил, слышна ли работа машины наверху, в магазине. Аршак сказал, что если специально прислушиваться, то, конечно, слышна, поэтому всякий раз, когда заходит покупатель, приходится

останавливать машину; сигналом служит звонок, кнопку нажимает «приказчик».

— Но ведь и звонок, верно, слышен наверху,— заметил Осип осторожно: до смерти не хотелось ему выглядеть генералом, который устраивает инспекторский смотр и всеведущим своим пальчиком строго указует на упущения.

— Не без того, конечно. Но лучше звонок, чем «американка».

— А что, если попробовать вместо звонка лампочку устроить? Зажглась — значит покупатель явился...

Это был единственный совет, да и то совсем не обязательный, который Осип решился дать.

Он остался доволен типографией. У него сложилось твердое мнение, что она поставлена солидно, со знанием дела. Одно смущало: ужасающие, просто-таки невыносимые условия, в которых приходится здесь работать. Невероятная духота, ни малейшего притока свежего воздуха, тяжелый смрадный дух, от земляного пола тянет влажной стынью. Осип пробыл здесь не более четверти часа, да и то без дела стоял, а ощущение — будто горами только что ворочал: легкие, кажется, разрываются от нехватки кислорода. Невольно вырвалось:

— Как вы тут — часами, сутками?

— А что? — белозубо оскалился Сандро Яшвили.— Мы хоть на дне морском можем, лишь бы полиция не расчухала..— Но, по всему, до чрезвычайности рад был, что новый товарищ из комитета заметил, каково им тут достается, и, заметив, по достоинству оценил это.

Тут-то все и переменилось: ни Осип не чувствовал себя больше *начальством*, ни типографщики так не воспринимали его. В душном этом, истинно уж, «подполье» были сейчас люди, одинаково озабоченные тем, чтобы трудное дело, которое они делают, было сделано как

можно лучше. Ощутив в себе эту раскованность, Осип стал уже свободно спрашивать обо всем, что представлялось ему сейчас важным. Такое, например: Яшвили и Стуруа по многу часов проводят в подвале — а ну как кто-нибудь, не в меру любопытный, обратит внимание на это, поинтересуется, куда делись люди? Ответ порадовал: одна из комнат имеет, оказывается, выход во двор, поди-ка уследи, кто в какую дверь вошел, а в какую вышел... Дверь, однако, дверью, хорошо, что она есть, вторая, но не только в ней дело; главным здесь для Осипа было то, что эти люди без шапкозакидательства относятся к возложенной на них обязанности, осознают всю меру опасности, грозящей им... вот и второй выход из магазина предусмотрели.

Но все же обнаружился один изъян в деле, и серьезный.

Уже наверху разговор был. Аршак рассказывал о нуждах своих, о бедах; не жаловался, просто открывал перед Осипом все обстоятельства. Две главные заботы: бумага и деньги. «Американка» прожорлива, говорил Аршак; с одной стороны, это, конечно, хорошо, ибо листовки в какой-то мере восполняют отсутствие легальной партийной прессы, но, с другой стороны, тираж каждой из листовок — от тридцати до ста тысяч экземпляров... представляете, какие несчитанные пуды бумаги требуются? Добывать же ее неимоверно трудно, и если уж кому заниматься этим, то во всяком случае не людям, так близко стоящим к типографии, как стоит он, Аршак. Осип вполне был согласен с ним и, записав ряд адресов, пообещал, что отныне сам приступит к закупке бумаги. Что же касается денег, здесь Осип ничем не мог помочь. Как ни велики расходы, их не уменьшить. Одна аренда забирает сороковку в месяц, и это еще недорого. «Торговля», само собой, одни убытки приносит. Каждая копейка на счету... Тогда-то и всплыло, что «приказчи-

ку» — он как раз вошел на минутку по какой-то своей надобности, оттого, по-видимому, Аршак и заговорил о нем,— даже «приказчику» приходится вот ночевать в магазине... Осип удивился:

— Больше негде?

— Это тоже, но главным образом для экономии, черт бы ее...

— А где он прописан?

Ответ до крайности уже удивил Осипа.

— Здесь же и прописан, по магазину то есть,— как о чем-то естественном сказал Аршак.

— Постойте, он что, живет по своим документам? — уточнил еще Осип.

— Нет, паспорт липовый,— сказал Аршак.— Но изготовлен искусно, комар носа не подточит.

Удивительная беспечность. И так не вяжется с основательностью и продуманностью всего остального!

Осип попросил по возможности воздержаться от ночевок в магазине и, само собою разумеется, ликвидировать прописку, пока полицейские сами не хватились. Аршак качнул головой: хорошо, так, мол, и сделаем, но Осип видел — послушание чисто формальное, наружное, внутренне же он, Аршак, не согласен с ним.

— Что-нибудь не так? — спросил Осип.

— Может, и так, не знаю. Но если с другого бока посмотреть, толку в этом чуть — хоть прописывай, хоть выписывай. Все равно «приказчик» наш — Костя Вульпе фамилия его, кстати, а по фальшивому паспорту Ланышев Петр — с утра до вечера в магазине торчит, коснись что — он первый, так сказать, с поличным будет взят, а липовый паспорт у него или нет, это уж после выяснится...

— А если раньше выяснится, что паспорт сомнительный — что тогда?..— возразил Осип.

Аршак обезоруживающе рассмеялся:

— Черт, до чего же неохота в дури своей признаваться!

Он, кажется, славный малый был, Аршак. Осип верил, что общая их работа пойдет дружно и легко.

6

Трудная работа тоже может быть легкой: если совершается задуманное, если твои и твоих товарищей усилия дают ощутимый результат. Результат же был такой: за восемь месяцев в подпольной типографии было напечатано 45 названий листовок и прокламаций общим числом до полутора миллионов экземпляров. Счет вели все эти месяцы, строгий счет, поштучный, но чисто бухгалтерский; и только после провала типографии подбили окончательный итог.

Цифра, что говорить, получилась внушительная, даже для самих себя неожиданная. Вроде бы можно и погордиться этим, тем более что работать приходится в условиях, прямо сказать, каторжных, невозможных, но нет, ни Осип, ни другие люди, связанные с типографией, нимало не обольщались достигнутым. Тот как раз случай, когда сколько ни печатай листовок, а все мало будет: потребность в них в десятки раз превышает возможности...

Но вот настал день, когда и эта типография прекратила существование. *Открыта* полицейскими она была 27 апреля 1907 года — в канун Первомая; последние отпечатанные в ней прокламации — 15 тысяч экземпляров — содержали в себе призыв организованно провести революционные маевки.

В этот вечер Осип был на своей явке, считанным людям известной, в том числе Анатолию Королеву, студенту инженерного училища, который заведовал распро-

странением литературы. Королева с отчетом о распределении первомайских листовок Осип и ждал в назначенный час. Но вышли все допустимые сроки, а Королева не было: Осип заподозрил неладное. Прямо с явки отправился домой, предупредил товарищей, чтобы очистили квартиру от всего компрометирующего (жили, как и раньше, «коммуной», но не на 3-й Тверской-Ямской, а на Долгоруковской, в меблирашках Калинкина, квартиру снимали двое легалов, Волгин и Целикова, а остальные, чьи документы, как у Осипа, были чужие, в свою очередь «подснимали» комнаты у них). Что до Осипа, то к этому времени он разжился на месяц-другой армянским паспортом на имя какого-то студента питерского университета; специально охотились за таким: дремучая борода, которую Осип отпустил в целях конспирации, делала его, по мнению товарищей, вылитым кавказцем, так что армянская фамилия — Давлат Карагян — была как нельзя более кстати... Бричкина и Гальперин, тоже обитатели «коммуны», вызывались сходить на Рождественский бульвар — разведать, что там и как, но Осип, на правах старшо́го, запретил им. Потерпим до утра, сказал он.

В полночь раздался стук в дверь. Осип спросил: кто там? Ответ: почтальон, срочная телеграмма. Осип усмехнулся: обычная уловка всех на свете полицейских; ну да что поделаешь, надобно открывать. Только отомкнул дверь — непрошеные гости: пристав, околоточные, дворник. Не так их и много было, пять человек, но сразу тесно и мерзко стало в квартире...

Первый вопрос: в какой комнате живет Волгин, в какой — Целикова? Велели им одеваться, собираться, хотя наитщательнейший обыск во всей квартире не обнаружил ничего запретного. У остальных же квартирантов (у Осипа, у Бричкиной, у Гальперина) лишь паспорта проверили. Какая-то загадка, право: арестовали легальных, а нелегалов оставили в покое...

Ночное это происшествие невольно связывалось с типографией, с возможным ее провалом, но, по здравому размышлению, Осип пришел к выводу, что верней всего здесь обычная полицейская чистка неблагонадежных, не более того, ибо ни Волгин, ни Целикова не только не имели отношения к типографии, но даже не подозревали о ее существовании... ах, как хотелось верить, что так все и есть!

А утром явился Аршак. Уже то одно, что пришел он не на явку, а сюда вот, на квартиру, чего, будучи опытным конспиратором, не должен был делать, свидетельствовало об особой какой-то чрезвычайности, яснее ясного говорило: случилась беда. Так и было. Типография занята полицией, сказал Аршак. А Новиков? А Габелов? — спросил Осип; то были люди, не так давно сменившие «приказчика» Ланышева и грузин-типографщиков, у которых от постоянного пребывания в подвальной сырости худо стало с легкими. Оба арестованы, сказал Аршак. Новиков был взят после того, как доставил под видом фруктов четыре корзины с остатками первомайских прокламаций в дом Котова, на Малый Харитоньевский переулок, где был распределительный пункт литературы; все те, кто были на квартире (а именно Ида Цыпкина, хозяйка квартиры, и Королев), тоже арестованы.

— Новикова что, выследили? — спросил Осип.

— Если даже и так, главное — почему стали вдруг следить? — возразил Аршак.

На этот вопрос, увы, ответа не было. А коли так — прежде всего следовало подумать о безопасности уцелевших. Квартира на Долгоруковской была оставлена в тот же день, а обитатели ее вместе с Осипом выехали на «дачу», в Лосиноостровское, по Северной железной дороге. Дача оказалась летней, без отопления, а май, как на грех, выдался холодный, с ветрами — крепко при-

шлось помучиться; особенно досталось Гальперину с его повышенной чувствительностью к холоду и сырости; как и пять лет назад, когда ютились с искровской экспедицией в подвале «Форвертса», он здорово простыл. Осип опасался воспаления легких, но ничего, обошлось.

Времена настали трудные, черные. Арест следовал за арестом. Взят был и сменивший на посту секретаря МК Виктора Таратуту Лев Карпов — все эти месяцы Осип бок о бок работал с ним; схвачен он был на маевке в Сокольниках. В этих условиях тем большей была нужда в новой типографии: листовки — при отсутствии периодического партийного органа — становились единственным средством воздействия на рабочую массу.

Однажды Московский комитет вынужден был на крайность пойти. Алеша Ведерников, он же Сибиряк, отличившийся на Пресне во время Декабрьского восстания, командир дружины, человек храбрости необыкновенной, захватил среди бела дня типографию на Сущевке. Только представить себе: людная улица, напротив дома важно прохаживается бравый городовой в белых нитяных перчатках, и вот в типографию входят шесть или семь человек, вооруженных револьверами, Ведерников, отчаянная голова, спокойно объявляет владельцу типографии, что тот арестован на время, пока будет отпечатан вот этот принесенный ими с собою готовый набор, и если он проявит необходимое благоразумие, то с его головы и волос не упадет, в противном же случае... Владелец типографии, явно не лишенный столь спасительного в его положении благоразумия, вмиг сделался очень милым и предупредительным, не только отдал рабочим приказание сделать все, что требуется «этим господам», а еще и распорядился пустить в дело свою наиценнейшую бумагу. Семь часов типография работала на пользу революции, напечатано было 40 тысяч экземпляров прокламаций.

Лихая операция, ничего не скажешь. Можно восхищаться отвагой и неустрашимостью товарищей, однако и уповать на одни эти *налеты* тоже нельзя. Позарез, и как можно скорее, нужна была собственная типография, которая могла б работать и днем и ночью и независимо от чьего бы то ни было «благоразумия». Скоро, однако, только сказка сказывается — реальные дела отчего-то куда медленнее идут; во всяком случае медленнее, чем хотелось бы. Но и то в оправдание сказать — трудности тоже немалые были. О *бостонке*, той скоропечатной американской машине, которая так славно поработала на Рождественке, равно и о восемнадцати имевшихся там пудах разнообразного шрифта, позволявших одновременно составить несколько наборов, приходилось только вспоминать со вздохом. Типографский станок, известное дело, в магазине не купишь,— по частям, по деталям собирали, кое-что, раму к примеру, наново изготовили; шрифт — хоть минимальный запас — доставляли члены партии, работавшие в типографиях (главным образом у Кушнерева и Сытина). Но вот накопец и хибару подходящую сняли в одном из проулков за Верхней Красносельской — летом типография заработала.

Типографщиками стали Райкин и его жена, прекрасные специалисты, и, что тоже немаловажно, лишь недавно приехавшие из Тулы и, таким образом, еще не попавшие на заметку московской полиции. Для доставки бумаги из города и для выноса готовых прокламаций в целях предосторожности была снята поблизости от типографии, в Гавриковом переулке, специальная квартира, в которой поселилась жена Райкина — Бетти Файгер.

Как показали дальнейшие события, предосторожность эта была вовсе нелишняя. Полиция, что-то, должно быть, пронюхав, в октябре нагрянула в Гавриков; у Файгер нашли только бумагу, больше ничего, тем не менее ее арестовали. Типография же продолжала функциониро-

вать. Однако чрезмерно испытывать судьбу не стоило. Товарищ Марк (Любимов), секретарь МК, согласился с Осипом, что все же рискованно оставлять типографию на прежнем месте. Ее перенесли в противоположный конец города — в Замоскворечье, на Якиманку.

Этой же осенью 1907 года у Осипа впервые за год работы в Москве появился настоящий паспорт, мало того, что именно такой, какой был нужен — на имя Пимена Санадирадзе, двадцати пяти лет от роду, так еще отданный в его, Осипа, полное, без ограничения срока, пользование. Появилась возможность легально прописаться, Осип поселился в Козихинском переулке. Тут бы только и развернуться вовсю — при эдаких-то идеальных условиях, но, увы, факты говорили о том, что положение его с каждым днем становится все более шатким. Препоганое ощущение — будто тебя, персонально тебя, обстреливают фугасами, и то недолет, то перелет, то разрывы справа, то слева, и все у́же кольцо, и вот-вот настигнет тебя *твой* снаряд... самому испытывать подобное не приходилось, но по газетным, с маньчжурского театра военных действий, сообщениям именно так себе это представлял он. Так оно, без натяжки, и выходило: то одного рядышком, то другого, то десятого заденет, стало быть, не сегодня, так завтра и твой черед — в острог. Схватили Гальперина, схватили секретаря МК Любимова, схватили Бельского — даже из самого близкого окружения всех не перечесть.

Гальперин из Таганки переслал письмо: его возили на Рождественский бульвар, в бывший кавказский магазин, показывали дворникам, те, естественно, не опознали его, поскольку он не был связан с типографией, но на допросах постоянно всплывает, что техникой МК, в том числе и типографией, руководил и руководит Осип, известный в полиции под своей собственной фамилией. В самом конце года на явке у секретаря МК Марка (в то

время еще не арестованного) Осип встретился с Леонидом Бельским, членом МК, только что выпущенным из тюрьмы. Тоже прелюбопытные вещи порассказал Бельский! Оказывается, и ему в охранке называли многие клички Осипа и опять — настоящую его фамилию. Что за наваждение? Осип и сам почти забыл, что от рождения — Таршис, ибо, считай, с 1902 года, добрых вот уже шесть лет, никто и никогда так не обращался к нему, а вот охранка помнит и о сегодняшних его делах изрядно осведомлена; беда, да и только. Такой интерес к его персоне лишь тем и объяснить можно, что он давно висит на крючке, осталось только подсечь рыбку.

К тому, похоже, и шло. Слишком часто обнаруживал за собою слежку, чтобы можно было посчитать это случайностью.

Как-то, едва вышел со своей явки в Стрелецком переулке, сразу попал в окружение нескольких филеров. По Сретенке, счастливый случай, как раз промчался с громом и грохотом трамвай, в Москве новинка, и Осип, еще в Берлине приобретший этот опыт, на полном ходу вскочил в него, заставив филеров бежать вдогонку за электрической машиной, которая худо-бедно, а все же вдвое, нежели они, быстрее мчит...

В другой раз шпик привязался на Долгоруковской. Осип довел его до Малой Дмитровки и здесь, на Садовой-Каретной, вместе с ним дождался конки (от Смоленского бульвара до Сухаревки еще бегала конка), одновременно и внутрь поднялись, а через минуту, на углу Лихова переулка, Осип соскочил, опять на ходу, и забежал в один хорошо известный ему двор, из которого был проход на Малый Каретный; в лабиринте, образованном сараями, поленницами и зловонными помойками, мудрено было шпику догнать его.

Столько времени стало необходимо гробить на всяческие меры предосторожности, прежде чем повидаешься с

кем-нибудь по делу,— свихнуться можно было. С некоторых пор Осип предпочитал не пользоваться явочными квартирами — встречался с товарищами на улицах, и то преимущественно ночью. С нервами явно нехорошо было, что называется, на пределе. Чуть не в каждом встречном видел шпика — мнительность, сам понимал, чрезмерная, почти болезненная, но ничего не мог с собой поделать. Дошел до такого состояния, что как-то посреди ночи, услыхав громкие голоса, вскочил с постели и, в ожидании неминучего обыска, принялся уничтожать разные записки. Долго пришлось ждать. Наконец, совершенно измучившись неизвестностью, не выдержал, сам открыл дверь, вышел на лестницу. Тут-то и выяснилось — подгулявшая компания ждет, пока дворник соизволит прочухаться от сна и открыть парадную дверь; только и всего.

После этого случая Осип понял: ему необходимо, и не особенно откладывая это, исчезнуть из Москвы. И потому, что ареста ему, похоже, не избегнуть, вопрос времени — дней, может быть и часов: со всех сторон, как волк, обложен. И потому, что при появившейся у него и с каждым днем прогрессирующей шпикомании он все равно фактически уже не работник. И, еще можно сказать, потому, что при той смертельной усталости, которую он временами ощущал в себе, уже не всегда можно верить себе: слабеет инстинкт самосохранения, тупое безразличие побеждает осторожность, начинаешь думать: а, будь что будет, лишь бы развязка поскорей... В такие моменты, хорошо знал, следует переменить «климат»: и ему польза будет, и делу...

После ареста в январе Марка секретарем МК стал Андрей Кулеша, приехавший из Питера. Человек он был для Осипа неизвестный, и Осип опасался, что тот неверно поймет его. Так оно и случилось: Кулеша не согласился с ним. Добро бы еще просто не согласился, а

то мораль ведь принялся читать — говорить в данном случае едва ли уместные слова о высоком долге революционера, который всего себя должен отдавать партийному делу, даже если ему грозит тюрьма. Осип с полным правом мог сказать ему в ответ, что никакой доблести в том, чтобы попасть в тюрьму, лично он не видит, потому что подпольщик лишь на воле способен приносить пользу. Но ввязываться в дискуссию не стал. Получилось бы, что он и правда о себе лишь хлопочет. Ладно, решил он, пусть будет как будет... в этой его покорности, впрочем, тоже опасная усталость проявлялась...

Но события повернулись по-иному. Через несколько дней на Божедомке, где была главная явка Осипа, он среди прочих ожидавших его людей застал разъездного агента ЦК Сергея Моисеева — товарищ Зефир, так называли его в партии. У Зефира было какое-то неотложное дело, но Осип, заметив слежку за домом, дал посланцу ЦК другой адрес, назначив встречу с ним на поздний вечер. Весь день Осип потратил на то, чтобы уйти от слежки, однако полной уверенности, что это удалось, не было, поэтому, чтобы не навести шпиков на след Зефира, он предпочел сорвать встречу. Так им и не пришлось повидаться ни в этот день, ни на следующий. А потом, сколько-то спустя, Кулеша, новый секретарь, сообщил, что Зефир передал Осипу предложение ЦК немедленно выехать в Женеву — в распоряжение Заграничного бюро. Осип остро взглянул на него: предложение, мол, предложением, а ты-то как, секретарь? Кулеша отлично, должно быть, понял его, и, улыбкой дав понять, что не забыл давешний разговор, когда он не счел возможным отпустить Осипа из Москвы, сказал:

— Давай-ка вместе подумаем, кто останется вместо тебя...

Глава шестая

1

«...Начались заботы о налаживании транспорта для «Пролетария». Разыскивали старые связи... Стали звать за границу из России нашего «спеца» по транспортным делам, Пятницкого... паладившего в свое время очень хорошо транспорт через германскую границу. Но пока ему удалось уйти из-под слежки, из-под ареста, перебраться через границу, прошло чуть не восемь месяцев. По приезде за границу Пятница пробовал паладить транспорт через Львов, но там устроить ничего не удалось. Осенью 1908 года он приехал в Женеву. Сговорились, что он опять поселится там, где жил раньше, в Лейпциге, и будет налаживать транспорт опять через германскую границу, восстановит старые связи...»

Н. К. Крупская. Воспоминания о Ленине

2

Да, так все и было. Выехав из Москвы в середине марта 1908 года, Осип лишь в ноябре попал в Женеву: труден и извилист был путь туда...

Потом, много спустя, когда эти месяцы скитаний и мытарств остались позади, он поддался однажды на уговоры Крупской и в кругу самых близких людей (Ленин был, и Дубровинский, и Виктор Таратута, бывший тогда секретарем Заграничного бюро ЦК) рассказал о своих приключениях, так надолго задержавших его в России, но рассказывал обо всем этом — во многом неожиданно для самого себя — в каком-то полушутливом тоне, выставляя на первый план комические стороны, так что весь его рассказ можно было б озаглавить на старинный

лад: «Забавные приключения одного достославного русского революциониста, который...» и дальше в подобном духе. Однако он не пожалел, что рассказ такой вот получился — легкий: смешны люди, очень уж серьезно относящиеся к перипетиям драгоценной своей жизни, нет, нет, господа, глупо это и пошло, тут один лишь достойный выход — хорошая порция самоиронии... К тому же те, кого он посвящал в свою трагикомическую одиссею, и сами распрекрасно знают, почем фунт российского лиха.

За границу можно было попасть либо легально (при наличии необходимых документов), либо тайком, на брюхе, при помощи надежных людей. Надлежащего паспорта у Осипа не было, связи на границе для нелегального перехода тоже не были им еще получены, ну а поскольку в Москве земля горела под ногами, Осип счел за благо поскорей покинуть ее. Направился в Пензу, где после Одессы обосновалось милое семейство Итиных: освободиться от шпиков, в славном дружеском доме отогреться. Три недели пробыл в Пензе; в ожидании письма из Женевы с указанием места и способа перехода границы сознательно не объявлялся в местной организации, но, как ни оберегался, полиция каким-то непостижимым образом все же напала на его след.

Поначалу, обнаружив тревожные признаки, не слишком-то поверил себе — уж не рецидив ли это московской его шпикомании? Но Итин, по просьбе Осипа сопровождавший его однажды на отдалении, подтвердил: да, братец, следят, несомненно следят. Уехал в Ростов-на-Дону; тотчас вновь связался с Заграничным бюро. Партийные товарищи помогли устроиться по-человечески, даже отдохнуть удалось прилично. И опять блаженное это спокойствие недолго длилось. Трудно сказать, следили за ним, точно зная, кто он, или же попал в проследку случайно, просто как новое в городе лицо. Впрочем, тогда это не очень и занимало его. Главное было, что, значит,

и отсюда, из Ростова, надобно убираться подобру-поздорову...

...Ну, понятное дело, сразу же жутко возгордился. Еще бы, российская знаменитость, любой бутырь за версту узнаёт — что в Москве, что в Пензе, что в Ростове! Невольная мысль: а стоит ли, друг сердечный, за пределы империи, в безвестность стремиться? Не лучше ль понежиться в лучах славы, тем более что в тюрьме, что ни говори, а все ж полегче, нежели на воле: спокойнее. Так нет же, пренебрег такой шикарной возможностью побездельничать всласть, понесла нелегкая в Вилькомир, покатился веселым и глупым колобком навстречу новым злоключениям...

Так, или примерно так, подал он этот эпизод — после, в Женеве уже. А тогда, в Ростове, не до балагурства было. Настроение тяжелое, мрачное: полно, да есть ли на свете место, где можно было бы без опаски приклонить голову? Тогда-то и пришла мысль, в тот момент показавшаяся не просто дельной, но даже спасительной, а в действительности нелепая, глупая. Мысль эта состояла в том, чтобы поехать в родные края: дескать, не может того быть, чтобы не осталось там былых связей, ни одного из тех каналов, по которым удастся перемахнуть через кордон! Однако, как ни велика была надежда на исполнение этого желания, больше все-таки другое, в чем даже себе не спешил признаваться, манило. Вспомнилось в те минуты, как перед Москвой — полтора года назад — отдохнул душою дома, под материнским ласковым призором. Сколько и пробыл-то, всего ничего, а что-то словно оттаяло тогда в нем, обновилось, просветлело... как если бы омылся живой родниковою водой. Сейчас он тоже очень нуждался в этом — что верно, то верно. Тем не менее ехать в Вилькомир никак не следовало. Мог хотя бы то поиметь в виду, что реакция, весьма ощутимая даже в огромной Москве, тут, в небольшом этом местечке, где

каждый на виду, и вовсе должна была разгуляться. Вилькомир был полон стражниками, они проводили карательную операцию в близлежащих селениях и что ни день гнали через базарную площадь на ковенский тракт сеченых, со скрученными руками мужиков. В самом городке тоже не лучше: все живое задавлено, придушено, революционные организации вырублены под корень — ни социал-демократы не устояли, ни бундовцы, ни пепеэсовцы...

Приехал Осип последним дилижансом, когда совсем уже стемнело, шел домой окольными пустыми улочками, низко надвинув на глаза шляпу. Десять дней и ночей не выходил из дому; отчетливо уже сознавал, какую ошибку сделал, приехав сюда. Оказалось, не просто ошибка: роковая. На одиннадцатые сутки под утро раздался сильный стук в дверь. Осип первый, раньше шурина с сестрой, бросился в прихожую — нехорошо сжалось сердце, сразу понял все. На вопрос, кто стучит, обычный в таких случаях ответ — срочная телеграмма. Жандарм ввалился, стражники. С места в карьер, сразу:

— Ты Иоселе Таршис?

— Никак нет!

— Не морочь голову! Я тебя как облупленного знаю!

Осип еще загодя — едва уяснил себе ситуацию в городе — решил, как назовется в случае ареста. Ни в коем случае не своим настоящим именем: московская охранка слишком многое числит за Таршисом, каторга обеспечена. Пимен Сападирадзе? Помилуйте, да каким же это, интересно, ветром могло занести в западные края чистокровного грузина? Оставалось — Абрам Покемунский, уроженец здешних мест. По этому паспорту уже сидел в Одессе, ничего худого жандармы тогда не заподозрили; авось и теперь пронесет. Так и сделал — назвался Покемунским.

Между тем начался обыск. Тут Осип был совершенно спокоен: ничего крамольного у него с собой не было. Но

несколько неприятных минут ему все же пришлось пережить: на пороге появилась вдруг старенькая его мама, она стояла молча и с неизбывной тоской в глазах смотрела на Осипа. Чего он больше всего боялся — что жандармы спросят у нее, кто он, или же она сама обратится к нему как к сыну (она ведь не знала, как он назовется). Судьба, однако, оказалась милостивой к нему. Жандармы не догадались допросить маму.

При уездном исправнике была кордегардия — небольшая комната с зарешеченным окном, туда и поместили Осипа. Пристав допросил, затем исправник (вопросы всё одного касались — Таршис он или нет?), а через день специально прибыл из Ковны жандармский ротмистр Свячкин, и все трое уже навалились. Свячкин совсем не прост был, отнюдь. Поначалу все то самое говорил, что обыкновенно говорят, когда, не располагая фактами, на испуг берут: и — нам все о тебе известно, и — мы давно поджидаем тебя, и, наконец,— теперь-то уж мы крепко держим тебя в руках. И вдруг, когда Осип несколько даже расслабился, резкий выпад: взгляни-ка, любезный, на этот фотографический снимок — не твоя ли физиономия здесь запечатлена? Осип обмер: карточка была несомненно его; тюремный снимок 1902 года — в Лукьяновском замке сделан: фас, профиль, полный рост.

Осип потеребил свою могучую смоляную бороду и, ткнув пальцем в фотографию безусого юнца с длинными волосами, сказал с улыбкой:

— Пан офицер изволит шутить... Неужели я хоть немного похож на эту образину? Вы меня обижаете, пан офицер.

Ротмистр Свячкин принялся пугать Осипа арестантскими ротами, куда, как известно, сгоняют бродяг, потом тем, что сгноит его в карцере, и напоследок — военным судом, который быстренько найдет на него управу; но все это, понимал Осип, от беспомощности уже было...

В тот же день Осипа переправили в ковенскую тюрьму, где поместили в общую камеру, до отказа наполненную политическими, которые отнеслись к нему — поскольку чужак — настороженно, кое-кто и с нескрываемой враждебностью. Было обидно и горько чувствовать себя изгоем среди «политиков», но, затеяв свою игру, он никому не мог открыться: слишком велика была ставка.

А пока мыкал горе в вонючем ковенском централе, зачастую на карцерном положении, жандармы из кожи вон лезли доказать, что он, Осип, и есть тот самый Таршис, который шесть лет назад дал деру из киевской тюрьмы. Кому только не показывали они новую, уже при теперешнем аресте сделанную фотографию! Даже к Бейле, старшей сестре, ускакал один жандарм в Мариамполь, за несколько сот верст, но сестра уже предупреждена была, что ни под каким видом не должна признавать брата. Так же и во всех других случаях происходило; ни единой осечки...

Все это Осип узнал, когда через несколько месяцев его отправили куда-то этапом; шагал пешком, к вечеру очутился со своими конвоирами в Вилькомире, здесь же и заночевали в кордегардии. Почти тотчас примчался шурин и, дав конвоирам по целковому, получил возможность поговорить с Осипом с глазу на глаз. Вот он-то и рассказал среди прочего о закончившихся пшиком уловках жандармов. Но одна весть была пренакостная: стало известно, что выдал Осипа Берел Грунтваген, давний знакомый Осипа, активный некогда бундовец; вечером, как раз накануне ареста, Осип тайком навестил его, чтобы выяснить обстановку на границе...

Наутро погнали дальше. К исходу третьего дня очутились в грязном городишке Уцяны. Осипа поместили в какую-то старую баню, превращенную в арестный дом. Субботний вечер был, и сторож, принесший еду, «порадовал»



сообщением, что теперь придется до понедельника ждать пана пристава, потому как в воскресенье тот будет водку пить, песни орать и пляски откаблучивать — такой у пана уцянского пристава порядок. Сторож этот в другой свой приход стращал еще крутым «нравом» здешнего пристава: чуть что не по нем — пороть начинает, да так нещадно — все стены, видишь, в засохшей крови, и скамейка вон эта... Врал сторож или правду говорил, этого Осип и по сей день не знает, тем более что сторож сам на крепком взводе был, но что пьяные голоса всю ночь и весь день доносились до бани и что пение какое-то слышалось — тут никаких сомнений.

Ну что ж, Осип решил, что легко не дастся приставу, будет до последнего биться.

Утром его ввели в предбанник, оказавшийся просторной светлой комнатой. За столом сидел квадратный пристав с толстомясым лицом беспробудного пьяницы, а у противоположной стены стояли белобородые старики, пять стариков.

— Этот малый,— показав на Осипа, сказал пристав очень соответствующим внешности хриплым грубым голосом,— называет себя сыном Покемунского, который хрен знает зачем уехал в Америку. Только умные люди считают, что он брешет... как сивый мерин брешет.

Старики одновременно повернули головы в сторону Осипа. Все, с упавшим сердцем сказал он себе, круг замкнулся; что бы я ни говорил в свое оправдание, вера будет не мне, а, конечно, почтенным этим старцам... да и не повернется у меня язык уличать их во *лжи*... Погруженный в эти невеселые мысли, Осип не тотчас осознал, что — спасен. Между тем первый старик, он и стоял ближе всех к Осипу, сказал, уставив на Осипа слезящиеся глаза: да, это Абрам Покемунский, сын Герша, который отсюда, из Уцян, эмигрировал в Америку. Остальные старики, как по команде, закивали головами, потом загово-

рили наперебой, и Осип услышал массу интереснейших вещей о себе. Оказывается, он как две капли воды похож на своего отца; оказывается, Абрам Покемунский чуть не с пеленок известен им; оказывается, у него, как и у всех Покемунских, фамильная должна быть родинка под левой лопаткой... Пристав подскочил к Осипу и, заголив ему спину, самолично удостоверился, что родинка находится на положенном ей месте. Осип подумал: а не лишку ли дали те, кто подстроил эту сцену узнавания? Про родинку чаще всего даже очень близкие люди ничего ведь не знают. Но ничего, сошло; более того, именно эта родинка окончательно убедила великомудрого пристава, что Осип чист как стеклышко. Когда старики ушли, кланяясь приставу в пояс с такой истовостью, точно не верили, что смогут уйти отсюда в целости, да когда Осип остался один на один с приставом, тот сказал:

— Ну, малый, считай, что в рубашке родился. Не признай тебя эти пархатые — ух и разделал бы я тебя!

Со смешком, сволочь, говорил, легко представить, как он способен разделать, дай ему волю...

Осип ждал, что после стариков его сразу и отпустят; нет, опять пешком погнали в Вильвомир, и тут уездный исправник предъявил вдруг тако-ое обвинение... впору было бы со смеху кататься, если бы не грозил вполне реальный суд! Покемунский, истинный Абрам Покемунский, некогда, в достопамятные еще времена, отправил призываться за себя подставное лицо; а это, нетрудно догадаться, карается законом. И вот Покемунский благоденствует в каких-то неведомых своих краях, а я должен расплачиваться за его грехи! Ну не ужас ли? Не жестокий фарс? Но, как говорится, бог не выдаст — свинья не съест. Земский начальник (в его руках находилась судебная власть в уезде), не желая тратиться на кормежку не слишком важного преступника, отпустил Осипа до суда под залог в сто рублей.

Суда, естественно, Осип не стал дожидаться. Тайком уехал в Ковну, взял там на время паспорт и первым же поездом отправился в Одессу. Пароли, явки, как и само это поручение Заграничного бюро ЦК — условиться о приеме и распределении литературы, были получены в шифрованных письмах, приходивших на имя шурина (письма пришли, когда Осип находился под стражей).

Из Одессы — уже по новому заданию Заграничного бюро — явился во Львов; здешние товарищи предлагали использовать свой транспортный аппарат для снабжения литературой юга России, предложение заманчивое, но — осуществимое ли? Детально ознакомившись с постановкой транспорта, Осип пришел к выводу, что пуд литературы обойдется здесь слишком дорого. Из-за границы дали знать, что его ждут в Женеве. Из Львова в Краков, из Кракова в Вену, затем Тирольские горы, красивее которых мало что есть на свете,— и вот Женева.

Здесь его ждали — давно и с нетерпением. Что говорить, это было приятно: слаб человек! Но главное было все же другое — здесь его ждало дело. Нужно было ставить транспорт — по сути с нуля. Та кустарщина, которая процветала последние месяцы, никак не могла устроить партию. Осипа — тоже; как всякий профессионал (а сейчас так именно он ощущал себя), он терпеть не мог приблизительности, неразберихи, тем паче прямой неумелости. Обиднее всего, что человеком, который фактически провалил транспортировку перепесенных за границу партийных изданий — «Пролетария» в том числе,— был Яков Житомирский, выученик Осипа... именно ему ведь Осип в свое время — перед поездкой в Россию, три с половиной года назад — доверил все конспиративные связи на границе...

Сейчас Житомирский жил в Париже, его специально вызвали в Женеву для сдачи дел Осипу. Сдавать, собственно, было нечего. Да оно и мудрено было б — из

Парижа оседлать германскую границу. Нелепость, сказал ему при встрече Осип; неужели нельзя было обосноваться где-нибудь в Германии — не в Берлине, так в Лейпциге, в Кенигсберге, мало ли? За эти три года Яков повзрослел лет на десять, посолиднел, обрел эдакую европейскую лощеность и респектабельность, и вот теперь с терпеливостью взрослого, разговаривающего с капризничающим ребенком, он вежливо сообщил Осипу, что покинуть Берлин его вынудили обстоятельства особого рода, а именно — при аресте Камо была обнаружена его, Житомирского, визитная карточка...

Поразительно, но он не оправдывался — он объяснял. Сначала это несколько раздражало Осипа, но потом даже понравилось чем-то. Так, решил он, может вести себя лишь человек, которому не в чем оправдываться.

Ответив Осипу на этот прямой его вопрос, Житомирский далее очень спокойно рассказал, что было им предпринято для налаживания транспорта. Ездил туда-то, разговаривал с тем-то, но... дорогой Пятница, после столь длительного перерыва даже лучшие из старых связей, поверьте мне, ничего уже не стоят; и, знаете, я лично не склонен слишком строго судить людей: столько воды утекло, столько провокаторов развелось в наше смутное, поистине черное время; впрочем, что не вышло у меня, вполне может получиться у кого-нибудь другого, у вас, например, мой старый друг Пятница... нет, нет, не спорьте, у вас какой-то особый талант на эти вещи! Что до меня, продолжал с подкупающей откровенностью Житомирский, то я, право же, гораздо больше пользы принесу в Париже, где, как и прежде в Берлине, живу совершенно легально, к тому же практикую: внутренние болезни и прочее...

Больше всего из этого их разговора запомнилось, что Житомирский упомянул о провокаторах. Не потому запомнилось, будто заподозрил — Житомирский состоит на

службе у полиции... нет, нет! подобного и в мыслях не было! Истинная причина такой его, Осипа, избирательной памятливости была, пожалуй, та, что вскоре вслед за этим разговором и, по совпадению, именно в связи с границей возник Бряндинский... черт бы побрал этого сукина сына!

3

Матвей Бряндинский — новое для Осипа имя; мог поручиться, что никогда и ничего не слышал об этом человеке. Но вот летом 1910 года, недели через две после ареста в Минске Зефира, руководившего приемом партийной литературы в России, то есть в то как раз время, когда Осип и Русское бюро ЦК лихорадочно подыскивали толкового работника на место Зефира, в Лейпциг на имя Осипа пришло письмо от этого самого Бряндинского. Он сообщал, что, выполняя распоряжение Ногина, члена Русского бюро, готов в любой момент выехать за границу для встречи по делу транспортировки литературы, поэтому просит сообщить ему в Питер дату и место встречи, а также описать наружность лица, которое будет вести переговоры.

Осип с настороженностью отнесся к письму. Прежде всего, почему оно написано без шифра, только *химией*? Далее, вовсе не обязательно было в таком открытом письме называть свое подлинное имя и вдобавок, словно набавляя себе цену, сообщать, что после своего побега из тобольской ссылки, став нелегалом, успел поработать организатором районов в Питере и Москве, а также заведующим паспортным бюро... все это сведения, за которые полиция — попади им в лапы подобное послание — дорого дала бы.

И все-таки нет: сколь ни соблазнительно было вообразить себя человеком, который сразу же, едва получил от

Бряндинского первое это письмо, угадал, что имеет дело с агентом охранки, Осип даже и потом, когда все открылось, вынужден был признать, что это далеко не так; он подумал тогда лишь о неосторожности, неопытности нового товарища; не более того. Показательно, что Марк Любимов, ведавший всеми техническими делами Заграничного бюро ЦК, немедленно согласился с Осипом: да, неопытность, только это; и в подтверждение высказал весьма здравую мысль, что, будь Бряндинский человеком охранки, уж наверняка тут и шифр был бы, и все прочие знаки конспиративности. Так вот оно и вышло — что оплошности, допущенные Бряндинским, которые могли бы сполна *осветить* истинное его лицо, в некотором роде даже и на пользу ему пошли...

Как бы то ни было, а встретил Бряндинского в Лейпциге без всяких задних мыслей, и если были с его, Осипа, стороны проявлены меры предосторожности, то самые обычные: каждый работник должен знать не больше того, что ему необходимо знать для наилучшего выполнения своих обязанностей. Однако и того, что Бряндинскому надлежало знать, предостаточно набралось... Все то, что в течение года складывал по камешку, почти все свои новые, с таким трудом добытые связи сам передал ему в руки...

При встрече Осип назвался Альбертом, Бряндинский, так уговорились, взял себе имя Петунников. Вводя нового сотрудника в курс дела, Осип среди прочего посвятил его и в то, что сюда, в Лейпциг, получает литературу из Парижа по железной дороге, затем запаковывает ее в увесистые, по два пуда в каждом, пакеты, придавая им прямоугольную, удобную для переноски на спине форму; в таком виде пересылает пакеты — в качестве посылок с книгами — в Тильзит по адресу типографии Маудерода, где они поступают в распоряжение директора Литовского отдела, связанного с контрабандистами. Отсюда перебро-

ска литературы через границу осуществляется по двум, не связанным друг с другом каналам; оба — через контрабандистов. Поскольку Бряндинский будет непосредственно с ними связан, Осип дал подробную характеристику каждому. Один из них, Осип Матус, старик-литовец, седобородый здоровяк, наживший контрабандой целое состояние, берет, если нужно, и по десяти пакетов в один раз; доставлял груз на лошадях, как правило, в Радзивилишки, что расположены на Либаво-Роменской железной дороге, где до приезда транспортера литература хранилась у местного крестьянина Жиргулевича. Матус — контрабандист со стажем — работает надежно, без провалов, но из-за нескольких перевалок транспорт доставляется им медленно, и для переброски, к примеру, газет этот путь мало годится. Чаще поэтому приходится прибегать к услугам Натана Глазиндлера, по прозвищу Турок. Он хотя и берется переправлять всего один пакет, делает это быстро, притом доставляет его прямо в Гродно, здесь, в дачном пригороде Гродно — Лососне, транспорт сдается литовцу Карасевичу...

Такова была — в самом общем виде — схема доставки транспортов в Россию, и то, что Осип без утайки выложил ее перед Бряндинским, он даже и впоследствии, когда уже не оставалось сомнений в зловещей роли Бряндинского, не мог поставить себе в вину, положительно не мог. В конспиративных делах так: либо веришь — либо нет; иначе как же работать?

Но надо быть справедливым: поначалу Бряндинский развернулся совсем недурно. Быстро подыскал себе помощника — Валерьяна (то был преотличнейший товарищ, Владимир Залежский), который приезжал за очередным транспортом в указанный ему пункт; Бряндинский местом своего пребывания избрал, в целях большей безопасности, Двинск. Осип, получив от контрабандистов извещение, что транспорт находится там-то, тотчас отправ-

лял соответствующую телеграмму в Двинск Бряндинскому, который без промедления снаряжал Валерьяна на границу. Платил Осип контрабандисту лишь после того, как получал от него и от Бряндинского сообщение, что транспорт получен в целости и сохранности. Последующие сообщения с мест — из Питера и Москвы, Киева и Тифлиса, Екатеринослава и Читы — показывали, что литература, хотя, быть может, и не вся, доходит все же до своих получателей.

Да, примерно с полгода, до весны 1911 года, работа русского руководителя транспорта не вызывала ни малейших нареканий... как вдруг дело стало словно бы буксовать. То одна партия литературы, то другая, благополучно переправляемая в Россию, неожиданно начинала исчезать, не доходя до адресатов. Все это было весьма странно: никто из работников транспортной цепочки не арестован, а газеты или листовки бесследно пропадают. Каждый раз, когда случались такие пропажи, Осип вызывал Бряндинского в Лейпциг. Матвей Иванович (так звали Бряндинского) пожимал только плечами, искренне недоумевая вместе с Осипом. Однажды, это было в апреле, Осип сказал, что если майские листовки не дойдут вовремя до организаций, видно, придется распустить транспортный аппарат в России за бездеятельность. Нет, сказав так, Осип вовсе не собирался устроить Бряндинскому проверку, скорее просто зло сорвал. Но вот диво: именно майская литература до последнего листика, и в кратчайший срок, попала по назначению... Даже и после этого Осип не торопился делать далеко идущие выводы. Лишь потом, когда появились более веские подозрения, этот факт тоже занял в ряду других свое место.

Это «потом» настало в конце 1911 года. В самый разгар подготовки (и едва ль здесь случайное совпадение) общепартийной конференции, которую намечено было

провести в Праге (о чем — в данном случае это существенно — знали в то время считанные лишь люди в партии)...

Собственно, и в тот момент фактов, изобличающих Бряндинского, было не так много, да и те, взятые порознь, изолированно друг от друга, вполне могли быть расценены как невинная случайность, лукавое стечение неблагоприятных для Бряндинского обстоятельств; и только все вместе, один к одному, да еще в окружении мелочей, все эти на первый взгляд частные факты наводили на мысль о провокации.

До жути противно было копаться во всей этой грязи, но — надо, надо, для пользы дела надо...

Доставка одного пуда литературы, скажем, в Москву обходится совсем недешево — 115—120 рублей. Содержание каждого из трех работников транспортной группы — Осипа, Бряндинского и Залежского — составляет 50 рублей в месяц. Свои денежные дела Осип вел с точностью до копейки: для того хотя бы, чтоб не спутать ненароком партийную кассу со своим карманом, немалые деньги проходят все же через руки транспортера. Такой же щепетильности требовал от своих сотрудников. С Залежским — никаких хлопот. А вот у Бряндинского то и дело не сходились концы. Пока речь шла о суммах незначительных, Осип, пересиливая себя, молчал. Все имеет, однако, предел. В одном из своих отчетов — за август — Бряндинский указал, что вернул кому-то 100 рублей долга. Осип заметил, что в таком случае эти 100 рублей должны быть показаны и в приходе — где же соответствующая запись? Бряндинский забрал отчет, заверив, что переделает его надлежащим образом. На следующий день возвращает исправленный отчет — и что же? Да, 100 рублей уже красуются в приходе, но зато и расход увеличен еще на 140 рублей... мелкое мошенничество, в надежде, что Осип больше не станет проверять статьи расхода. Такая бес-

церемонность в обращении с партийными средствами страшно возмутила Осипа, он потребовал представить все оправдательные документы. И вот что характерно: Осип шумел, ругался, Бряндинский же — само спокойствие! Нет, не так даже снисходительное это спокойствие поразило Осипа, сколько то, что Бряндинский, похоже, и действительно ни тени смущения не испытывал...

Случай, с какого бока ни посмотри, гадкий, невозможный, позорный; тем не менее даже и он (если взять его в отдельности) ничего не говорит еще о главном. В конце концов, не всякий же нечистоплотный в делах человек непременно становится шпионом! Осипу и в голову такое не приходило. Единственно, что он для себя решил твердо: если еще хоть раз повторится подобное — он тотчас избавится от этого субъекта.

Тем временем Бряндинский готовился к поездке в Москву — одновременно с Алексеем Томиным; вместе и поехали. Из Москвы Бряндинский возвратился с дурной вестью: Алексей арестован на первой же явке, при этом полиции удалось расшифровать все взятые у него адреса и схватить многих московских товарищей. *Засветка* адресов казалась делом совершенно невероятным! Лишь три человека знали ключ к шифру: сам Алексей, Осип и Матвей Бряндинский; очень хитроумный был ключ, сомнительно, чтобы жрецам из охранки, как ни поднаторели они в своем ремесле, удалось разгадать его. Выходило — кто-то передал им ключ. Кто-то! Один из трех. Алексей Томин заведомо отпадает: москвичи передали, что он отказался от дачи показаний. Себя Осип тоже, понятно, исключал. Оставался Матвей...

Теперь, зная наверняка, что в действительности представляет собой этот человек, Осип, конечно, мог упрекнуть себя в том, что тотчас же не забил тревогу. Но — разобраться — по-своему он прав был, воздерживаясь от решительных умозаключений: все-таки нельзя было начисто

исключать то, что жандармы сами разгадали ключ к шифру...

В конце октября Бряндинский преподнес новый сюрприз. Совершенно случайно Осип узнал, что Бряндинский был арестован в Двинске, но очень скоро (самое большее, через сутки) выпущен из-под стражи. По крайней мере два обстоятельства наводили здесь на серьезные размышления. Не самый даже факт ареста, отнюдь; аресту может подвергнуться любой: все, как говорится, под богом ходим. Первое, что настораживало: отчего Бряндинский скрыл от Осипа этот случай? Не хотел волновать понапрасну? Счел за пустяк? Нет, что ни говори, а некругло получается. И другое: как это Бряндинскому удалось добиться столь скорого, прямо-таки молниеносного освобождения? Да, все дело в этой необыкновенной быстроте. Какие такие доказательства своей невиновности нужно было предъявить, чтобы умилостивить обычно непробиваемых тюремщиков! Странно сие, весьма; опять задачка с ответом не сходится. Свет истины, разумеется, легко мог пролить сам Бряндинский, но он не снизошел до объяснений, предпочел исчезнуть из поля зрения Осипа, отправился — воспользовавшись одним из хорошо известных ему пунктов переправки делегатов конференции — в Париж, где находились Ленин и Крупская и где, как предполагалось многими, должна была состояться эта конференция...

Об отъезде Бряндинского в Париж Осип узнал от Натана — контрабандиста по прозвищу Турок, который не только транспорты с литературой, но и людей переправлял через границу. Нуждавшиеся в услугах Турка должны были приехать в Сувалки, здесь остановиться в меблированных комнатах Келлермана. Деньги на переправку — по пятнадцать целковых с человека — платил Осип, после того как Турок сообщал о благополучном переходе границы. Подобная система расчета продиктована была тем,

что у товарищей, покидавших Россию, не всегда имеется нужная сумма; также и тем, чтобы у контрабандистов даже и соблазн не возник сорвать с клиента лишнюю деньгу. Однако на поверку главным оказался, так сказать, «побочный», во всяком случае заранее не предусмотренный эффект, а именно то, что Осип стал получать точные сведения с границы: кто прошел, когда, зачастую (в зависимости от пароля) и куда.

Сообщение Турка, как всегда, лаконичное, но исчерпывающее (у этого малограмотного контрабандиста не грех и поучиться умению вести дела!), касалось Бряндинского. Такого-то числа в такое-то время двое — Петунников (под этим именем Турок знал Бряндинского) и Филипп (то был московский делегат Голощекин) — проехали в Париж. Турок лично знал Бряндинского, десятки раз встречались, так что ошибиться не мог. Но, помилуйте, как же мог Бряндинский уехать — и куда, в Париж! — не то что без согласия, а даже и без ведома Осипа? Бросить дело на произвол и уехать?!

Турок меж тем и еще одно прелюбопытное сообщение сделал в своем письмеце. Один из сувалковских жандармов, тот, что давно уже был на жалованье у Турка («мой» жандарм), известил, что ему велено следить за меблированными комнатами Келлермана и выявлять всех, кто стремится перейти границу. Препоганое известие! Явка у Келлермана казалась такой надежной... Во всем этом, помимо самой потери явки, Осипа вот еще что взволновало. Выходило так, что явка эта провалилась сразу же после того, как Матвей Бряндинский изволил отбыть в дальние края... после того!

Тогда-то Осип и решился. К черту, сказал он себе; не слишком ли много совпадений? Нимало не колеблясь, он отправил срочную телеграмму в Париж, Крупской, с достаточно прозрачным текстом: в связи с плохим, дескать, состоянием здоровья брата Матвея прошу поместить его

в изолятор... следом послал ей подробное письмо, в котором изложил все свои подозрения и настоятельно просил не допускать Бряндинского на конференцию. Тут же связался с Залежским, переменил все явки и пароли; транспорт заработал так хорошо, как давно уже не работал!..

4

ПИСЬМО В. И. ЛЕНИНА АНТОНИНУ НЕМЕЦУ

Париж, 1 ноября 1911.

Уважаемый товарищ!

Вы меня очень обяжете, если сможете помочь мне советом и делом в следующем обстоятельстве. Ряд организаций нашей партии намерен собрать конференцию (за границей — конечно). Число членов конференции около 20—25. Не представляется ли возможным организовать эту конференцию в Праге (продолжительностью около одной недели)?

Самым важным для нас является возможность организовать дело *архиконспиративно*. Никто, никакая организация не должны об этом знать. (Конференция *социал-демократическая*, значит по европейским законам легальная, но большинство делегатов *не имеют паспортов* и не могут назвать своего настоящего имени.)

Я очень прошу Вас, уважаемый товарищ, если это только возможно, помочь нам и сообщить мне, по возможности скорее, адрес товарища в Праге, который (в случае положительного ответа) мог бы осуществить практически это дело. Лучше всего было бы, если бы этот товарищ понимал по-русски,— если же это невозможно, мы сговоримся с ним и по-немецки.

Я надеюсь, уважаемый товарищ, Вы простите мне, что я беспокою Вас этой просьбой. Заранее приношу Вам благодарность.

С партийным приветом *Н. Ленин.*

Первое ноября — это по новому стилю: Европа вот уже несколько сотен лет живет по григорианскому календарю. Россия — со своим старым стилем — и здесь поотстала... ровно на тринадцать дней! Осип машинально перевел календарную стрелку назад; ему, всеми делами связанному с Россией, так было попривычнее все же,— получилось 18 октября.

Свое письмо Антонину Немецу Ленин не доверил почте — прислал Осипу в Лейпциг с на́рочным. К письму приложена Лениным личная записка Осипу — просьба по возможности без отлагательства доставить это письмо адресату и провести с ним все необходимые переговоры. Заканчивалась та записочка выразительным «нотабене», крупными буквами и в кружок взятым: непременно прочтите, дорогой Пятница, прилагаемое письмо Немецу, из него вы поймете, в каком направлении вести переговоры; совсем напоследок, после подписи уже, торопливая, помельче, приписка: ничего главнее, нежели *это*, нет теперь для нас...

Да, несомненно: самое главное, самое важное. Больше невозможно оттягивать конференцию. Похоже, тот как раз случай, когда с полным основанием можно сказать, что малейшее промедление смерти подобно. Чуть промешкаешь — и партия безнадежно отстанет от назревающего в России, будет обречена плестись в хвосте событий. Из месяца в месяц растет неуклонно число стачек, главным образом политического характера,— несомненный признак революционного подъема. А что же партия? Готова ли она возглавить эту новую борьбу российского пролетариата? Полно, да можно ли вообще говорить ныне о пар-

тии как о чем-то едином, монолитном! Меньшевики, ликвидаторы, отзовисты, ультиматисты, богостроители, центристы, «партийцы», примиренцы... вон сколько набралось за годы партийного кризиса всяких течений, группок и фракций. Ни Четвертому съезду, ни Пятому не удалось устранить разногласий по коренным вопросам движения. Необходимо — и именно незамедлительно — сделать последнее усилие, чтобы выйти из затянувшегося кризиса, воссоздать партию на подлинно революционной основе. Осуществить это единство партии под силу лишь конференции представителей российских организаций, находящихся в самой гуще движения, далеких от заграничной эмигрантской склоки. Созданная недавно Российская организационная комиссия по созыву конференции проделала огромную работу в России, и вот выбраны на местах делегаты,— медлить больше нельзя.

Значит, Прага...

Сказать честно, выбор Праги для проведения конференции был несколько неожидан для Осипа. Во время многих встреч с Лениным и другими товарищами в Париже какие только города не возникали в качестве возможного места предстоящей конференции, но Прага — этот, в сущности, заштатный город Австро-Венгерской империи — никому на ум не приходила. Ленин в своей записке, сопровождавшей послание Немецу, никак не обосновывал — отчего Прага. Впрочем, и без того догадаться нетрудно. Прага одно из тех мест, где по ряду причин и впрямь удобнее всего было собраться. Тут и сравнительная близость к России, к русской границе. Стало быть, легче добраться; к тому же и дешевле: с деньгами, как всегда, туго, нет, даже хуже, чем всегда. Но главное все же другое — именно заштатность нынешней Праги, второразрядность, что ли; в силу как раз этого царская охранка не держит здесь своих агентов — не в пример традиционным центрам русской эмиграции вроде Женевы,

Берлина или того же Парижа, где порою и шагу нельзя ступить без «хвоста». Осип допускал, что у Ленина могли быть и дополнительные причины выбрать Прагу, не исключено — даже личные, то, к примеру, что некогда, в пору «Искры», он уже бывал в Праге и, таким образом, знает этот город не понаслышке; или то, что Антонин Немец хорошо известен Ленину по Международному социалистическому бюро... Так или иначе, но, при всей неожиданности для Осипа такого выбора, он не мог не признать, что Прага идеально отвечает всем требованиям конспирации. Теперь дело, стало быть, за Немецем — захочет ли, сумеет ли помочь русским коллегам? Ну, разумеется, и от Осипа тоже немало зависит...

Людям, близко стоящим к нему по работе, Осип обычно говорил, куда и на какой срок уезжает. На этот раз, памятуя о секретности затеянного предприятия, он никого не оповестил о своем отъезде из Лейпцига... потом, по возвращении, как-нибудь оправдается! Проще всего было ехать через Дрезден: прямой поезд. Отправился все же кружным путем, что называется на перекладных, «местными» поездами — через Хемниц, Цвиккау, Карлсбад; так надежнее.

С повышенной пристальностью всматриваясь в лица своих многочисленных, часто сменяющихся попутчиков и в бессчетный раз удостовериваясь, что все в порядке, никто из шпиков не увязался, Осип всю дорогу раздумывал о тех людях, которые столько уже лет по рукам и ногам вяжут партию, норовят сбить ее в сторону. Да, последние годы с отчетливостью показали, что́ это за публика — меньшевики. Все имеет предел; пришел конец и всяким иллюзиям. Видно, ни в чем уже не сойтись теперь с этими людьми — хоть и в малости какой... крупное — само собою! Иной раз шалая мысль невольно забредает: а не нарочно ли (из каприза, со зла ль) все они поперечничают? Только нет, детское это объяснение, верхушеч-

ный слой. В действительности — темная, бесконечная глубь нас разделяет,— пропасть, бездна, иначе не скажешь. Как разно, оказывается, можно видеть один и тот же предмет! Ну все равно как если бы, глядя на дерево, кто-то принял его за телеграфный столб... мелькали за окном дальние зубчики леса, а ближе, вровень с полотном, те самые столбы...

Не сегодня и не вчера началось: с третьего года, пожалуй. Раскол, происшедший тогда, скорей всего и был предвосхищением последующих событий в партии. То, что на первых порах могло показаться всего лишь недоразумением, случайностью, на деле было проявлением вполне определенной направленности, отзвуком глубинного, если угодно — неизбежного. Да, теперь — пройдя сквозь костер девятьсот пятого — уже с уверенностью можно сказать: Второй съезд лег в основание всех дальнейших, вплоть до нынешнего дня, *раздирательств* внутри российской социал-демократии. Дело до того уж дошло (и тоже не сегодня, а много раньше), что впору и усомниться: да одна ли это партия — если по сути брать, а не по названию?

Капитуляция перед силой — вот как, пожалуй, следует сформулировать принципиальную позицию меньшевиков. В пятом — «Не надо было браться за оружие!» Логика — бесподобная: раз не одолели царя — нечего и соваться, дескать, было... будто революция свершалась по чьему-то хотению, а не вследствие неких закономерных процессов! А не напротив ли, милейшие: может быть, более решительно следовало браться за это самое оружие?! Потом — в свирепую годину реакции — другой лозунг, по видимости на сохранение партии направленный: поскольку никаких надежд на новый революционный подъем не предвидится, ибо столыпинский драконовый режим укрепился всерьез и надолго, долой нелегальную подпольную работу, действовать только открыто, в рамках царских законов! Эдакое смиренное законопослушание... Помилуйте,

но что же это за рабочая партия такая, если деятельность ее по душе даже господину Столыпину! Не ясно ли, что ограничиваться только легальными возможностями — значит развалить, уничтожить революционную партию? Ликвидация партии, именно это. Теперь Мартова и его компанию уже и меньшевиками редко кто зовет, новое имечко у них теперь: ликвидаторы.

Надо быть справедливым: не только меньшевистское ликвидаторство вредит партийному делу. В рядах большевиков тоже возникла опасная линия — отзовисты: эти требуют отозвать социал-демократическую партию из Государственной думы и вообще отказаться от использования легальных форм работы — в профсоюзах, рабочих клубах, больничных страховых кассах. Другая крайность, не менее зловещая! Лозунги отзовизма — буде они начнут осуществляться — тотчас приведут к разрыву нитей, связывающих партию с массами, превратят партию в секту. Отзовизм — фактически — то же ликвидаторство, только наизнанку. Непримиримую борьбу следует равно вести с теми и другими: иначе угодим в болото, из которого вовек не выбраться. Речь идет ведь не о частных заблуждениях определенных лиц; будь это так — куда ни шло, заблуждайтесь себе на здоровье. Но не стоит закрывать глаза на то, что эти взгляды в ходу у части рабочих в России. Вот почему социал-демократическая партия должна совершенно избавиться от этих течений; либо она очистит себя от них — либо погибнет сама. И дело тут не только в том, что мы не хотим брать на себя моральную ответственность за их предательское поведение (хотя и это тоже). Суть дела такова, что сосуществование с меньшевиками в рамках одной партии неизбежно перерастает в прямую измену пролетариату России. Все эти вопросы — без преувеличения, вопросы жизни и смерти партии — и призвана разрешить предстоящая наша конференция... Господи, ни в бога, ни в черта не веруя, взмолился Осип,

сделай так, чтобы это вот, зашитое сейчас в полу пиджака, письмо Ленина Антонину Немецу стало тем волшебным ключиком, который откроет для нас ворота Праги! Тут же и посмеялся над собой: ей-же-ей, не ожидал от тебя, друг Пятница, эдакого воспарения... «Ни бог, ни царь и ни герой» — давно известно; собственными своими руками приходится все складывать — по камешку, по кирпичику...

Антонина Немеца Осип знал в лицо: с полгода назад тот приезжал в Париж на заседание Международного социалистического бюро, Осип тоже был тогда в Париже; Крупская, помнится, познакомила их; ни о чем существенном не говорили, так, обмен любезностями: «Очень приятно» — «Рад познакомиться»,— так что вряд ли председатель исполкома партии чешских социал-демократов удержал в памяти некоего русского товарища, мимолетное знакомство с которым не имело продолжения. Ну, да это не так важно; главное сейчас — встретиться, лично вручить ему письмо Ленина; надо думать, что человеку, доставившему это сугубо конфиденциальное послание, не будет отказано в доверии...

В Праге Осипу не доводилось бывать, поэтому, сойдя с поезда, он, как и всегда, когда попадал в незнакомый город, взял извозчика. Ехать ему нужно было на Гибернскую, 7, где, по справкам, наведенным еще в Лейпциге, находился так называемый Народный дом: здесь-то и помещался — легально, совершенно открыто — исполком партии. Снега не было, но крепко подморозило, лошадь то и дело оскальзывалась на ледяном насте брусчатой мостовой — пешком, право, быстрей вышло бы. У трехэтажного массивного здания извозчик остановился. По фасаду шли огромные буквы: «Lidovj dum» — Народный дом, как нетрудно было понять, и «Pravo Lidu» — название социал-демократической газеты. Кабинет Антонина Немеца был на втором этаже, туда вела широкая, нарядная, с жарко начищенными медными поручнями лестница.

Как ни удивительно, Немец тотчас узнал Осипа.

— Рад вас видеть, товарищ... Фрейтаг, я не ошибаюсь? — сказал он, едва Осип переступил порог.— Здравствуйте, здравствуйте. Какими судьбами? Наша Прага настолько в стороне от главных европейских дорог — наверняка вас привело дело...

— Да, вы правы,— сказал Осип, отдав в душе должное и редкой памятливости хозяина просторного, хотя и скромно обставленного кабинета, и тому, что тот сразу перевел разговор на деловую ногу.— Я привез письмо Ленина.

Пока Антонин Немец читал письмо, Осип в упор разглядывал его. Сегодня он показался Осипу моложе, чем тогда, в Париже: его определенно молодит улыбка, та дружеская, приветливая улыбка, с которой он встретил Осипа. Тем временем доктор Немец уже прочел письмо и, сложив его пополам и еще пополам, положил в свой бумажник, который тут же вновь спрятал в боковой карман сюртука,— Осип с удовлетворением отметил эту в общем-то совсем не лишнюю меру предосторожности, коль скоро речь идет о деле конспиративном. Но дальше пошли некоторые странности. Антонин Немец никак не выразил своего отношения к письму — ни словом, ни взглядом, ни жестом; словно бы, припрятав письмо от чужих глаз, счел тем самым исчерпанным все дело.

Нет, Осип вовсе не рассчитывал на то, что просьба Ленина непременно и в тот же миг будет исполнена; он вполне отдавал себе отчет, сколь непросто даже и в Праге обеспечить безопасность русской конференции,— руководитель чешских социал-демократов, разумеется, должен многое взвесить, прежде чем дать тот или иной ответ. Осип ждал разговора по существу, пусть трудного разговора, и был готов не только ответить на все вопросы, какие могли возникнуть, но кое-что и еще прибавить — с тем, чтобы этот пожилой чех совершенно проникся необходимостью помочь своим русским коллегам,

которые, увы, лишены возможности собраться у себя на родине. Но чтобы такой разговор завязался, нужно по крайней мере было начать его, и сделать это должен был, понятно, не Осип, а тот, в чьей помощи была такая великая нужда. Меж тем лицо Немеца даже и минуту спустя — ту минуту, в течение которой они, не отводя глаз, смотрели друг на друга,— ничего определенного не выражало; вернее всего сказать, оно было непроницаемым, Осип, пожалуй, впервые в своей жизни осознал истинное значение этого слова.

Но вот Немец заговорил. Впрочем, было бы куда лучше, продолжай он молчать, потому как заговорил он о совершенно постороннем, и Осип имел все основания усмотреть в этом нежелание вести какой бы то ни было деловой разговор.

— Вы приехали карлсбадским? — почему-то спросил он.

— Да, карлсбадским,— машинально ответил Осип.

— В таком случае,— взглянув на часы, стоявшие в углу кабинета, сказал Немец,— вы едва ли успели позавтракать. Я тоже голоден. Здесь на первом этаже изрядный ресторанчик, всегда свежее пиво, сосиски. Давайте спустимся.

Осип с трудом удержал себя, чтобы не сказать — пустое, я нисколько не голоден и уж во всяком случае совсем не для того я приехал сюда, чтобы вместе с вами запить чудесные ваши сосиски не менее чудесным вашим пивом.

— Спасибо, с большим удовольствием,— сказал Осип, не теряя надежды на то, что разговор у них все же произойдет, после этого завтрака хотя бы. И был прав...

— Там, за пивом, и о делах поговорим,— сказал Немец.

— Хорошо,— кивнул Осип с таким видом, точно иного и не мыслил себе.

— Я бы хотел,— сказал Немец,— чтобы в нашем раз-

говоре приняли участие еще два человека, только два... вы не возражаете?

— Да, конечно,— сказал Осип.— Если без этого нельзя обойтись...

— В этих людях я уверен, как в себе,— суховато заметил Немец и сразу же позвонил кому-то по телефону.

В ресторане, куда они спустились через минуту, в отдельной комнате с одним-единственным столиком, их уже ждали два товарища — без сомнения, те самые, которых пригласил Немец. То были — Немец тотчас представил их Осипу — Иоахим Гавлена, секретарь исполкома партии, и редактор газеты «Право лиду» Эмануэль Шкатула. Когда сели за стол, Антонин Немец прежде всего поставил своих коллег в известность о просьбе русских товарищей (сделал он это на немецком языке: верно, чтобы Осип тоже понимал, о чем идет речь); затем сказал, что он, Антонин Немец, не находит для себя возможным единолично решать этот вопрос, но и выносить его на обсуждение исполкома крайне нежелательно, ибо русские настаивают на полной секретности, лишь мы трое, таким образом, посвящены в их тайну... каков же наш с вами ответ будет, друзья? Возникла пауза, смысл которой разъяснился лишь после того, как Гавлена спросил у Немеца:

— Прошу простить: какие русские имеются в виду?

Осип опередил Немеца:

— Ленин, большевики.

— Я считаю, нужно помочь,— сказал Гавлена.

— Я тоже так считаю,— сказал Шкатула.

— А мы сумеем обеспечить безопасность конференции? Люди приедут без паспортов, нелегально...

— Надо будет постараться,— улыбнулся Гавлена.— Я полагаю, это дело чести нашей партии, чтобы все прошло хорошо.

— Черт возьми,— рассмеялся Немец,— мне нравится твое настроение, Иоахим!

— Знаешь, мне тоже! — в тон ему ответил Гавлена. И неожиданно подмигнул Осипу: — Отличное пиво, не так ли, товарищ Фрейтаг?

— Превосходное! В жизни не пробовал такого пива!

— Самое лучшее в мире, а?

— Самое лучшее!

Разговор продолжили после завтрака — Осип, Гавлена и Шкатула; Антонин Немец, прощаясь с Осипом (ему нужно было куда-то уезжать), сказал:

— На этих ребят вы можете положиться, Фрейтаг! Они сделают все, как нужно.

«Эти ребята» и впрямь оказались людьми той практической складки, которую Осип выше всего ценил у партийных работников. Они прекрасно представляли себе, что означает подготовка конференции. Первое — явки для делегатов, которые будут прибывать из Парижа и Лейпцига. Далее — жилье; Гавлена заверил, что даже и в отелях будет безопасно... разумеется, поспешил прибавить он, в тех отелях, которые принадлежат *нашим* товарищам; если этот вариант почему-либо не подойдет — разместим делегатов на квартирах у рабочих. Далее — место, где будут проходить заседания. Шкатула сказал, что это не проблема; самое удобное — здесь же, в какой-нибудь более или менее просторной комнате Народного дома. Осип усомнился, достаточно ли это безопасно — собираться под крышей дома, который, возможно, на мушке у полиции? Насчет «мушки», сказал Гавлена, вы заблуждаетесь: мы работаем легально и у властей, бог миловал, пока что нет ни малейших претензий к нам; что же до Народного дома, то у него, в сравнении с другими местами, есть одно огромное преимущество: здесь за день столько бывает народу, в том числе случайного,— можно ручаться, что русские в этом потоке останутся незамеченными. Осталось договориться о связи; Осип запомнил телефоны, по которым можно звонить; условились о паролях. Когда при-

шел час прощаться, Гавлена вызвался проводить Осипа на вокзал. Нет, решительно воспротивился этому Осип, ни в коем случае. Но почему же, почему? — искренне огорчился Гавлена; я вам покажу нашу Злату Прагу, поверьте, это самый красивый город на свете. Как-нибудь в другой раз, сказал Осип; я не хочу, чтобы нас видели вместе — сейчас, подчеркнул он. Ну что ж, будь по-вашему, сказал Гавлена; вероятно, вы правы.

— Я вам очень признателен, друзья,— сказал Осип.— Вы крепко нас выручили.

— О чем разговор!

— И еще... только не сердитесь, если покажусь вам излишне назойливым...

— Кажется, я знаю, о чем вы хотите сказать,— мягко перебил Гавлена.— О том, что ни единая душа не должна знать о...

— Не буду отнекиваться: именно об этом. Ни единая душа, верно!

Возвратившись к себе в Лейпциг, Осип первым делом отправил в Париж, Ленину, подробный отчет о поездке в Прагу. Письмо свое тщательно зашифровал, но и при этом не назвал ни Прагу, ни Антонина Немеца, ни Гавлену со Шкатулой: были ведь случаи, когда охранке удавалось подобрать ключ к шифру...

5

Натан Глазиндлер, по прозвищу Турок, король сувалковских контрабандистов, известил Осипа, что им переправлены за кордон четыре человека, дальнейший маршрут которых — Берлин и Лейпциг. Турок работает без осечек, так что можно не сомневаться — границу эти пока что неведомые Осипу четверо делегатов конференции миновали благополучно. Но вот проходит день, другой — нет

товарищей. Осип по нескольку раз на дню наведывался на квартиру, куда, по прибытии в Лейпциг, должны были явиться приезжие товарищи, потом решил выходить ко всем поездам из Берлина — с каждым «пустым» поездом беспокойство его все возрастало.

Беспокойство его, к сожалению, имело под собой реальную почву. Немало опасностей подстерегало делегатов и после удачного перехода границы. В Германии, вблизи русской границы, орудовали агенты пароходных компаний, которые при помощи жандармов арканили русских эмигрантов, насильно заставляя их покупать билеты в Англию и даже Америку. Разумеется, охотников совершать столь дорогое путешествие находилось немного, и тогда жандармы, кровно заинтересованные в каждом пассажире, ибо получали определенный процент с билетов, сажали строптивцев в карантин (прозванный эмигрантами «баней»), где могли продержать и неделю. Добро б еще только этой «баней» ограничивалось дело; случалось и так: разозленные тем, что из рук их уходит «верная» пожива, прусские жандармы возвращали эмигрантов в Россию, к радости своих русских собратьев. Однажды таким вот образом попался даже опытнейший конспиратор Носков... Неужто «баня»?

Осип собирался уже послать кого-нибудь в Гумбинен и Инстербург, где находились наиболее крупные «бани», чтобы за любые деньги вызволить товарищей из беды, но, по счастью, один из его походов на Баварский вокзал (раннее утро было, еще горели ночные фонари) увенчался успехом. Еще издали он приметил долгожданную эту четверку. Ошибиться было невозможно: самые что ни есть россияне! Вот уж воистину, с улыбкой подумал Осип, на всех московских есть особый отпечаток. Еще и какой отпечаток: сапоги, какие не носили в Германии, шапки-ушанки, зимние тяжелые пальто! Вышли на привокзальную площадь, стоят, бедолаги, в нерешительности,

не знают, куда податься. Осип устремился к ним, спросил — на всякий случай по-немецки: не нуждаются ли господа в какой-нибудь помощи? Приезжие явно не поняли, один из них, долговязый, весьма недвусмысленно махнул рукой — мол, иди-ка ты, братец, куда подальше! Но Осип не отступался. Сказал — по-русски теперь:

— Друзья, если не секрет, какая вам нужна улица?

Все тот же долговязый ответил, воинственно нахмурив брови:

— А тебя это не касается!

— Может быть, вы ищете Цейцерштрассе? — все не отставал Осип (на Цейцерштрассе была явка делегатов).

Товарищи переглянулись в замешательстве. Долговязый — то был, позже выяснилось, рабочий из Питера Залуцкий — чуть на крик не перешел:

— Ничего мы не ищем, ничего! Понял, нет?

И все четверо двинулись прочь. До Осипа, хотя он следовал за ними на довольно приличном расстоянии, доносились их громкие голоса. Одни доказывали, что Осип несомненно шпик, притом русский шпик, а коли так, то было бы неплохо затащить *этого гада* в подворотню и крепко *поучить*. Кто-то высказал предположение, что шпик едва ли стал бы заговаривать с ними: следил бы издали, и все; а вдруг этот человек пришел нас встречать? Тут один из четверки, коренастый, крепкий (Догадов, делегат из Казани), оставил своих и решительно направился к Осипу. Подойдя вплотную, заорал на всю улицу:

— Слушай, ты кто? — При этом полагал, должно быть, что, задавая этот бесподобный свой вопрос, ведет себя страх как конспиративно...

— А можно не так громко? — попросил Осип.

Парень малость опешил.

— Можно,— помедлив, сказал он, перейдя, без всякой на то нужды, совсем уже на шепот. И этим же за-

говорщическим своим шепотом повторил вопрос: — Ты кто?

— Да вас встречаю, не видишь?

— А не врешь? — с каким-то детским простодушием, в котором было и радостное удивление и боязнь обмануться, воскликнул он.

— Вот те крест! — подыграл ему Осип, чувствуя, что парень поверил ему, уже верит.

— А ты докажи! — азартно и весело потребовал парень.

— Нет, лучше ты скажи — *привез ли посылку от свата Митрофана?* — Сказанное было паролем, который делегаты (и эти, и все остальные) должны были сказать на лейпцигской явке.

Парень загоготал, опять на всю улицу, здоровенной ручищей хлопнул Осипа по плечу:

— Привезли! А как же!

И потащил Осипа к товарищам, которые все это время стояли неподвижно в отдалении, за версту оповещая их:

— Да наш это, братцы! Самый что ни на есть наш!

Конспираторы чертовы... Просто удивительно, как это им удалось целехонькими добраться до Лейпцига! Уж Осип задал им жару — потом, на явочной квартире. Небось дома у себя сто раз оглянетесь, прежде чем шаг ступить, по-отечески шпынял он их; а здесь что же? В рай, что ли, попали? Тут тоже полицейских хватает! Поругивал их, но сам понимал прекрасно: никакой вины их в том нет, что белой вороной выглядят здесь, в Европе. Откуда им (а народ они всё молодой, немногим за двадцать) было знать, какую одежку да обувку носят ныне в заграницах? А хотя бы и облачились в соответствующее — как быть с тем, что ни слова не умеют сказать по-немецки (как и по-английски, впрочем, и по-французски)? Все четверо рабочие ведь парни, хорошо

хоть русскую грамоту знают... Невольно Осип тут и себя вспомнил — в свои двадцать. Как раз в Лукьяновку попал. Ох и зелен же был! Пожалуй, только там, в тюрьме, и начал кумекать, что к чему. Так ли, не так, нужно честно признать — в сравнении с ним, тогдашним, эти молодые рабочие крепко выигрывают. Отлично разбираются в хитросплетениях и сложностях внутрипартийной борьбы,— одно это уже было б немало! Но тут более важное: то, что они умеют повести других за собою — редкий и поистине бесценный дар. Не случайно именно их избрали на конференцию — Онуфриева и Залуцкого в Питере, Догадова в Казани, Серебрякова в Николаеве.

Особенно отрадно то было, что новая поросль эта возникла в самые тяжкие годы столыпинщины — те как раз годы, когда меньшевики, вконец перепуганные свирепым натиском реакции, заживо хоронили партию. Шутишь! Нет на свете такой силы, которая могла бы сломить революционный дух народа. Все, что есть в России живого, истинно пролетарского, устояло в горниле сражений, еще и пуще прежнего закалилось. Можно заточить в тюрьмы «стариков», стоявших у истоков партии, сослать их в далекие погибельные края, но революцию все равно не остановить. Она неизбежна, как неизбежен после ночного мрака утренний восход солнца! И тому свидетельство (не единственное, но, может быть, самое показательное) — появление нового, молодого поколения практических работников партии, деятельных, умелых, как эти вот парни, готовые принять на свои плечи все тяготы борьбы в каторжных условиях российского подполья. Значит, вовсе не напрасны были все усилия последних лет, когда мы, большевики, стояли насмерть, отражая наскоки явных и скрытых врагов... Конференции в Праге предстоит — в преддверии грядущих боев с царизмом — завершить борьбу за чистоту партии, чтобы она вновь стала подлинным авангардом русского пролетариата. Так и будет,

в этом Осип не сомневался. Так и будет. Потому что впервые за долгое время не мастера заграничных склок и интриг будут решать все назревшие вопросы, а люди из России, непосредственные участники происходящих там событий...

Экипировав делегатов по-европейски и дав им в провожатые Загорского, одного из членов лейпцигской группы содействия большевикам, прекрасно владеющего немецким, Осип отправил их в Прагу. Но даже они, прекрасные эти товарищи, которым Осип всецело доверял, не знали того, что именно Прага — конечный пункт их путешествия; как и многие другие, они были уверены, что конференция состоится в Париже. Что ж, конспирация такая штука, в которой не должно быть ни малейшей щелочки; иначе она бессмысленна. Считанные люди знают о Праге: лишь те, кто непосредственно занят подготовкой конференции. Делегаты из России — в качестве дополнительной меры предосторожности — получили новые псевдонимы. Так было и в этот раз: приехали в Лейпциг Залуцкий и Серебряков, Онуфриев и Догадов, а уехали из Лейпцига — Фома да Ерема, Степан да Павел; поди распознай...

Встретив и проводив еще нескольких делегатов, в начале января 1912 года Осип и сам отправился в Прагу. Он был делегирован на конференцию Заграничным центром партии.

6

А. М. Горький — делегатам Пражской конференции (январь 1912 г.):

Дорогие товарищи!

...Мне очень хотелось бы повидаться с вами, я знаю, как ценно было бы для меня это свидание, понимаю,

как много оно могло бы дать мне, и я очень огорчен тем, что не могу приехать. Причины таковы: жду людей из России по разным делам, они приедут на днях, и я не могу отлучиться.

Нездоров и боюсь ехать на север зимой, чтобы не свалиться,— это было бы очень не вовремя. Мои приезды считаю опасными в конспиративном отношении: узнают меня, привяжутся репортеры, начнется газетная болтовня.

Для меня важнее всего первая причина, для вас, я думаю, доказательна третья.

Попрошу сообщить мне, будут ли изданы полные протоколы заседаний конференции, или же только одни резолюции. Не будут ли отпечатаны хотя некоторые доклады делегатов из России...

От всей души желаю вам полного успеха в творческой вашей работе, необходимой и как нельзя более своевременной.

Вы — люди дела, ваша воля устремлена к строительству, к синтезу, и я уверен, что ваше влияние будет крайне плодотворно для людей слова, аналитиков, которые слишком увлеклись анализом.

Еще раз желаю вам победы надо всем, что затрудняет правильный рост ума и воли нашей партии.

В. И. Ленин — А. М. Горькому (февраль 1912 г.):

Дорогой А. М.!

В скором времени пришлем Вам решения конференции. Наконец удалось — вопреки ликвидаторской сволочи — возродить партию и ее Центральной Комитет. Надеюсь, Вы порадуетесь этому вместе с нами...

Жму руку. *Ленин.*

7

Нил Петрович Зуев — директор департамента полиции — был в прескверном расположении духа. Через четверть часа предстоял доклад у министра, и легко было себе вообразить, какую мину сделает этот знаменитый желчевик, когда услышит, что большевистская конференция — по самым последним и на сей раз абсолютно точным сведениям — проходила с пятого и по семнадцатое сего января в Праге. По-своему он и прав будет, министр Макаров! Этих «последних и самых точных» сведений уже не счесть было, а все они, на поверку, чистейшей липой оказались — где уверенность (не скажет, так подумает министр), что и сейчас не повторяется постыдное вранье.

Да и я-то хорош, все больше распалялся Зуев. Нашел кому верить! Пора бы уж привыкнуть, кажется: помощнички дорогие все больше пальцем в небо норовят ткнуть, авось в искомую тучку угодят... Не так даже ошибочность доставлявшихся ими сведений бесила. В конце концов, обо всем обязаны они сообщать по начальству — хотя бы эти сведения были предположительны только; если на то пошло — даже и о слухах должен он, Зуев, быть своевременно уведомлен. Ну так и доносите, черти, что — по слухам, по непроверенным данным, а то ведь, полюбуйтесь, делают вид, будто и впрямь бога за бороду ухватили! Нет ничего гаже — передергивать карты, врать, один прогад от этого — пусть ненароком и угадаешь иной раз. Что тут сделаешь, ну никак шельмецов этих не приучить, чтоб хоть ему, прямому своему начальнику, одну святую правду доставляли. Другое дело, что потом он может уже как угодно, по личному своему усмотрению, распорядиться доставленной ему информацией. Только он и может — держа на руках бóльшую часть карточной колоды — блефовать... перед самым государем хоть, не то

что министром! Так ведь нет: по их, ближайших своих сотрудников, милости, он тоже не может... Подвели. Уж так подвели, собакины дети,— впору об отставке рапорт подавать!

Что́ Заварзин с фон-Коттеном, начальники московской и столичной охранок, что́ заведующий заграничной агентурой Красильников — все одним миром мазаны. Высечь бы их, солеными розгами высечь, как каторожников беглых! Чтобы знали наперед, каково с ним, Нил Петровичем Зуевым, в жмурки играть!

В особенности держал он сердце на Красильникова: ведь в Париже сидит, бездельник, в самом, на сегодняшний день, центре большевистском, с ихним Лениным рядышком... Как тут Гартинга не вспомнить! Ужасно обидно, что премьер Клемансо поддался на вопли своих парламентских социалистов и выставил его из пределов Франции. Полезнейший человек был. Мошенник, конечно, каких поискать, изрядно-таки деньжат к лапам его наприлипало, но — умница каких тоже поискать и нюх отменный. А главное — не врал. Скорее утаит что, попридержит до нужного часа. Но зато в доклады свои ни словца случайного не вставит, идеально профильтровано все (в те поры Зуев вице-директором департамента был, первым Гартинговы фолианты проглядывал, готовя резюме для тогдашнего своего шефа Трусевича). Понятно, что и Гартинг выслуживался, как без этого, но — делом, рвением, и всегда имел дальний прицел. А этот... Красильников, черт его... думает лишь о ближней минуте. Да, не терпится человеку поскорее в наилучшем свете предстать! Об одном, видно, забота у сердешного — чтоб сей же момент начальская рука промеж ушей по шерстке погладила, а что потом будет — вроде бы не его уже печаль. Зуеву самому даже понравилось это сравнение Красильникова с шавкой, коя заливается счастливым лаем по любому поводу, от избытка дурацкой жизнера-

достности, надо полагать... ничего, милый, ужо я заставлю тебя *опечалиться*, век помнить будешь! Не раз пожалеешь еще, что прошляпил большевистское это сборище в Праге!

Большевики, мда-с. Чудно́ теперь даже подумать, что было время, не такое уж и давнее, когда он, Зуев, искренне полагал, что страшнее эсеров и зверя нет. Есть и пострашнее; увы, есть. Как ни много шума производят господа социалисты-революционеры, но нет — вспышкопускатели, фейерверкеры, ничего более. Жаль блаженной памяти Столыпина Петра Аркадьевича, до боли сердечной жаль, пятидесяти не было, когда двумя выстрелами в упор — прилюдно! в театре! — пресеклась полгода назад его так много обещавшая жизнь; но ежели по совести — урон сегодняшней государственности мнимый, призрачный, только то и переменилось, что должности, кои он один исправлял, ныне на двоих разложили: Коковцов — председатель совета министров, Макаров — внутренних дел министр...

Социал-демократы, эсдеки, куда опасней, сие бесспорно. Но и то не все, как показала жизнь; нынешний парижский житель Ленин и те, кто вкруг него, большевики эти самые, вот от кого погибели земли русской ждать надобно. Поди-ка сочти, сколько корешков у одного-разъединственного хоть дерева; а коли дерев этих — лес? Корневики, да; как ни руби их, под самый комель пусть, а корни — там, внизу — все не повыдернешь, того и гляди, они новые ростки дадут! Шесть, а то и все семь лет рубили не щадили (после тех, о пятом годе, бунтов и волнений), какая новая, мало-мальски заметная головка ни появляется — в острог ее, в ссылку на край света, нет, сызнова в рост идут; живучесть беспримерная, фантастическая...

Тем паипаче следовало воспрепятствовать проведению конференции! Дураку ясно, что теперь большевики опять

возродили себя как силу, способную весьма ощутительно влиять на положение дел в империи. Беда не только в том, что в Праге избран угодный Ленину Центральный Комитет (орган, по сути не существовавший последние два примерно года). Не менее прискорбно и то, что конференция, на которой восемнадцать делегатов представляли двадцать с лишком российских организаций (хоть это-то теперь известно!), собрала в единый кулак самые активные, самые решительные элементы РСДРП. Не нужно быть пророком, чтобы предугадать — результаты Праги несомненно, и очень скоро, отзовутся резким усилением подпольной работы на местах, особенно в среде рабочих.

И ведь что всего досаднее: о том, что беки готовят конференцию, загодя было известно! Одного лишь не знали — *где* она пройдет; мелочью казалось, сущим пустяком: мы да не дознаемся! Слава богу, хватает наших людей среди эсдеков! Остальное — дело техники; давно и надежно отработанная метода: объявить делегатов анархистами, пусть-ка большевики покрутятся, доказывая, что они и сами не больно жалуют анархистскую публику. Пока суд да дело — от конференции и помина не осталось... Так загадывалось, а в действительности пшик получился. Первым возник Париж как возможное место конференции; Красильников со ссылкой на Житомирского, обычно весьма осведомленного агента, сообщил об этом. Затем тот же Красильников морочил голову Бретанью: сведения, от Бряндинского идущие. А потом градом посыпалось (на сей раз чрезмерным усердием Заварзина и фон-Коттена): то Лейпциг, то Краков, то опять Париж, то Женева, то Берлин; даже Стокгольм мелькал... благо хоть без Америки обошлось! Последняя надежда была на тезку государева Романова да на Малиновского, особо секретных сотрудников охранной службы, настолько надежно внедренных в большевистские сферы, что

им удалось даже стать делегатами конференции. Но и им неизвестно было, куда они едут; сообщены им были лишь промежуточные явочные адреса: Ганновер, Берлин, Лейпциг... Ничего не скажешь, крепко скрытничали господа большевики, вполне профессионально; позавидовать можно...

Так вот и вышло, что только задним числом узнано о ходе и исходе ленинской конференции. Да и то не все, ох, далеко не все! До сих пор, к примеру, не выяснены подлинные фамилии едва ли не половины состава конференции; делегаты, прибывшие из России, фигурировали под специальными, для одной Праги предназначенными кличками: Фома, Степан, Виктор, Валентин, Ерема, Тимофей, Матвей, Павел (Роман Малиновский был Константином, Романов Андрей — Георгием, Жоржем)... без святцев тут, видно, не обошлось. Конспирация такова уж — неизвестно, кто именно избран в ЦК. Каждый делегат записывал предлагаемых им кандидатов, в количестве семи человек, и отдавал записку Ленину, который единолично и произвел подсчеты голосов. Результаты выборов не оглашались; по окончании выборов Ленин персонально, с глазу на глаз, информировал каждого члена ЦК о его избрании. В составе ЦК оказался, в частности, Малиновский, но и он не знал своих сотоварищей по комитету; с уверенностью можно сказать лишь, что Ленин, разумеется, тоже входит в это руководящее ядро.

...Время близилось к одиннадцати. Пора идти на доклад к министру. Вот уж пытка-то... Впрочем, придумалось в последнюю минуту, если умно повернуть свой доклад, сделав упор на мерах по выявлению и «ликвидации» делегатов конференции и разъездных агентов нового ЦК (а они, без сомнения, вот-вот вынырнут), словом, создать видимость уже начатой кипучей деятельности, глядишь, и пронесет на сей раз...

8

В. И. Ленин, «Доклад Международному социалистическому бюро о Всероссийской конференции РСДРП» (начало марта 1912 г.)

«Последние годы были для РСДРП годами шатаний и дезорганизации. В течение трех лет партия не могла созвать ни конференции, ни съезда, а за два последних года ЦК не мог развернуть никакой деятельности. Партия, правда, продолжала существовать, но в виде отдельных групп во всех сколько-нибудь значительных городах,— групп, которые, при отсутствии Центрального Комитета, жили каждая своей несколько обособленной жизнью.

С недавних пор, под влиянием нового пробуждения российского пролетариата, партия начала вновь крепнуть, и совсем недавно мы, наконец, получили возможность созвать конференцию...

В течение своих 23 заседаний конференция, признавшая за собой права и обязанности высшего партийного органа, обсудила все стоявшие в порядке дня вопросы, среди которых был ряд чрезвычайно важных. Так, конференция дала глубокую и весьма всестороннюю оценку современного политического положения и политики партии... Особенное внимание конференция уделила предстоящим через несколько месяцев выборам в Думу...

Конференция рассмотрела также вопрос о «ликвидаторах». Это течение отрицает существование нелегальной партии, объявляет эту партию уже ликвидированною, объявляет реакционной утопией восстановление нелегальной партии и уверяет, что возрождение партии возможно только в легальной форме. Тем не менее, это течение, порвавшее с нелегальной партией, до настоящего времени никакой легальной партии основать не смогло. Конференция констатировала, что партия уже четыре года ведет

борьбу против этого течения... что вопреки всем усилиям партии это течение по-прежнему сохраняет фракционную обособленность и ведет борьбу против партии на страницах легальной печати. Конференция поэтому заявила, что ликвидаторы... поставили себя вне РСДРП.

Наконец, конференция избрала ЦК и редакцию ЦО «Социал-Демократ». Кроме того, конференция особо подчеркнула, что есть за границей множество групп, которые являются более или менее социалистическими, но которые во всяком случае совершенно оторваны от российского пролетариата и от его социалистической деятельности и, следовательно, совершенно безответственны; что эти группы ни в коем случае не могут ни представлять, ни выступать от имени РСДРП; что партия ни в какой мере не принимает на себя ответственности или поручительства за эти группы и что все сношения с РСДРП могут вестись только через посредство ЦК, заграничный адрес которого мы здесь даем: Владимир Ульянов, 4 Rue Marie Rose, Париж XIV (для Центрального Комитета)».

9

Осип был утвержден на Всероссийской конференции главным транспортером партии. В те пражские дни ему исполнилось тридцать лет, ровно тридцать.

Глава седьмая

1

— Господин, подождите!

Осип вовсе не думал, что оклик относится к нему, и обернулся скорее из простого любопытства. Сзади, шагах в ста, одышливо семенил грузный и очень немолодой околоточный.

— Господин, господин! — В голосе бедняги околоточного была откровенная мольба.

Ну нет, сказал себе Осип. Нет. Нет и нет.

В садике около самарского собора одна лишь дорожка — эта вот самая. В сторону, даже если по газонам, не уйти: садик огорожен металлической кружевной решеткой. Оставалось вперед идти — к калитке. Осип чуть прибавил шаг — так, чтобы и оторваться от преследователя, но в то же время не выглядеть откровенно удирающим... Сейчас миную калитку, нырну потом в первое же парадное — пока околоточный выберется из садика.

— Да погодите же, господин! Я за вами не поспеваю!

Недавно в синематографе, в какой-то заграничной фильме, тоже комичная погоня была — только там сперва на авто, потом на велосипеде, потом и вовсе на ишаках. Очень смешная фильма, очень. Здесь — попроще...

Ч-черт, не успел дойди до калитки! Навстречу — ровно из-под земли — два крепких человека, в цивильном, но с образцовой строевой выправкой. Мертвой хваткой один из них сжал правый локоть, другой — левый; и сквозь зубы, полушепотом: первый — *спокойно*, второй — *ни с места!* Уже подбегал семенящей своей припрыжкой околоточный.

Главная досада была — два месяца всего только и пришлось поработать в Самаре. Ровно два, день в день прямо! 16 апреля 1914 года приехал сюда из Москвы, а ныне — 16 июня... Впрочем, и из этого срока с полмесяца ушло, пока Ленин из Польши известил здешних большевиков, что человек, который явится к ним и назовется Генрихом, добрый малый и на него можно положиться. Так что, вот обида, и двух не набирается месяцев!

— Господин, а господин... как вас, господин, зовут?

Околоточный не мог справиться с дыханием, возникли явно не предусмотренные им паузы, и оттого тон по-

лучался не приказной, как то до́лжно бы в подобной ситуации, а, напротив того, просительный, даже искательный. Сам же вопрос был вполне обыкновенный, из разряда тех, какие всякий раз задаются при задержании. Трудно ведь поверить, что полицейским действительно неизвестно, кого они берут: слишком уж целенаправленно было все устроено — и погоня, и засада этих вот переодетых в штатское шпиков. И если Осипу все же вздумалось немного поиграть в кошки-мышки (огрызнулся: «Раз уж гонитесь за мной — должны бы сами знать это!»), то единственно из привычки ни в чем без боя не уступать полицейским. Пусть-ка сами первые назовут его, тогда хоть ясно будет, какое из его имен на сей раз привлекло к себе их внимание!

Покуда везли на едва ли случайном извозчике в жандармское управление, было время поразмышлять о некоторых странностях этого ареста.

Первая бившая в глаза странность — отчего прямо на улице сочли возможным брать? На улице, а не дома — на Троицкой, 103, где, ничуть не таясь, даже и прописку надлежаще оформив в полиции, он снимал комнату у вдовы чиновника Софии Андреевны Эсмонт? Или не на службе? Тоже ведь не тайна, что Пимен Санадирадзе направлен в Самару московской конторой фирмы «Сименс-Шуккерт» для установки на городской электрической станции — в связи с предстоящим пуском трамвая — преобразователей переменного тока в постоянный, всевозможных трансформаторов и всяких других сложных приборов... Если кого и хватают вот так на улице — разве что уголовников, да и то не всех, «убивцев» только, дабы уменьшить количество пролитой ими крови... Постой, постой, уж не за террориста ли какого принимают меня?

Хорошо, пусть так. Ловят кого-то, до невозможности похожего на меня. Но тогда остается предположить, что

околоточный совершенно случайно опознал меня (вернее, того, на кого я похож). Нет, и здесь концы с концами не сходятся. Чем в таком случае объяснить, что полицейские молодчики в штатском как раз в нужный момент оказались в нужном месте? В такие совпадения Осип не верил. Видно, специально поджидали, прекрасно были осведомлены, что в это время — без четверти час пополудни — Осип имеет обыкновение возвращаться с обеда на работу — чаще всего этим соборным садиком. Но и опять выходит неувязка. При таком-то знании его дневного распорядка — какая нужда на улице брать? А ну как задерживаемый и впрямь окажется при оружии и, защищаясь, устроит пальбу — сколько невинных пострадает! Не проще ль, не разумнее ли — дома, за толстыми стенами?

Уж какие только варианты Осип не прикидывал! В том числе самые невозможные. Лишь одно-единственное объяснение (а именно — что полицейские, арестовывая его, действительно не знают его имени) никак не приходило в голову. Да, собственно, и не могло прийти: слишком уж фантасмагорией попахивает. Слишком...

2

Первый допрос провел сам начальник жандармского управления полковник Познанский.

На допрос, впрочем, не очень и похоже. Прежде всего он представился, Познанский,— в чем, надо признать, имелась очевидная нужда: на полковнике был партикулярный, ладно сидевший на нем костюм. Познанский был моложав, лишь седые виски да усталые, как бы притушенные глаза выдавали возраст; лет пятьдесят ему, никак не меньше. Учтиво назвав себя, Познанский, вероятно, ждал, что и Осип в ответ, как того требуют пра-

вила приличия, откроет свое имя. Плевать Осип хотел сейчас на приличия! Приняв тон благородного негодования, он весьма энергично выразил свое возмущение по поводу ареста невинного человека.

— Но главное даже не это,— продолжил он в том же наступательном духе.— Представьте, ваши люди, господин полковник, столь бесцеремонно схватившие меня на улице, даже понятия не имеют, как меня зовут! Допустимо ль подобное в цивилизованном государстве, каковым, полагаю, вы, как и я, почитаете наше отечество?

Участливо выслушав его, Познанский тем не менее возразил:

— Я принужден вступиться за своих, как вы выразились, людей. Им действительно неизвестно ваше имя. Равно как и мне... Мы знаем вас как *Ермана,* что, вероятно, должно означать *Герман,* но весьма сомнительно, чтобы это имя, или фамилия, значилось в вашем виде на жительство...

— Это недоразумение! — пылко воскликнул Осип.— Поверьте, произошла какая-то ошибка. Вот моя паспортная книжка. Изволите ль видеть — Санадирадзе Пимен Михайлович, дворянин, родом из селения Багдади Кутаисского уезда...

Пока Познанский листал его паспорт, Осип, разыгрывая, как и прежде, святую невинность, говорил о том неудовольствии, какое, несомненно, проявит всеевропейски известная фирма «Сименс-Шуккерт», которую он имеет честь представлять в Самаре, занимаясь устройством столь необходимого городу трамвая; еще говорил о крайне нежелательной задержке пуска трамвая, каковая неизбежно произойдет, если господин полковник доверится чьим-то злобным наветам... говорил все это с подобающим случаю пылом и жаром, а у самого брезжила смутно догадка, что Познанский и вправду, быть может, не знает, под каким именем живет сейчас Осип

(иначе не листал бы так внимательно паспортную книжку, особо пристально вникая в штемпели о прописке), и еще не ведая, радоваться ли этому, потому как самое опасное, коли дознались о прежних его именах — все равно Таршис ли, Пятница или Альберт, лучше бы уж Санадирадзе, еще не ведая ни этого, ни того, что же конкретно числят за «Ерманом», Осип, холодея сердцем, уже понимал — *влетел,* и, судя по некоторым признакам, влетел крепко. Как ни странно, всего больше убеждало в этом именно то, что Познанский, похоже, и впрямь впервые слышит эту фамилию — Санадирадзе; если при таких-то обстоятельствах все же сочтено необходимым заарестовать его — серьезный, значит, хвост тянется...

— Вы напрасно так близко к сердцу принимаете случившееся, господин Санадирадзе,— оторвался наконец от паспорта полковник.— Вполне возможно, здесь действительно недоразумение. И тогда, не сомневаюсь, оно очень скоро разъяснится.

И эта чисто жандармская любезность тоже показательна! Уж так, значит, уверен господин Познанский в обреченности нынешней своей жертвы — отчего бы цирлих-манирлих в обращении с нею не позволить себе? Эдак кошка забавляется с мышкой, прежде чем придушить ее...

— А пока что, вы уж простите великодушно, я вынужден буду — до уточнения некоторых обстоятельств — поместить вас в губернскую тюрьму.

— Не проще ли было прежде выяснить интересующие вас обстоятельства, потом уж в тюрьму отправлять?

— Видите ли, в таком случае мы не имели бы счастливой возможности задать вам несколько вопросов. Так-с, пустячки... Отчество вашего отца? Имя-отчество матери? Имена братьев и сестер?

— Извольте. Отца зовут — Михаил Захарьевич. Мать — Нина Ираклиевна. Братьев и сестер — не имею.

Имена Осип назвал первые, какие пришли в голову. Забота одна только была — ни малейшей паузы не допустить. По этой же причине решил обойтись без братьев и сестер, его запаса грузинских имен было явно недостаточно для большой родни. Подлинных же имен он не знал. В свое время ему прислали с Кавказа этот паспорт, не сообщив никаких подробностей о семье. Обычно такие сведения и не требуются, лишь бы паспорт был настоящий. Паспорт на имя Сападирадзе ни разу еще не подводил Осипа — ни в Харькове, ни в Пензе, ни в Москве, ни здесь, в Самаре: никаких зацепок при прописке; авось и теперь пронесет.

— Мне бы не хотелось оказаться в тюрьме,— сказал Осип, пока Познанский делал свои записи.

— Я вас понимаю,— поднял голову Познанский.— Удовольствие не из лучших.

— Это само собою, но в данном случае я имею в виду другое — меньше всего личные неудобства. Мое отсутствие, мне приходится повторить это, незамедлительно скажется на пуске трамвая. Я опасаюсь, что моя фирма взыщет с города неустойку за срыв работ.

— А, это... Нет, это не должно вас беспокоить. Объяснения с фирмой я беру на себя...

На этом первый допрос, собственно, и закончился.

К удивлению Осипа, Познанский, упомянув «Ермана-Германа», почему-то не стал выяснять обстоятельства, связанные с этим именем, под которым Осип и действительно выступал в Самаре. Хотя, по нормальной логике, именно эти обстоятельства должны бы вызвать у него повышенный интерес. Забывчивость? Да нет, едва ли. Познанский — матерый зубр, сразу видно. Именно показная обходительность, чрезмерная, до приторности даже, вежливость всего больше и выдают его: такие ничего не забывают, нет. У них всегда и во всем расчет! К тому же явно мнит себя звездой наипервейшей вели-

чины. Мы все глядим в Наполеоны, не так ли, господин полковник? Кто в Наполеоны, кто — в Порфирии Петровичи.

Да, какой-то расчет. Последует, разумеется, запрос в Кутаис — был ли там в свое время выдан паспорт Пимену Санадирадзе? Поскольку паспорт подлинный, Осип был уверен в благоприятном для себя ответе. Хуже обстоит дело с именами «родичей», тут на то лишь надеяться приходилось, что, в силу срочности, произойдет обмен телеграммами, а здесь уж не до частностей, не до мелочей...

3

Осип почти не сомневался, что на несколько дней его оставят в покое. Так оно и вышло: следующий допрос был через три дня. При этом, немаловажная подробность, не Осипа повезли в жандармское управление — Познанский сам явился в тюрьму... верно, и тут не без расчета, подумал Осип. Не иначе, губернский этот Порфирий Петрович, следуя повадкам книжного своего собрата, участливо примется сейчас осведомляться, каково мне живется в камере, нет ли каких жалоб... ах уж эти мне полицейские способы завоевать расположение!

Но нет, Познанский сразу к делу приступил. Вынул из казенной серой папки фотографическую карточку, протянул ее Осипу:

— Вы не встречали этого человека?

Осип с добрую минуту разглядывал хорошо известный ему снимок, на котором был изображен он сам. Не тот давний тюремный снимок, сделанный двенадцать лет назад в Лукьяновке, который однажды уже был предъявлен ему при одном из арестов, а свежий, прошлогодний, парижский. Разглядывая фотокарточку, Осип все время контролировал выражение своего лица: безразличие, за-

интересованность, потом — полуулыбка изумления. С этой улыбкой он и сказал, все еще держа снимок перед глазами:

— Кого-то он мне напоминает. Определенно напоминает. Вы не находите, что этот человек чем-то похож на меня?

Познанский отозвался суховатым деловым тоном:

— Да, вы правы. Некоторое сходство несомненно. Потому, собственно, я и решил показать вам. На фотографии изображен некий Осип Таршис, фигура, достаточно заметная в эмигрантских социал-демократических кругах.

— Вполне возможно,— машинально сказал Осип, еще не очень зная, как себя вести дальше.

— Не встречали? — молниеносно последовал вопрос; и Осип отметил, что только сейчас, впервые за весь сегодняшний допрос, Познанский применил обычную полицейскую уловку — застигнуть врасплох.

— Не имел чести! — с некоторым даже вызовом ответил Осип.

— А вы вглядитесь пристальней,— невозмутимо посоветовал полковник.— Я вас нимало не тороплю.

Осип смотрел на свое изображение. Фотокарточка была годичной давности. Сделана незадолго до отъезда из Парижа. Одет по-европейски: в смокинге даже. И не было тогда дремучей, во все лицо, бороды: аккуратная эспаньолка; и усы — ниточкой, с заостренными концами. Нынешняя-то борода уже в России появилась — для оправдания грузинского паспорта...

Житомирский хвастал, что разжился по случаю отличным фотоаппаратом (эдакий тяжеленный ящик на треноге) и, как всякий новичок, все жаждал запечатлеть ближних своих. Охотников отчего-то находилось мало, Осип и сам не раз отказывался, но в тот день — жаркий, солнечный июльский день был, море было света, который, с мольбой объяснял Житомирский, так необходим для

съемки,— в тот раз то ли Житомирский как-то особенно настойчив был, то ли настроение у всех было бездельное — все согласились (кроме Осипа еще человека три было). Первый снимок был групповой. Потом поодиночке снял всех Житомирский. Анфас. Зефир, запомнилось, еще пошутил: а в профиль? а в полный рост? Житомирский (и это с резкой отчетливостью вспомнилось сейчас) тоже пошутил в ответ: придется, мол, потерпеть до первой каталажки, уж там, надо думать, не пожалеют на тебя фотопластинок... Оказалось — не просто шутка. Совсем не шутка. Житомирский знал, что говорил. И что делал — тоже знал. *Провокатор* — умный, хитрый, ловкий, изворотливый...

— Я тут подумал,— прервал вдруг паузу Познанский,— что мы, пожалуй, напрасно теряем время. Если бы на вашем пути и в самом деле новстречался человек, столь разительно схожий с вами, его-то вы наверняка вспомнили бы...

Осип промолчал. Поддавки — совсем уж глупая игра, разве что гимназистов ловить на такие штучки... Познанский, должно быть, и сам почувствовал, что несколько перемаслил кашу, и, исправляя этот очевидный свой промах, сказал с достаточно ощутимой жесткостью в голосе:

— Ну, разумеется, если бы захотели вспомнить!

Осип и на этот раз промолчал. Не только потому, что в подобных случаях лучше всего молчать: ведь знает, точно знает Познанский, что это твоя физиономия смотрит с фотографии! Да, не только поэтому. На первый план вышла сейчас эта мразь Житомирский. Некстати, конечно; но тут ничего не поделаешь. Это было уже не в его власти — не думать о нем. Это как заноза: пока не вытащишь — все будет болеть.

Фотокарточка, оказавшаяся в жандармском досье, многое открыла теперь. Житомирский, без сомнения, давно уже состоит на службе в охранке. По крайней мере, с

девятьсот пятого. Рыжий шпик, неотступно следивший тогда за Осипом в Берлине, никакой, конечно, не гений был: Житомирский — вот кто наводил его на след! И провал транспортного заграничного пункта, делами которого в отсутствие Осипа вершил Житомирский, тоже не случаен. В десятом или одиннадцатом году Бурцев, главный в то время разоблачитель провокаторов, высказал предположение, что Житомирский является платным агентом полиции, где числится под кличкой Ростовцев. Состоялось партийное следствие (Житомирский, понятно, не знал об этом), комиссия пришла к выводу, что сообщения Бурцева недостаточно для столь серьезного обвинения,— Житомирский был оставлен в партии; в первое время, правда, ему старались не давать ответственных поручений. Год назад, в июле тринадцатого, выучившись на электрика, Осип уезжал из Парижа в Россию. Среди немногих провожавших был на вокзале и Житомирский. Он очень тепло простился с Осипом, стал уговаривать, чтобы в следующий свой приезд в Париж Осип обязательно остановился у него,— своим дружелюбием и заботливостью он даже растрогал Осипа.

По пути в Россию Осип должен был — по соображениям конспирации — сделать на несколько дней остановку в Баден-Бадене и Лейпциге. Никакой слежки в дороге за собой не заметил. В Бадене, правда, показалось, что за ним следят, но решил, что это местные шпики. В Лейпциге поначалу тоже ничего не вызывало подозрений, но тут один из товарищей получил письмо от хозяйки, у которой Осип квартировал в Бадене: страшно встревоженная, она сообщала, что буквально на следующий день после отъезда Осипа к ней пришел шпик и стал расспрашивать о квартиранте. Она описала наружность шпика. Наутро, выйдя из своей лейпцигской квартиры, Осип нос к носу столкнулся с субъектом, внешность которого до мелочей сходилась с описанием, дан-

ным баденской хозяйкой. В тот день этот шпик еще не раз попадался Осипу. Пришлось прибегнуть к невероятным хитростям, чтобы благополучно выбраться из Лейпцига. Как позже выяснилось, уехал Осип из Лейпцига как нельзя более вовремя: в ту же ночь в его квартире был сделан обыск.

Теперь эта вот злополучная фотокарточка. Еще одно звено в цепи предательств. Круг замкнулся... Но какой же дорогой ценой заплачено за «прозрение»! И сколько еще людей, товарищей по общему делу, стали и станут жертвой этого негодяя! Осип дал себе клятву: он сделает все возможное и невозможное, чтобы передать на волю все, что знает теперь о Житомирском...

Познанский тем временем стал проявлять признаки явного нетерпения. Он несколько раз выразительно кашлянул, потом принялся постукивать пальцами по столу.

— Итак, вы никогда не встречали этого человека,— наконец сказал он, пряча фотографию в папку. В тоне, каким произнес он это, почти не было вопроса — скорее утверждение. И вздохнул — как бы с облегчением. И, складывая свои бумаги в портфель, сделал вид, что собирается уйти.

Актер-то не из лучших, следя за ним, со злорадством отметил Осип. Можно биться об заклад, что у самой двери он хлопнет себя по лбу, точно только в этот миг вспомнил нечто не то чтобы очень существенное, но все же занятное, и спросит — как бы мимоходом — о чем-нибудь главном, решающем.

Лишь одного Осип не угадал: Познанский не хлопнул себя по лбу; а все остальное получилось в точности так, как представил себе Осип. Почти у самой двери Познанский высоко вдруг вздернул брови и, доверительно улыбнувшись, сказал:

— Совсем из головы вон! Хотя ради этого, главным образом, я и шел к вам... Пришел ответ из Кутаиса. Вы

говорили правду: ваш паспорт действительно был выдан там в... сейчас взгляну... в тысяча девятьсот шестом году, четвертого марта.

Нет, нет, говорил себе Осип. Все не так просто. Что-то еще есть у полковника, что-то еще...

— Я рад за вас,— все ликовал наигранно Познанский.— От души рад! Правда, имеется тут одна неувязка...

Порфирий Петрович наверняка сказал бы — неувязочка...

— Верно, они что-то там поднапутали. Утверждают, будто человек, коему был выдан этот паспорт, преспокойно живет себе сейчас в Кутаисе, никуда не выезжал. Даже адресок его, представьте, прилагают... Я предположил — однофамилец. Тем более — у того Санадирадзе, в отличие от вас, есть три брата и две сестры. Не сходятся также отчество отца и имя-отчество матушки... В принципе такое совпадение возможно. Мало ли, скажем, на Руси Иван Иванычей Ивановых? Одного лишь не может быть: чтобы один и тот же паспорт принадлежал разным Ивановым. Или, прошу простить, Санадирадзе... Я не думаю, что вы поступите разумно и дальше прибегнув к запирательству. Это имело бы, возможно, какой-то смысл, не знай я определенно, кто вы есть в действительности. Давеча я уже назвал ваше имя по рождению — Таршис. Могу назвать некоторые из ваших подпольных кличек. Не потому *некоторые,* что хочу что-то утаить: просто я не все, видимо, знаю. Итак — Виленец, Фрейтаг, Альберт; здесь, в Самаре, вы проходите как Герман. Достаточно?

Да, подумал Осип, и в самом деле достаточно. Игра проиграна. Что проку теперь тянуть время? К одному надо стремиться — к определенности; и чем скорее она наступит — тем лучше... Осип подтвердил: да, я Таршис.

Дальнейшее, к удивлению Осипа, ничуть не походило

на допрос. Вместо того чтобы тотчас, по свежему следу, закрепить свой успех и попытаться детально выяснить хотя бы все то, что относится к работе Осипа в Самаре, Познанский неожиданно пустился в какие-то странные, во всяком случае не очень уместные сейчас разглагольствования.

— Вы хорошо сделали, что открылись. Иначе мне пришлось бы, до выяснения личности, засадить вас в арестный полицейский дом — среди воришек, сутенеров и прочего сброда. К тому же и условия там, доложу вам, преотвратительные: теснота, грязь, постоянные драки... Нет, нет, не подумайте, бога ради, что я напрашиваюсь на благодарность. Отнюдь. Но, может быть, вам приятно будет узнать, чего вы избегли... Я несколько болтлив? Это стариковское, простите великодушно. И потом — вы мне глубоко симпатичны. В вас угадывается натура недюжинная, с умом, характером. Общение с вами, право, доставляет мне удовольствие. Здешняя публика — я имею в виду вашего брата, эсдеков — не то, не то, серость! Вы проницательны, я вижу; а это редкий дар, даже и у умных людей. Вы явно чем-то озадачены. Я, кажется, догадываюсь — чем. Вам непонятно, отчего я не веду допрос по всей форме. Хорошо, объясню. Оттого, что знаю: ничего такого, за что можно было бы упечь вас если не на виселицу, то хотя бы в каторгу с кандалами, за вами не числится — ни экса, ни террора. Даже и за побег из Лукьяновской тюрьмы, совершенный в девятьсот втором, покарать вас уже нельзя: два года как минул десятилетний срок давности. Что же остается? Три месяца тюрьмы за проживание по чужому паспорту? Это работника-то вашего калибра! Ну, допустим, можно еще, учитывая особую вредность вашего пребывания в рабочих районах, настоять перед департаментом полиции на административной высылке в какие-нибудь до чрезвычайности отдаленные места... тоже награда, доложу вам, не по заслу-

гам. По мне, так уж лучше сразу отпустить вас на все четыре стороны...

Поначалу, признаться, Осип слушал его вполуха. Неинтересно было вникать в извивы жандармской психологии — даже если предположить, что полковник вполне искренен. Так и этого ведь нет: рисовка, бравада мнимой широтой взглядов, напыщенная болтовня, все что угодно, только не живое чувство. Вскоре почувствовал: нет, неспроста Познанский пустился в свою болтовню. Не такая уж она безобидная, как может показаться. Что бы ни толковал Познанский о своей прямоте и «открытости» — здесь, как и раньше, таится некий расчет. Осип решился поторопить события.

— Отчего бы вам это не сделать? — как бы вскользь спросил он.

Познанский тут же уточнил:

— Вы о чем? Чтобы я освободил вас?

— Да. Если я верно понял, вы именно об этом говорили.

— А что — могу! — весело, с какой-то даже лихостью в голосе воскликнул Познанский.— Честно говоря, ничего серьезного против вас у меня нет.— Помолчал, прищурился лукаво.— А могу и не освободить...

— Несмотря на то, что нет ничего серьезного?..

— Давненько сказано: закон — что дышло, куда повернул — туда и вышло... Шучу, конечно. Но чтобы не было неясностей между нами, скажу со всей откровенностью: вы для меня враг, навеки враг. Будь моя воля, я бы таких под землю отправлял, в свинцовые рудники, да притом в кандалах,— без суда и следствия, вне зависимости от конкретных злоумышлений. И потому просто так, за красивые глазки я и пальцем не пошевельну, дабы хоть на копейку облегчить вашу участь. Вас интересует мое условие?

— Да.

— Извольте. Переходите на нашу сторону.

Такое редко бывало с Осипом, может быть, раза два за всю жизнь: на какое-то мгновение пресеклось вдруг сознание — как от резкой, насквозь пронзившей боли. Тут дело было не только в гнусности сделанного ему сейчас предложения — скорей всего неожиданность его подействовала так оглушительно... он-то, по наивности, думал, что от него потребуют *чистосердечных* признаний... Но и гнусность тоже! Одолев мимолетный всплеск бешенства, когда хотелось кричать, и рвать, и метать, Осип, как бы отойдя чуть в сторону, с холодной уже ненавистью разглядывал полковника. Уж настолько-то ничего не понимать в людях — право, непростительно для начальника губернского жандармского управления... Но бог с ним, с этим убожеством. Главное — кажется, удалось обрести столь нужное сейчас спокойствие.

— Нет,— сказал Осип. И повторил — очень, очень спокойно: — Нет.

— Грязное дело? — зло поинтересовался Познанский.

— Грязное — это само собой,— с хладнокровием, которому даже и сам подивился, сказал Осип.— Но тут и другое. Я, как вы знаете, электрик, по горло занят на службе, фактически полностью отошел от движения, так что пользы от меня все равно никакой.

— Ну, было бы желание, а войти в это ваше движение всегда можно. Для вас-то, я полагаю, это не составило бы большого труда.

— Не берусь судить. Но я предпочитаю оставаться нейтральным.

— Положим, относительно вашей нейтральности я тоже кое-что знаю. Не угодно ли вам ознакомиться? — Он порылся в портфеле, извлек из него какую-то папочку с бумагами, с минуту поизучал их.— Точная дата вашего прибытия в Самару мне неизвестна. Вероятно, это произошло в середине апреля. Но развернулись вы па

удивление быстро и, главное, заметно. Взять хотя бы «общество разумных развлечений», организованное вашими собратьями меньшевиками. Вполне благонамеренное «общество», всякие там лекции о природе, любительские спектакли — словом, ничего недозволенного. Но стоило появиться вам — «общество» вдруг круто полевело. Косяком пошли собрания, диспуты на острые политические темы. Дальше — больше. Первого мая в овраге около трубочного завода состоялось собрание большевиков. Вы говорили там о необходимости взять в свои руки журнал «Заря Поволжья», где в ту пору были и столь нелюбезные вашему сердцу меньшевики. Вами был также сделан доклад о положении в партии, после чего было решено подготовить созыв самарской конференции большевиков. В конце мая вы активно приступили к выполнению поручения заграничного ленинского центра РСДРП созвать поволжскую конференцию и провести выборы на съезд партии и международный социалистический конгресс. Наконец, 15 июня на состоявшемся по вашему почину широком собрании рабочих и интеллигентов было решено — после зажигательной речи Германа — сделать «Зарю Поволжья» печатным органом исключительно большевиков. Вы ощутимо стали мешать нам, и 16 июня пришлось пресечь чрезмерно кипучую вашу деятельность... Согласитесь, мои сотрудники неплохо поработали. Не без огрехов, конечно: так ведь и не дознались, что Герман и электротехник Санадирадзе — одно и то же лицо! Не удержусь от комплимента: вы отменно законспирировались, отменно-с... Впрочем, памятуя все ваши доблести за долгие годы, чему тут и удивляться? Но я отвлекся, простите. Так как же быть с нейтральностью? И с тем, что вы полностью отошли от движения...

— Господин полковник, я сказал — нет. Ничего другого вы от меня не услышите.

— Не забывайте, что вы у меня в руках.

— Я это помню.

— Рассчитываете отделаться административной высылкой? Не выйдет. Я сделаю все, чтобы вы были преданы суду. Для этого я не пожалею выпустить против вас на суде своего лучшего осведомителя...

— Нет.

4

Месть Познанского, как говорится, не заставила себя долго ждать. Но, бог ты мой, до чего же мелко и низко он мстил!

Сразу после допроса Осипа перевели в арестный полицейский дом — якобы для установления личности, которая Познанским досконально уже была установлена. В арестном этом доме было все то, чем Познанский стращал Осипа,— и теснота в камере, и вековая неистребимая грязь, и ворье всех мастей, и жестокие драки между предводителями враждующих кланов. Но кое-что и похуже было. Осип оказался единственным политическим в камере, а некоторые из уголовников держали давние, еще с 1905 года, обиды на политиков, которые не давали всей этой шпане, собравшейся под знаменами Михаила Архангела, безнаказанно бесчинствовать и грабить.

Добром эта перенесенная теперь на Осипа ненависть едва ли кончилась бы, но тут его неожиданно спасла другая гадость, приготовленная для него Познанским. Осипа повезли однажды к мировому судье, который, ни о чем не спросив, хотя бы для проформы, объявил, что имярек приговорен им за проживание по чужому паспорту к трем месяцам тюрьмы,— тюрьма была уже «нормальная», губернская. А вообще смехотворнее дела и придумать нельзя было — судить политического «преступника» всего-то навсего за проживание по чужому паспорту! Выходит, Познанский зря грозился политическим процессом, ничего

не вышло, господин полковник, и вряд ли только потому, что вы пожалели какого-то там своего осведомителя, просто эти ваши осведомители не очень осведомленными оказались. Лишь то, что наверху лежит, ухватили: людные собрания, речи. Но они не знают главного — всех тех, с кем были у него встречи в эти два месяца, всех вроде бы будничных дел, из которых, собственно, и складывается подпольная работа.

Обидно, конечно, что два лишь месяца удалось продержаться на свободе. Вероятно, мог и дольше; даже определенно мог бы. Специальность электромонтера и служба в фирме «Сименс-Шуккерт» были, как он и предполагал, отличным прикрытием,— Познанский со всем своим сыскным воинством и то не докопался. Но при том положении дел, которое Осип застал в Самаре, было невозможно все время находиться в тени. Большевистская организация фактически не существовала, нужно было, засучив рукава, браться за создание хотя бы временного комитета. Слаба была также связь с рабочими группами заводов. Местные товарищи объясняли свою бездеятельность боязнью проникновения в организацию провокаторов, подосланных охранкой,— приходилось и эти настроения учитывать. Разговорами да уговорами немногого добьешься: надобно было самому впрягаться в воз. Как же было не появляться на маевках и собраниях — пусть и с риском попасть на заметку полиции? Тем более что он не просто «появлялся» — произносил речи, вел все эти собрания...

Но Осип считал, что в данном случае риск более чем оправдан. И, кажется, не ошибся. Оставшиеся на свободе товарищи передали ему в тюрьму: временный комитет большевиков превратился в постоянный; отвоеванная у меньшевиков «Заря Поволжья» заговорила наконец «правдистским» языком; со дня на день ожидается приезд испытанного большевика Муранова, рабочего депутата

IV Государственной думы, который должен был возглавить Самарскую партийную организацию. Обдумывая эти радостные вести, Осип лишний раз укрепился в давнем своем мнении: любое дело, каким бы трудным и сложным оно ни казалось, важно начать, стронуть с места, запустить, дать ему верное направление — дальше будет уже легче. И то, что за время, отпущенное ему на свободе, Осип успел все-таки сделать это — *начать* — хоть немного примиряло его с нынешней неволей.

Сведения
о представляемом к административной высылке

Принимая во внимание, что Таршис, начав свою революционную деятельность еще в 1902 году, не только не прекратил таковую в настоящее время, но, приобретя паспорт на имя грузина Санадирадзе, прибыл в Самару с целью поднятия подпольной работы, что ему отчасти и удалось как пользующемуся большим авторитетом среди партийных, а потому, хотя за проживание по чужому паспорту он и осужден уездным членом Самарского окружного суда на три месяца к тюремному заключению, но дальнейшее пребывание его в пределах населенных пунктов, а в особенности рабочих районов, безусловно вредно, а потому полагал бы названного Таршиса выслать в административном порядке в Якутскую область под гласный надзор полиции на пять лет.

Начальник Самарского губернского жандармского управления полковник Познанский.

Департамент полиции куда милостивее оказался, нежели полковник Познанский. Местом ссылки была определена не Якутская область, а Енисейская губерния — все поближе. И не пять лет, а три года — все поменьше. И тогда, продолжая мстить, Познанский сделал последнее,

что было в его власти. Перед самой отправкой по этапу Осипа вывели на трескучий мороз, раздели донага и произвели тщательнейший обыск.

6 марта 1915 года, после многомесячного и многоверстного этапа, государственного преступника Осипа Пятницкого наконец доставили в деревню Федино Пингузской волости Енисейского уезда Енисейской губернии.

До Октябрьской революции оставалось два года и семь месяцев...

Вместо эпилога

1

Два года и семь месяцев.

Долгие, долгие месяцы, бо́льшая часть которых — два года — пройдут в ссылке; до тех пор, пока не рухнет царизм.

Но тогда, только-только попав в немыслимую сибирскую даль, Осип, понятно, еще не знал этого. Ни этого, ни того, что впереди его ждет самое великое счастье, какое только может выпасть на долю профессионального революционера,— быть участником победившей революции, одним из руководителей вооруженного восстания в Москве. Не знал он также и того, что потом — после других важных для страны дел — партия направит его в Коминтерн, где он станет секретарем Исполкома, и что все те двадцать лет большевистского подполья, которые он прошел плечом к плечу с Лениным, явятся своеобразным *разбегом* к его работе в этом всемирном штабе коммунистического движения. Лишь одно знал он тогда точно: сколько ни отмерено ему жизни и как она дальше ни повернется, он никогда не свернет с пути, который с юных лет избрал для себя; никогда.

2

Бела Кун, член Исполкома Коминтерна, об Осипе Пятницком:

«Деятельность Пятницкого в Коминтерне, в руководстве международным пролетарским революционным движением, была прямым *продолжением* той работы, которую ради победы революции долгие годы вел в российской большевистской партии этот профессиональный революционер, воспитанник ленинской школы.

Пятницкий — один из превосходнейших знатоков международного рабочего движения — несомненно, глубже всех изучил коммунистические партии. Свойство подлинного организатора — умение основательно изучить боевые силы, которые он должен организовать и которыми должен руководить, способность изучить поле сражения, на котором должны действовать эти силы, пожалуй, ни у одного из руководителей Коммунистического Интернационала не проявлялось в такой мере, как у Пятницкого... Твердость большевистских принципов и чувство действительности, основанное на конкретных знаниях,— в этом единстве и состоит главная сила Пятницкого как руководителя и организатора».

3

Н. К. Крупская. «Привет старому другу, закаленному большевику» («Правда», 31 января 1932 г.):

«Тов. Пятницкий принадлежит к числу тех товарищей, которые свою революционную деятельность начали в тяжелые времена царизма, когда наша партия загнана была в глубокое подполье и преследовалась самым жесточайшим образом. 20 лет проработал Пятницкий (или Пятница, Фрейтаг, как мы его называли) в подполье. Он был ти-

пичным революционером-профессионалом, который всю жизнь, всего себя отдавал партии, жил только ее интересами. Пятница был убежденный большевик, цельный, у которого слово никогда не расходилось с делом, на которого можно было положиться. Таким его считал Ильич...

Так условия работы воспитывали человека, на долю которого выпало вести руководящую работу в Коммунистическом Интернационале...

Ему 50 лет. Много пережито и много достигнуто. Пожелаем ему дожить до момента, когда поднимется буря мировой революции».

4

Из воспоминаний Е. Д. Стасовой, члена КПСС с 1898 года:

«...Надо признать, что совсем нелегко воздать должное огромным заслугам товарища Пятницкого, жизнь которого поистине равна подвигу.

Осип Пятницкий — мой ровесник по партии, и как в течение двадцати лет жизни и борьбы в подполье, так и в годы Советской власти он всегда был близок мне по духу и практическим делам. Крупнейший организатор и пропагандист, постоянно рисковавший своей жизнью ради интересов партии, когда он ведал транспортировкой партийной литературы и партийных товарищей, невероятно много сделавший для организации и укрепления рядов нашей партии, товарищ Фрейтаг снискал беспредельное доверие и уважение со стороны всех знавших его по подполью товарищей. Его любил и высоко ценил Ильич.

Этот типичный революционер-профессионал, мужественный, сердечный человек прошел в рядах партии боль-

шой путь от члена социал-демократического кружка до одного из руководителей Исполкома Коминтерна.

Его богатый опыт революционной деятельности, партийной, профессиональной и государственной работы является образцом беззаветного горения и верности ленинизму; он всегда будет служить примером для новых поколений ленинской партии.

Мы, старики, никогда не забудем Осипа Пятницкого и его славных дел.

Но мы и должны сделать достоянием нашей молодежи все то прекрасное, чем обладал и что совершил для рабочего класса и партии наш товарищ и друг...»

Содержание

Долгий Вольф Гитманович

Д64 Разбег: Повесть об Осипе Пятницком.— М.: Политиздат, 1980.— 390 с., ил.— (Пламенные революционеры).

Д $\frac{10203-064}{079(02)-80}$ 268—80 0902030000

84.Р7+66.61(2)8
Р2+3КП1(092)

Вольф Гитманович
Долгий

РАЗБЕГ

Заведующий редакцией *В. Г. Новохатко*
Редактор *А. П. Пастухова*
Младший редактор *А. А. Мочалова*
Художник *А. В. Лозенко*
Художественный редактор *В. И. Терещенко*
Технический редактор *Н. П. Межерицкая*

ИБ № 136

Сдано в набор 20.09.79. Подписано в печать 05.03.80. А 00030. Формат $70 \times 108^{1}/_{32}$. Бумагв тнпографская № 1. Гарннтура «Обыкновенная новвя». Печвть высокая. Условн. печ. л. 17,76. Учетно-изд. л. 18. Тираж 300 тыс. экз. Заказ № 480. Цена 1 р. 50 к.

Политнздат. 125811, ГСП,
Москва, А-47, Мнусская пл., 7.

Типографня изд-ва «Уральский рабочнй»,
Свердловск, просп. Леннна, 49.




ИСКРА